

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

374/3 3.2019

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Хрестоматия

220 лет со дня рождения

Александр Пушкин. «Здесь русский дух...» 3

Борис Шергин. Сказы о Пушкине 10

90 лет со дня рождения

Василий Шукшин. Думы. Рассказы 19

Поэзия

Варлам Шаламов. Вагонные стихи. Поэма 32

Михаил Трофимов. Посреди России встану... 70

Валентин Уруков. Ни причала, ни пристани 108

60 лет со дня рождения

Анатолий Змиевский. Так смешно и напрасно... 125

Максим Орлов. Былого перевёрнута страница... 142

Владимир Корнилов. Русь моя с её раздольем 145

Юрий Розовский. Как коротко и ёмко слово Русь... 151

Проза

Иннокентий Веселов. Сарма. Повесть об аварии парохода

«Александр Невский» на Байкале 24 сентября 1913 года 36

Лидия Сычёва. Шиповник. Рассказы 76

Александр Смышляев. Кони. Рассказ 117

Вячеслав Ар-Серги. Нить. Рассказы 133

Сквозь призму истории

Александр Шарунов. Подвижник. Памяти архиепископа Иркутского,

Читинского, всего Дальнего Востока Вениамина III (Новицкого) 1900–1976 156

Александр Никифоров. Спасите Верхоленский собор Воскресения Христова 176

Публицистика

Алексей Казаков. Я – русский, и устал извиняться 182

Василий Козлов. «Доверять никому не буду...» Размышления над книгой

Рудольфа Берестенёва «Вакханалия красной инквизиции» 184

Василий Шелехов. Предтечи Содома и Гоморры 195

Критика

Иркутяне не узнали Александра Вампилова.

По следам обсуждения фильма «Облепиховое лето» 202

Радевица

170 лет со дня рождения Владимира Сукачева

Наталья Гончаренко. «Голоса из прошлого».

Новые документы по истории семьи Сукачёвых 216

Анатолий Байборodin. «По своей Руси хожу...»

О судьбе и поэзии Михаила Трофимова 223

Вернисаж

80 лет со дня рождения художника Карла Шулунова

Григорий Лазарев. Певучий голос предков 234

Сулочка к феду

Степан Правдурбский. Метафоры с хрустом горели в аду 237

Книжная лавка

Эдуард Анашкин. Судьбы трагический роман.

О книге Александра Лаптева «Бездна» 240

Книжная полка 245

События

Лауреаты Патриаршей литературной премии 2019 года 248

Яна Мичура. «Мы за сохранение Русского мира».

Международная конференция в Краснодаре 249

Галина Бакшеева. Усолье – город поэтический 251

Александр Славин. Липецкие писатели в Сирии 261

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв, В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов,

А.К. Лаптев, М.П. Попова, О.К. Стасюлевич, Л.А. Сулейманова, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 27.06.2019 г. Выход в свет: 10.07.2019 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744 к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777 БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001 ОКПО 13623582 ОКПО 13623582

Юрестоматия



220 лет со дня рождения

АЛЕКСАНДР ПУШКИН



«Здесь русский дух...»

Народность...

Слово о Пушкине

Велению Божию, о муза, будь послушна...

Александр Пушкин

Мудро и скорбно, с жалостливым вздохом поразмыслил Пушкин о российских западниках:

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

Речено полтора века назад, но, увы, живы чужебесы и поныне... Взращённые на русское горе, доморощенные западники, держащие нос по ветру и ящерно меняющие окрас... французский, германский, американский... столь вокруг Пуш-

кина ила взбаламутили, ловя в мутной воде «золотую рыбку», что в сорном омуте уже так трудно разглядеть живой и ясный образ русского поэта. Очевидно, поэт, особо в раннем творчестве, некий повод и давал для разброда мнений, переболев, как ветрянкой, барскими хворями, — байроновский романтизм, как бунтарский демонизм, ленивое эпикурейство или амархайямовщина, как миролюбивый, сладкозвучный, хмельной демонизм, и, что греха таить, и масонское «вольтеррианство», породившее «бесов» декабризма, измысливших погибель русскому православно-самодержавному Отечеству. Но величие поэта, Богом данного Руси, не в байронизме и эпикурействе, и тем более, не в бунтарстве, разрушающем крепость русского духа, — **величие поэта в русской народности его творчества.**

О Пушкине истинно, ибо народно, сказал Фёдор Достоевский в судьбоносной для русского искусства, державной речи на открытии памятника Пушкину в Москве. О великом русском поэте написана уйма сочинений, благочестивых и порочных, но пушкиниана меркнет перед речью Достоевского о Пушкине, поскольку Федор Михайлович сопоставил пушкинскую поэзию с творческим миром русского простолюдья, суть крестьянства. «... Величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окружённый почти совсем не понимавшими его людьми, нашёл твёрдую дорогу, нашёл великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был — народность, перед правдой народа русского. (...) Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда на русского человека...» (Достоевский Ф.М., *«Дневник писателя» ПСС в 30-ти томах, т.26. с. 116.*)

Вот отброшенный доморощенными западниками великий и спасительный, духовно-нравственный и художественный критерий искусства, — **народность**, не только воплощенный в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Толстого, Шмелева, но и запечатлённый в их критических статьях. Трагедия нынешнего российского искусства даже не в том, что книжные прилавки, экраны, сцены захлестнул мусорный поток поганой «маскультуры»; нет, трагедия в том, что властители «искусства» замутили нравственные и художественные критерии искусства, которые были незыблемы многие века.

* * *

Некий российский мыслитель... кажется, писатель Валентин Распутин... изрёк: мол, если бы в няньках у Пушкина жила не крестьянка Арина Родионовна, а бесноватая певичка П., то из Пушкина вырос бы Дантес. Под образом Арины Родионовны разумелся лик русского народа, который по тем временам на все девяносто пять процентов был крестьянским. Мало того, Фёдор Достоевский считал, что и Татьяна Ларина из поэмы «Евгений Онегин», хоть и почитывала игривые и слезливые французские романы, духом своим, тем не менее, — вся из Арины Родионовны, из русского народно-православного домостроя — *«Но я другому отдана и буду век ему верна»*. Достоевский даже поскорбел, что поэт не озаглавил поэму «Татьяна Ларина»...

Возможно, из Пушкина вышел бы великолепный *дворянский* стихотворец «золотого века», не превосходящий собратьев по гусиному перу, но Пушкин вознесся над собратьями, воплотился в *русского народного поэта*, ибо, возлюбив, избрал в

душу и разум таинственный крестьянский мир, выраженный в слове, причудливо земном, величаво небесном.

Сквозь блудливый романтический туман салонной поэзии — по-британски студёной, по-французски панталонно-розовой, по-германски грузной и обильной, сквозь книжно-библейский лиризм славянофильской поэзии, писатель Фёдор Достоевский высматривал в российской будущности эпоху крестьянской книжной поэзии и великого поэта от сохи и бороны. Слушая деревенскую песню, Фёдор Михайлович — в отличие от иных дворянских писателей вернее разглядевший русскую душу в ее небесных взлетах и сумрачных паденьях, хотя и живший вне народно-обрядовой жизни, вне народной языковой стихии, — вдруг удивлённо, озаренно промолвил: «Ах вы сени, мои сени... Поэт не ниже Пушкина...» А, может, и выше Пушкина, если припомнить, что и «Сени...» — песня не самая великая в русской народной поэзии, коя необозрима, непостижима, будучи подобна Природе — Творению Божию с ее земными и небесными стихиями.

У Пушкина, гения всех времён и народов, руки опускались перед народным словом, воплощённым в былинах, песнях, сказках, пословицах и поговорках, из чего следует, что народное поэтическое слово, в гениальности превосходя не то-мо Пушкина, но и всю классическую прозу и поэзию, — суть произведения, созданные всем русским народом соборно, и доводились до ума и божественного духа долгими веками. И Пушкин на склоне короткого века признался Владимиру Далю, обреченно склонив голову пред неодолимой мощью тысячелетнего народного слова: «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»¹

Увы, и Пушкин не мог ухватить русское народное слово, хотя Достоевский возгласил на открытии памятника Пушкину в Москве: «...Никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. (...) Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идёт рядом с презрением. Пушкин любил всё, что любил этот народ, чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его...» (*Достоевский Ф.М., «Дневник писателя» ПСС в 30-ти томах, т.26. с. 116.*)

Если пристально и глубокомысленно перечитать поэзию, прозу и публицистику зрелого Пушкина, то можно со всей ясностью и верностью представить мировоззренческие основы его творчества: *православность* — «Велению Божию, о муза, будь послушна...», «И милость к падшим призывал»; *народность* — «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»; *русская государственность*, что столь оборотительно дерзко прозвучала в стихотворении «Клеветникам России».

С. Уваров

¹Цитировано по статье: Даль и Пушкин. Сайт Хронос.ru

Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайловский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Бородинская годовщина

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долго будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под знаком северных полей!
Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошенные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!...»
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс

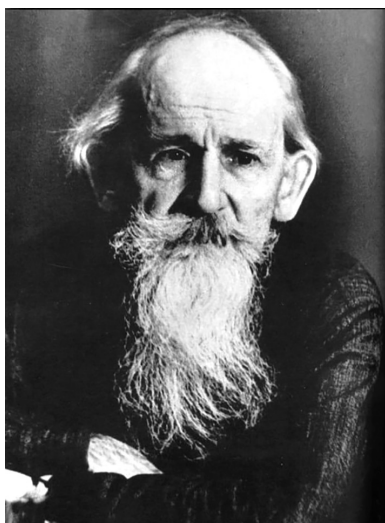
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отвиним строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волинь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
А вокруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...
Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покориł вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году

Утихла брань племен: в пределах отдаленных
Не слышен битвы шум и голос труб военных;
С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый Мир.
Свершилось!.. Русской царь, достиг ты славной цели!
Вотще надменные на родину летели;
Вотще впереди знамен бесчисленных дружин
В могущей дерзости венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной мгле,
И пламенный венец померкнул на челе!
Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,
Он землю русскую не взвидел под собою. —
Бежит... и мести гром слетел ему во след;
И с трона гордый пал... и вновь восстал... и нет!
Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки врагов покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
Колена преклонив пред вышним алтарем,
Ты баней меч извлек и клятву дал святую
От ига оградить страну свою родную.
Мы вняли клятве сей; и гордые сердца
В восторге пламенном летели вслед отца
И смертью роковой горели и дрожали;
И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
«К мечам!» раздался клик, и вихрем понеслись;
Знамены, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат: и милым дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
И смерть хватала их холодною рукой!..
А я... вдали громов, в сени твоей надежной...
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..
Сыны Бородина, о Кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом наутре не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?
О, сколь величествен, бессмертный, ты явился,

Когда на сильного с сынами устремился;
И, челы приподняв из мрачности гробов,
Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепию с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал...
Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..»
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!
И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,
И край полуночи восторгом озарился!
Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
Все лица радостью, любовью блещут.
Внемли — повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздается;
По стогнам шум, везде сияет торжество,
И ты среди толпы, России божество!
Встречать вождя побед летят твои дружины.
Старик, счастливый век забыв Екатерины,
Взирает на тебя с безмолвною слезой.
Ты наш, о русской царь! оставь же шлем стальной
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу;
Излей пред Янусом священну мира чашу,
И, брани сокрушив могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!...
И придут времена спокойствия златые,
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,
В колчанах скрытые, забудут свой полет;
Счастливый селянин, не зная бурных бед,
По нивам повлечет плуг, миром изощренный;
Суда летучие, торговлей окриленны,
Кормами рассекут свободный океан,
И юные сыны воинственных славян
Спокойной праздности с досадой предадутся,
И молча некогда вокруг старца соберутся,
Преклонят жадный слух, и ветхим костылем
И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
На прахе начертит он медленно пред ними,
Словами истины, свободными, простыми,
Им славу прошлых лет в рассказах оживит
И доброго царя в слезах благословит.

БОРИС ШЕРГИН



Сказы о Пушкине

Пинежский Пушкин

Здесь предлагается текст северного рассказа о Пушкине. Происхождение его таково. В зиму 1934–1935 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею, я читал и рассказывал о Пушкине в квартире пинежанки С.И. Черной. Я на опыте знал, что как сама С.И. Черная, неграмотная, но обладающая поэтическим даром, так и земляки — гости ее, в особенности даровитейшая Л.В. Щеголева (сумская поморка), не замедлят отразить слышанное в ярких пересказах.

Эти пересказы, впечатления, отображения слышанного, своеобразно понятого, реплики, афоризмы, отрывочные, но эмоционально насыщенные и поэтически образные, послужили материалом для компоновки «пинежского» рассказа о Пушкине.

Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты писатель.
Землю, как цветами, стихами украсил.

Он порато в братии велик, острога ума нелюдска была.

Книги писал, слово к слову приплетал, круто и гораздо. Книги работал и радовался над има.

ШЕРГИН Борис Викторович родился 28 июля 1893 года на русском Севере в Поморье. Учился в Архангельской мужской губернской гимназии (1903–1912), затем в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1913–1917). Печатался с 1912 г. В 1922 г. переехал в Москву. При жизни писателя опубликовано девять книг. Основные издания: «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924); «Шили московский» (1930); «Архангельские новеллы» (1936); «У песенных рек» (1939); «Поморицина-корабельщина» (1947); «Поморские были и сказания» (1957); «Океан-море русское: Поморские рассказы» (1957); «Запечатленная слава: Поморские были и сказания» (1967); «Гандвик — студеное море» (1971). Десятки произведений Б. Шергина экранизированы, многие поставлены в театре. Умер писатель 30 октября 1973 года в Москве.

Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал.

Он пусты книги наполнил, неустроену речь устроил, несвершено совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да пошли.

Родился умной, постатней, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел.

А род давношной, от араплян — этого роду черных людей, а закону греческого.

Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой... Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а тако-то робить он не сильной.

Ужо кто у нас на Пинеге экой есть... Якуня Туголуков. Только Пушкин-то порусее.

Отроком-то читал много и часто. Всяку грамоту навьк, иноземску и русску.

Ребята-ти буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, что надо, скажет. Люди-то дивятся: «Что уж этот Саня! Год бы с ним шел да слушал».

Возрастом поспел рано, красивенькой, пряменькой такой, все бы пел да веселился. У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо.

Долго молодецвал-то, долго летал по подругам. Ну, он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе...

Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папирсой.

Не помню, что ише проказил он мальчишечкой...

Не бывало от сотворенья, чтобы таки многолюдны книги в такой короткой век кто сложил. Век короткой, да разум быстрой: годы молоды, да ум тысячелетен. Пенье безмолчно — стихам нет конца.

У другого человека ум никуда не ходит, на спокойе стоит. У Пушкина как стрела, как птица ум-от.

Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь ли быстрой. Вот дак птица! Поет, забудет — ел ли, пил ли...

И настолько он хитрой прикладывать слово-то к слову! Слово-то выговаривать одно-то, друго-то ведь надо взять скоро... Пушкин говорил как с полки брал; и все разное сказывал. Век не придумать никому, как он придумывал.

Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над старыма остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудиссе. Кабыть в росстил лежит. Все-то видишь, все-то понятно: выговаривать-то не спуташь.

Сколь письмо егово до людей дохоже! Старых утешат, молодых забавлят, малых учит...

У Пушкина речь умильна, голос светлой, выводить-то мог без отрыву. Други водят круто либо тихо, есть читатели — читают как собаки отгрызают, он выносит каждо слово как следует; разводно поет, голос не перепевается, не дребезжит.

У других писателей колосина, и мякина, и зерно — в одно место, у Пушкина хлеб чистой.

Я даве упряг¹ слушала Пушкина-то. Он тяжелы мысли уводит, на скуку не молвит ничего. Весело умет, опять друго-грозно да заунывно по старому образу.

Бориса Годунова долги-ти строки, кручинны-ти речи, вот чего люблю! «Счастья нету в душе», — голосом-то так по слезам ездит².

¹Опера.

²Говорится об опере «Борис Годунов»

В кую пору гремят трубы-ти да набаты-ти, в ту пору Годунов-от слово-то вы-пева-т.

У Пушкина показана солева-та строка, строчной-то развод. В исподи головой горько-то слово поется. Начинают выговаривать стоя, открыто лицо-то, а станет преклоняться, проведет по лицу-ту платом. Это пенье Пушкин сам списал.

Я сегодня навидалась Пушкина-та в окне в магазине. На книгах стоит. И жё-ночка рядом, не в ту сторону личешком. Не эта ли Наташа-та егова?.. Краса бы холостому, как лошадка на воле? Нет, женился, вlepил голову-ту. Много подруг было, одну ей пуще всех зажалел...

Наташа-та на карточки: глаза грубы, волосы как ящерицы, грудешко голо. Эку бы только на выставку, на показ стоя возить... Замуж-то с пятнадцати годов соби-ралась: «Не жарьте рыбы крупной. Жонихи приедут, дак чем принимать будете?..» А женихи-ти — дуга за дугой — все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех кра-сивее, да приданого-то — веретеном тряхнуть...

Пушкин на придано не смотрит. Сватается у ейной матери:

Маменька, вы бы мне бы Наташу дали...

У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы ей голодом заморите. Вам папа много ли выделяют?

Я не на папу надеюсь, все на свое письмо.

— Я подумаю.

Ей родня и ругат:

— Что ты, дика, этажиссе, он у всех в славы, приданого не спрашивают... На сухари будешь сушить девку-ту?..

Свадьба отошла, зажили молоды... Натальюшка выпится, вылежится, выте-шится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена по-гулять... Придет — рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чувствует... Ложки по тарелкам забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя... Как скажешь?.. Пушкина мат-ка ли, сестра ли обиходила коров-та. Наталья-то не радела по хозяйству.

Живут задью наперед. С утра гости, по хлебам ходят, куски топчут, курят, о кака скверна!.. Станут плясать, гром эдакой учинится: «Держите двери-то, чтобы не зашел Пушкин. Что он мешать-то!» Гремят да шумят, да нарошно, да никак не уймешь...

Все к изьяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей воле. От таба-ку-то он весь угорел!

Пробовал Наташу-ту до добра доводить. Она уши затыкат:

— Вы мне уши опевае-те своими стихами, всю квартиру заставили книгами да засыпали бумагой!

Знакомые спрашивают Пушкина:

Все-то успокоится, в ночь-то вы пишете ли?

Весна была, дак ручей-то летел, кипел, ломал. А холодна пора, дак вода-то не шевелится...

Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отманивался от бед.

А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица...

Пушкину свои наговаривают:

— Ты в бумагах-то сидишь, ничего не видишь?

— Вы ничего не понимаете!

Только горюет в стихах:

*Куда бежу?
Тесен град Петров.
Негде спрятаться от клеветы,
Жена меня в беду положила,
Обещание свое борзо позабыла...
Наташа, что ты надо мною сделала?!*

Которы ему привержены, плачут:

— Саня, не жалея ты жену-то; жалея да с умом. Не падай духом. Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству. Не роняй своего чину...

Вот газету добыла, почитай-ко, почему он на белом свете нажился скоро... Ужо молчи, я засказываю сама.

Ноне досмотрелись в книгах, что царь кавалера-то подослал. Дантест-от был на жалованьи, что он царю на ложе чужих жен да дочерей добывал.

Царь-то хоть бравою, как сунут кол, как палка прям, а плоть-та обленилась — дак все нова надо. Царь, а вот что проделывал!

Он Пушкину жёночку прилюбовал на гулянках. Самому ей достигать неприлично, приезжего кавалера и нанял. Ему от дела тысячу посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит:

— Наташу видел ли? Давно ли видел? В гости-то сулилась ли?

Однако и Пушкин знат свою очередь. Он не хочет навикнуть срам терпеть. А некуда на царя просить. И некуда убежать...

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щелкать:

— Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!

Пушкин их зачнет пинать, хвостать...

Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин сма-ла письмами да стихом властям задосадила. Этот Перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко место знаменито, он сожгал.

Укладывают с Дантестом:

— Жёнку мы у его урвали, тепере надо самого убить.

А не убить, дак от него быть убитым. Кто его, смутьяна, хлопнет, тот у меня первым генералом будет.

Этот кавалер побродяга была всемирна, бесстрашна. Всю жизнь с пистолетами промышлял.

Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе:

— Мне с тобой говорить не с кем... Бесчестно мне о тебе рук марать, да уж негде деться, выходи на прямой бой...

Тут была беда месяца января в двадцать девятой день. Белы снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусе месте четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где Дантест — тут как дым. Царски полаты затряслися, царь с вельможами, по ямам сидя, выглянуть не смеют.

Кавалер-от был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду. Упал наш Олександрешко, за елочку захватился:

— Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!

Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл. Пал на белы снеги,

честным лицом о сыру землю. Пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех...

Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь дён из реки воду пить.

...Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расставаться:

— Прости, красное солнце; прости, мать-сыра земля и все на тебе живущие.

Я в мире сем положен был как знамя на стрельяние, летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину. Я неволей пил горьку смертную чашу...

Жене сказал:

— Я устал, дак рад покою-то. В день покоя моего не плачь.

Тут Давыдовы псалмы, тут заунывное пение... Пушкин глаза смежил, а город разбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало: «Пушкин в соборе лежит, застрелен!..»

К царю пристава летят:

— Народу в домах уж нет, все у Пушкина...

У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество От мала до велика. И все плачут с причетью:

Звезда восточна на запад ушла.

Жизнь пробежала, как речна быстрина.

Молодость прошла непомилована.

Жито пожато недозрелое!

Горе ходило под ручку с тобой.

Не мог ты от горя уехати...

Во гробе изволил вселиться,

От горя землюю укрытись...

Чтенья не слышно во многом-то плаче. Царь в окно эти дни смотрит:

Почему все черно одели, как вороны?!

Вдовственны дни...

Где в Пушкина стреляли, теперь там пусто место безугодно; ничего не растет, только ветер свистит.

Пушкин поминал:

— Буду сказывать, дак вы забудете. Я в книгу свой ум спишу. Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин сердце всем веселит речью своей и письмом.

Егово письмо как вешна вода. Его стихам нет конца. Сотворена река, она все течет — как Пушкин. Землю он посетил да напоил. Что на свете есть, у него все поется.

Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, хоть и бухат, да тёплой...

Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми днями велико море перешел. Ему уж не будет перемены.

Пушкин Архангелогородский

Не скрою от вас: различных поэтов читаю, но Пушкин — мой фаворит. И папенька всегда повторял: пушай сойдутся в сонм все поэты, но Пушкина тут первое место будет. Многие писали стихи, но против пушкинских — нет никакого сравнения.

Настолько он превосходил всех во всех случаях.

О чем древние писали темно и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом. Смала этому приобучился: соберет все, что где услышит или узнает, а потом расположит как возможно лучше. Притом изъяснит в стихах со всею нежностью нашего времени и — ни одного пустотного слова.

Развращенный свет в поэте многое грубиянством именовал, но это были подлинные знаки великой души.

У нас папенька любил Пушкина стихи нараспев произнести. Говором читать будешь, дак никакой печали нету. Что это за поэзия...

Пушкина многие живописцы изображали. Папенька определил так, что он был более посредствен возрастом, нежели высок; кость тонка, но мышцы крепки. Пушкин довольны лета мог исполнять. Сухощавые люди долголетнее дородных, для того что у сухих жилы толще, а в жилах кровь живая жарче ходит. В дородных людях крови свободного обращения иметь нельзя. Оттого сухие люди и к чувствам более способны.

Характером поэт был чистосердечен, откровенен, доверчив, распыльчив. Говорит всегда с движением рук. Шутит-плетет, в глаза глядит и не смеется. Пошутит над кем не гораздо, кряду примется целовать. В глазах то чрезвычайное веселье, то не менее привлекательная меланхолия. Пушкину детей показывали на счастье: хороший был глаз.

До конца остался обычаем как мальчик пятнадцати годов. В гостях утащит яблочко, изюмцу, конфетку.

При всем при том был честного благородия муж. Нету чина, до которого он бы не имел права. Но даже чин тайного советника ничем звал: ордена ни разу не надел. Ел мало, — пошутит:

— Ем — не доедаю, святому духу место оставляю.

После обеда не повалится сразу: книжечку возьмет, а нет, дак так посидит. Любил рано вставать: «Заря — поэзии другиня...»

Будучи в деревне, предпочитал уединение, но и с простым народом обожал под веселый час. С девками лучину щиплет на вечереньках зимой; полна изба дымом, окошек не видно. Снегом роется с девками, водой брызжет. На мельницу сбегает, будто поседатеет, только чихает. Когда-то, смала, весь мокрый пришел:

— Мама, я с девками лен мочил да в озеро упал.

За ним в мальчишках прозвище было: «Девичий пастух».

Попадья проживала в деревне, любила потанцевать, а редко кто решался пригласить, для того что вдова толста. Пушкин каждый раз ей удовольствие сделает.

Папенька все смеялся, как Пушкин с ней танцевал, каблуки особливо кверху выкидывал.

Еще у него была привычка считать кукушку. В пиру покалы наполнят, заздравницу запоют — он среди веселья замолкнет. Считает кукушку, кукуючи. Улыбнется:

— Я не буду с вами доживать веку, слышу плеск весла Харонова.

...И весна его жизни прошла, холостая жизнь надокучила: лето пришло, жениться пора.

Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен до ужаста. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письмами ее осыпал, сколько блестящих стихотворений ей посвящено! «Божество, кумир, вы родились для доставления моего щастия...». И тому подобное в духе легкомыслия. Небольшое пригожество ангельской красотой называл. Слов не находил для выражения тонкости своих чувств.

Теперешняя любовь не заслуживает алтарей, но прежде... Ах, сколько приятно любить! Воздух всегда чист, небо всегда ясно, земля всегда украшена цветами...

Ежели бы Натали хотя однажды потрудились попристальнее рассмотреть мужнев характер. Он читать да писать, а ейны все упражнения состоят в том, чтобы сделать платье особливой своей выдумки да проговорить все дневные новости. Уж не унижит голоса, что поэт в глубоких размышлениях.

Опять на балу весь мир забудет со знакомыми. Друг у дружки наряды хвалят, уговариваются на контрдансах вместях танцевать... Ей интересно, кто прежде бал зачнет; тужит, что мало танцующих мушин. Ей на ум не придет, что супруг изнывает в тоске о потерянных минутах труда и вдохновения.

С ейным нравом лучше бы в девках сидеть. Бывало, у самого-то для спешности манишки нету крахмальной, а надобно в люди ехать. Одевану выгладит, так и поедет.

Не помню, Жуковский или кто замечали в горести сердца:

— Натали, будьте попечительны, учредите домашний порядок, наблюдайте нашего поэта.

Она с принуждением слушает эти увещания.

— Я не в состоянии познавать все степени странных нравов. Я принуждена быть в самом скучном положении.

Конечно, если б поэт ей во всем подражал, то был бы относительно щастлив, но скажите: у кого же хватит терпения и сил вытягиваться, да ломаться, да уважать тиранству модного света!

Меня молоды люди слушают, может, не в ту сторону подумают. Брачного союза со усердием желать должно. В супружестве откровенность, которой ни в каком другом чине и состоянии сыскать не можно, Женатые много бед претерпевают не от супружества, а от неразумия тех жен и мужей, которые выгодами сего состояния пользоваться не умеют.

Браню Наталию Николаевну, а сомнительно — могла ли бы какая женщина сделать щастие Пушкина...

Жена Пушкина... Слово-то какое, ответственность какая. В ейны годы *Пушкину* надо было соответствовать, да еще, как теперь выясняется, царскому настойчивому искательству противостоять.

По силам ли это молоденькой дамочке с соответственным воспитанием и характером! Выйди она за какого-нибудь генерала, никому бы теперь не виновата была.

Это все и послужило поводом для трагедии. Как известно, Пушкин сочувствовал декабристам, письменно хулил времена, насакивал на правительство прискорбными стихами. Власти принялись изыскивать способ, как бы его погубить. Нещастное легкомыслие молоденькой Натали послужило к тому орудием. Власти знали, что делали, когда решили затронуть у поэта честь, величайшее в свете сокровище.

Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, открыто начал вольничаться за Натали на балах. Есть такие шельмованные бездельники — мужьям льстят и похлебствуют, а женам посылают записочки в букетах.

Будучи ветреной, Натали отнюдь не переступала границ, а тут — что-то роковое.

...Весь Петербург вскоре стал известен, что мадам Пушкина имеет конфиденцию с посторонним кавалером. Сплетни не надо в «Ведомостях» объявлять.

Есть добровольные разносчики новостей, ничего подлинно не разведавши, все болтают. И до тех пор ни есть, ни спать не могут, пока домов десятков разными сумасбродствами и безделицами не наполнят.

Гордый поэт рачительно старался убежать подобных разговоров. Слушал намеки с презрительным видом.

— Натали меня любит, но нарочно притворяется.

Однако тревога его умножалась день ото дня. Предался мрачности, приобрел несчастный навык ко гневу. Придумал в одиночестве скитаться по берегам Невы. А злорадство и праздное глупство светских завистников наводило на мысли все более смутные и печальные. Впрочем, покамест утверждал свои подозрения на слухах, то хотя был в страхе, однако имел и надежду. Тогда просит с горячностью, дабы жена объявила ему все обстоятельнее:

— Натали, не могу более показывать принужденного равнодушия. Лютая зима душу оморозила, все чувства оледенели... Ах, Натали! Удалимся от многолюдства, нам непристойно здесь оставаться.

А она пригласительный билет на придворный бал в карман прячет...

Вот на этаким балу, у государя императора во дворце, не где-нибудь в кузнецовском... «Новом Свете»³ Пушкин вошел в буфет без оповедания, а Дантес поит Натали из покала неучтивым образом.

Я Ольге Эрастовне⁴ эти папенькины воспоминания передавала, она утверждает, что Натали с Дантесом Николай Первый в своих целях сводил: «Пушай, — говорит, — дураки друг друга ухлопают, мне красotka достанется».

Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна представила неопровержимы доказательства.

По всему видать, что Пушкин знал, что Дантес не более как подставна фигура из дворца, иначе бы он его давно на дуэль вызвал. Но уж тут забыты все соображения:

— Несчастная, уйдем! Сей дом — вертеп разврата! Не медли долее в сих ужасных стенах!.. — Вот его подлинные слова. Кричит в горести сердца; кругом придворные лица и чины.

Сей страх недолго продолжался, за ним последовал другой, ужаснее сего. Пушкин стал с Дантесом ополчаться на поединок, при этом Нева и дворцы одеваются тьмою. Поэт высказал друзьям:

— Всему решение приближается! Завтра он пошлет меня к Харону в гости.

...Стрелялся смело и небоязненно и поражен был смертоносною пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти.

— Сколько поплачут обо мне в хижинах, а во дворце рады моему концу.

...Да, умер в цветущих годах. Говорят, матери поэта предсказали еще до рождения его: проживет недолго и будет торжествовать в веках.

Папенька всегда говорил:

— Пушкин привел отечественную литературу в такое состояние, что она приобрела удивление целого света. Будущие после нас люди могут умнее быть, науки выше теперешнего состояния могут вознестись, но в поэтах выше Пушкина не будет.

С папенькой мы не спорили, но нет сомнения, что и в новейшие времена такие же великие сочинители быть могут, да и подлинно есть, каковые в прежние времена бывали.

...Приходит весна, зеленеют поля, деревья одеваются новым лиственным, а кого нет — того не воротит и весна.

³«Дом свиданий» в старом Архангельске.

⁴Артистка О.Э. Озаровская, известная собирательница северного фольклора.

Папенька, пока был жив, имел намерение меня и сестру свозить в пушкинские места. Нет надежды на личное свидание, дак хоть на могилку уронить признательную слезу.

Уж очень приятно было бы подивиться, что вот тут-то Пушкин уединялся для вдохновения, здесь принимал посетителей, здесь сочинял вдали от шумного света...

В разлуке с предметом почитания и это служит немалым утешением.

* * *

Старожилы Архангельска хорошо помнят барышень Генрихсен, двух сестер Анну Эдуардовну и Марью Эдуардовну, «Аничку и Маничку Генрисовских». Марья Эдуардовна умерла, помнится, в 1922 году, ее старшая сестрица — несколькими годами раньше. Домик Генрихсен, построенный еще «папенькой» лет сто назад, и теперь красуется в Архангельске.

Этот «папенька» был человек в некотором роде замечательный. Раннюю свою молодость — двадцатые, тридцатые годы XIX века — он провел в Петербурге, учеником аптекаря. Здесь каким-то образом имел возможность часто видеть Пушкина, страстно Пушкиным интересовался, артистически повторял манеру поэта говорить, его жесты, походку. Не раз удавалось юному аптекарю имитировать Пушкина в присутствии его самого.

В середине XIX века Эдуард Генрихсен живет уже в Архангельске своим домом, женатый на архангельской горожанке. Дочери родились в это время. Умер этот очезритель Пушкина в летах преклонных, до конца интересуясь литературой, внушив любовь и вкус к поэзии в особенности младшей дочери, Марье Эдуардовне.

В дни моей юности барышни Генрихсен были уже достаточно ветхи годами, но беспредельно молоды душой. Обе обладали даром слова, даром неутомимого общения с людьми. При этом Анна Эдуардовна была домоседка: любила встретить, принять, угостить кофейком. Марья Эдуардовна, массажистка по профессии, целыми днями «славилась» по домам Немецкой слободы Архангельска. Никто лучше нее, подробнее и достовернее не знал городских новостей.

Между собой сестры жили дружно.

Вот о полдень пушка на Соломбальском острове возвестит адмиральский час, Ударят часы на городской башне. Анечка, в шелковой наколке на седых кудрах, угощает Манечку обедом, тащит на стол обливной чугунок со щами.

— Пожалуйста, не подумай, дорогая сестрица, что мне лень вылить щи в миску. Я затем подаю в цыгуне, что тебе кушать будет горячее.

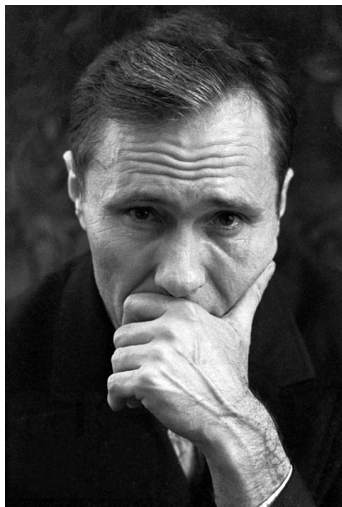
Марья Эдуардовна, входящая во все дома, редкий день не бывала у моей тетки, такой же старинной архангельской кофейницы. Здесь нам, младшему поколению, рассказывала Марья Эдуардовна о своем «папеньке», который, бывало, «каждое слово Пушкиным закроет».

В 1915 или в 1916 году гостившая у нас проездом на Пинегу артистка О.Э. Озаровская интересовалась пушкинским материалом Марьи Эдуардовны, в особенности пачками старинных дагерротипов и фотографий.

Переписываясь затем с Озаровской в течение ряда лет, я нередко посылал ей образцы речи М.Э. Генрихсен, стараясь передать дух и стиль ее бесед. Черновики этих писем и послужили материалом для составления «Пушкина архангелогородского».

90 лет со дня рождения

ВАСИЛИЙ ШУКШИН



Думы

РАССКАЗЫ

Выразитель русского народа

Слово о Василии Шукшине

ШУКШИН Василий Макарович родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района (ранее — Сростинского района) Алтайского края (ранее — Сибирского края) в крестьянской семье. В 1943 году Шукшин окончил семилетку в селе Сростки и поступил в Бийский автомобильный техникум. В 1945 году пошёл работать в колхоз в селе Сростки. В колхозе проработал недолго, в 1946 году покинул родное село. В 1947–1949 годах Шукшин работал слесарем на нескольких предприятиях треста «Союзпроммеханизация». В 1949 году Шукшин был призван служить в Военно-Морской флот. Служил матросом на Балтийском флоте, затем радистом на Черноморском флоте СССР. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам. В 1953 году был уволен в запас с флота из-за обнаружившейся язвы желудка и вернулся в село Сростки. В родном селе Василий Макарович сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в сростинской средней школе № 32. Пошёл работать учителем русского языка и словесности в Сростинской школе сельской молодёжи. Некоторое время был даже директором этой школы. В 1960 году окончил режиссерское отделение ВГИК. В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован его первый рассказ «Двое на телеге». В 1963 году Шукшин начал работать режиссёром на ЦКДЮФ. В том же году в журнале «Новый мир» были опубликованы рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По их мотивам Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живёт такой парень». Первая книга Шукшина — «Сельские жители» — вышла в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия».

1973–1974 годы стали очень плодотворными для Шукшина. Вышел на экраны его фильм «Калина красная», опубликован новый сборник рассказов «Характеры». 2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно скончался в период съёмок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай».

Литературные произведения В. Шукшина: романы «Любавины» (1965), «Я пришёл дать вам волю» (1971); повести «А поутру они проснулись» (1973–1974), «Точка зрения», «Калина красная» (1973); пьесы «Энергичные люди», «Бум бум» (1966), «До третьих петухов»; рассказы.

Русское искусство в послевоенные годы обрело истинную народность: с благословения народной власти в искусство вошли лапотные мужики; и не насильственно, как пролетарии после кровавой смуты, а по зову песенной души. В искусство мужики входили робко, боясь кирзачами поцарапать помещичий паркет; смущенно косились на академиков, но с годами осмелели, и, воспевая мужика и бабу от серпа и молота, воспевая хлебородную ниву и доменную печь, явили миру творения слова, живописи и музыки, не уступающие классическим произведениям русского дворянства. В поле российского искусства взросло и заматерело древо простолудной жизни, с корнями, кои вспоила, взлaskала мать-сыра земля, с величавой кроной, осиянной крестьянским солнцем. И поминаются слова Чудика из одноименного сказа Василия Шукшина: «Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошел работать».

Произведения Шукшина обрели духовно-нравственную, художественную силу благодаря народности, глубинной русскости. Чудо Пушкина: вознесся над блистательными дворянскими талантами, поскольку пробился духом и словом к народу, суть крестьянству, и стал народным поэтом. А крестьянство о ту пору — абсолютное большинство российского населения. Чудо Шукшина: не превосходя по художественному дару других «деревенщиков», превзошел духом, ибо возлюбил Россию и родной народ до сердечной боли, до смерти, и тому, кто хаял русских, мог по-мужичьи и в лоб дать. Словно провидя Шукшина, Николай Гоголь поучал: «Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. (...) Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам».

Взросший с обостренной, болящей совестью, резал жестокую правду-матку в глаза всякому, в ком чуял лукавство; и жил с воинственной жаждой правды, сгорал в зримой и незримой брани за справедливость, против хамства и вранья. Но о ту пору лишь цветочки распустились, волчьи ягоды вызрели позже, когда рухнула народная власть, погребя совесть. Как бы Василий Макарович жил в теперешние менеджерско-мошеннические времена?! Праведное сердце зашло бы от боли, глядя, как на Руси княжит нежить и нерусь, ненавидящая православный русский дух, усердно засевающая в русские души пороки от князя тьмы.

Коли *совесть нации*, — святые угодники Божии, истые молитвенники о родном народе, то уж *совестью русской литературы* можно повеличать писателей-русофилов, праведно избранных, подобных Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Лескову, Шмелеву, Шолохову, Шукшину и Белову. Полвека пристально читавший и осмыслявший творчество и судьбы писателей *деревенщиков*, скажу, что, судя по сочинениям, судя по образу земного бытования, лишь Василий Шукшин и Василий Белов оказались духом ближе к величанию — *совесть нации*.

У порога смерти Василий Макарович умолял единоплеменных братьев и сестер: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброта... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». «Будь человеком...»

Шукшин был истинным выразителем русского народа, где крестьянство — духовно-нравственный, творчески созидательный стержень нации. Не единожды поминал я слова Александра Куприна, и теперь повторю, поскольку чудится, будто Василий Макарович поклонно возглашает: «Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народонаселения. Я, право не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я — знаю только, что я ему бесконечно много должен, ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность».

С. Уваров

Пьедестал

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. — Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. — В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худошавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно, — даже когда продавала билеты. Отрывала билетки, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. — Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива.

Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике... — продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин. — Холодненькой.

— Садись.

Хлебная окрошка, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! — В недавнем прошлом Смородин значилась тюрьма, лет пять, — за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. — Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся, — спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, — говорит, — дойдет, что охота укусить кого-нибудь, — беги к холсту!»

У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо, — складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подросток, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь, и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо шурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и, когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.

— Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не нравится?» — «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А это — соски. Просто же». — «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказывал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородин этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было, — подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил. — Смородин двинулся было, но опять остановился. — А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да, — согласился Смородин.

— Чем закончилось с вымем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин. — Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше. — И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил, — сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил, — упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял, — признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник никогда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло наконец до Смородина. — Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант. — Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, — в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гад-

ко, противно, наконец, просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскивали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки, — встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. — Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек! Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху, и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты, не знаешь кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтобы они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупое и неохотное, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись на бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взорваться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки... — говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его, — сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезать. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю, — с не свойственной ей поспешностью сказала жена. — Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена его вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?... Где?

— Погоди, погоди, — суетился Смородин, — давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста, — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул в кухню.

— О-о! — густо сказал он. — Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну давайте... — И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он. — Как вас, Роза?..

— Зоя, — сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части, — сказал Смородин. — Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень. — Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. — И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля. — Как там у вас говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только недолго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина. — «Утро нашей Родины»?

— Увидишь, — уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. — Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А? Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянem!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще, — сказала Зоя, — потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородину. — Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте, — жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась. — Выпейте, закусите, потом и пойдете. — Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородину...

— Самоубийца, — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся, и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь на-струнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля-художник. — Я уж думал, тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца... — Он опять невольно хохотнул. — Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!.. — окликнул он. — Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя, к черту, понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего. — Он посмотрел на картину. — Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос.

Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. — Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, — пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и

потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Сморозин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, — и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Сморозин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. — Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин. — Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся. — Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милая, успокойся, не надо...

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

Думы

И вот так каждую ночь!

Как только маленько утомится село, уснут люди — он начинает. Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехнулась:

— А вы не слушайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блаженной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазками и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулочка и заворачивал в улицу. Получалось, что

гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право, — опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала Алена, хозяйка.

— Спи, — кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, — говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздal Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной пудой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уже, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлени-

ем и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз, — пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они вырастали... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя — «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, — нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворшилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь.

И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароят. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись, — будил Матвей жену. — Ты смерти страшишься?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну ты!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звоняря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конеч. Бросил якорь.

— Ну-ну, — сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

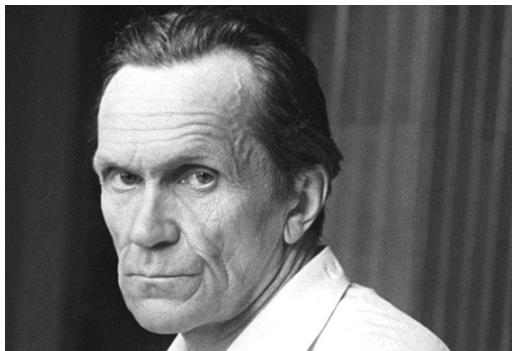
Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



Вагонные стихи

ПОЭМА

Внизу играют в подкидного
И пиво пьют. И только мне
Все кажется живым и новым,
Что ни является в окне.

И глаз циклопа-паровоза,
И зелень яркая сосны,
И сквозь колеблющийся воздух
Улыбка мутная луны.

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович (1907–1982) родился в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, проповедника на Алеутских островах. Мать Варлама Шаламова, Надежда Александровна, была домохозяйкой. В 1914 году поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1924 году, после окончания вологодской школы 2-й ступени, приехал в Москву, работал два года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцево. С 1926 по 1928 г. учился на факультете советского права МГУ, затем был исключён «за сокрытие социального происхождения» (указал, что отец — инвалид, не указав, что он священник) по нескольким доносам сокурсников. В своей автобиографической повести о детстве и юности *«Четвёртая Вологда»* Шаламов рассказал, как складывались его убеждения, как укреплялась его жажда справедливости и решимость бороться за неё. Юношеским его идеалом становятся народовольцы — жертвенность их подвига, героизм сопротивления всей мощи самодержавного государства. Уже в детстве сказывается художественная одарённость мальчика — он страстно читает и «проигрывает» для себя все книги — от Дюма до Канта. В юности он увлекался прозой Бабеля, но впоследствии в ней разочаровался, написав в эссе «О моей прозе», что «Я когда-то брал карандаш и вычёркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось немного, а от Ларисы Рейснер и совсем ничего не оставалось». Молодой Шаламов положительно отзывался о Зощенко и Грине, при этом отличался полным неприятием Толстого. Своими учителями в прозе считал Андрея Белого и Алексея Ремизова, кроме них крайне положительно отзываясь о Фёдоре Достоевском и Борисе Савинкове. Любил повторять, что лучшее в русской поэзии — это поздний Пушкин и ранний Пастернак. Одним из любимых его литературных и исторических персонажей был протопоп Аввакум, которому он впоследствии посвятил поэму «Аввакум в Пустозерске».

И винегреты, винегреты
На горе матушки-цинги.
Цинги, которую поэты
Считают символом тайги.

И первым яблоком огромным
Меня встречающий разъезд,
Плодом тяжелым красно-темным,
Какого Ева и не съест.

А нам нетрудно соблазниться
И ледяной покинуть рай,
Хотя ждала бы нас больница
Или разрушенный сарай.

За этим яблоком чудесным
Мы в поездной летим ночи,
И, точно ритм неспетой песни,
Колесный ритм в висках стучит.

Иркутск, наш город деревянный,
Прелестнейшая из столиц.
Ты был землёй обетованной,
Важнейшей из моих границ.

И вот наивными стихами,
Размером пушкинской поры,
Мы славим зимнее дыханье
Зеленоглазой Ангары.

Мы не отдали моде века
Приличной дани. Старый ямб
И даже больше —
 ямб-калека
Пристойней показался нам,

Чем всей тонической системы
Ступени, выкрики, курсив
(Уже давно изжитой темы
Опять врывается мотив).

А в ямбе есть такие свойства,
Родство с природой языка,
Где в нашей речи беспокойство
Легко врывается тоска.

Внизу играют в подкидного.
И пьют. Является в окне
Однообразие лесное,
Понятное до боли мне.

Все эти дали, лесосеки,
Кубаж, трелёвка, штабеля.
Приятней, право, человеку
Смотреть на голые поля.

Где милое ребячье сено
Прилично сложено в стога.
Там не покажутся олени,
Не разволнуется пурга.

Внизу играют в подкидного.
Им дела нет до сих красот,
До сих невиданных обновок,
Какие поезд мне несет.

Он спотыкается на стрелках,
На стрелках юности моей,
Когда мне не казалась мелкой
Любая из моих затей.

Когда, всей строгости мальчишней
Стремленья жизни подчиня,
Я не казался вовсе лишним
Сиянью голубого дня.

А это что за возвращенье?
Поход неведомо куда.
Предсмертное передвижение
Без тени, света и следа.

Внизу играют в подкидного,
Волнуясь, карты раздают.
Считают взятки, курят. Снова
Считают взятки. Пиво пьют.

Летят российские избушки.
Уже кончается Сибирь.
Сибирь, теперь уже старушка,
Раздавшаяся вдаль и вширь.

По всем статьям с землею нашей
Сибирь сравниться не могла.
У нас не сеют и не пашут,
У нас платочком только машут
Почти из каждого села.

Но славу темную Сибири
Давно наследовали мы.
И в этом — наше место в мире,
Значенье ссылки и тюрьмы.

Внизу поссорились мужчины.
Вагон, конечно, не для драк.
Но слышен грохот матерщины
И прерван подкидной дурак.

Мы задержались в Ярославле.
Некрасов? Волков? Чепуха.
Своих соседей не заставлю
Страхнуть такое с языка.

Моряк увлекся модной пряжкой,
Блестящей пряжкой поясной.
Он хлопает себя по ляжкам
И вновь заводит подкидной.

А впрочем, просит папиросу,
И портсигар открыл сосед.
Он обращается с вопросом
К соседу — чей это портрет?

И бедный полустертый Гоголь,
Самолюбиво сморща нос,

1953

Глядит и молит — ради бога
Не отвечайте на вопрос.

Луна какой-то пятой мастью
Вмешалась в состязанье тем.
Но знать, где счастье, где несчастье,
Дается далеко не всем.

И сумрак ветрами расколот,
И на колесах поездов
Ко мне подкатывает город.
Но я к свиданью не готов.

И сквозь безмолвие столицы
Я, бледный, из последних сил,
Перебираю чьи-то лица,
Явившиеся из могил.

Не для шпилей высотных зданий,
Подземных прихотей метро,
Я вёз мешок своих страданий
И отточил своё перо.

«Вагонные стихи». Эта тетрадь, датированная 1954 г., содержит ряд записей 1953 г., в том числе о первой встрече с Пастернаком в Москве 13 ноября. Особенно важна запись фрагмента диалога, не вошедшего в воспоминания:

— Могут ли я вам помочь материально?

— Нет. Но у меня есть просьба — вот новые стихи — просьба прочесть.

Диалог фиксирует передачу «синей тетради» и отказ Шаламова от материальной помощи, которую он, вопреки мнениям некоторых мемуаристов, от Пастернака никогда не принимал. Очевидно, тетрадь была взята Шаламовым в дорогу еще в Якутии или куплена в Иркутске, т. к. в ней содержатся и карандашные наброски «Вагонных стихов», сделанные в пути, и чистовой, чернильный вариант поэмы — вероятно, переписанный уже в посёлке Озерки Калининской области. Карандашом на полях сделаны пояснения: «Гоголь — с портсигара, в вагоне — ни единой книги». В строфе беловика: «Но славу темную Сибири» последнее слово «тюрьмы» вписано позднее карандашом. Чрезвычайно важное значение имеет предшествующая поэме запись в тетради (лист 15):

«Если мёртвые не вернулись — что мы знаем о них?

Если мёртвые не жалуются — как можем жаловаться мы?

Если мёртвые молчат — как можем молчать мы?»

Попыток опубликовать поэму у Шаламова не зафиксировано — возможно, он считал её недостаточно совершенной. В целом биографическая и художественная ценность поэмы вряд ли подлежит сомнению. Сравните описание пути с

Колымы в рассказе Шаламова «Поезд» (1964 г.), отчетливо демонстрирующее иную художественную задачу. Нельзя не отметить, что в том и другом случае Шаламов очень тепло вспоминает Иркутск.

Можно, с большой долей осторожности, предположить, что поэма Шаламова родилась как своего рода полемический отклик на первые главы поэмы А.Твардовского «За далью — даль», которые начали печататься еще в начале 1950-х гг. (ЛГ, 1951, 21 июня). Поскольку ознакомиться с этими публикациями в условиях Колымы и Якутии Шаламову было весьма сложно, речь идёт скорее о непроизвольном тематическом совпадении, вызванном схожей ситуацией — железнодорожным путешествием через Сибирь. Совпадение размера (четырёхстопный ямб) также может быть отнесено к специфике вагонного путешествия с его ритмом, задаваемым стуком колес (при этом изначально Шаламов ориентировался на «онегинский» ямб Пушкина, о чём он прямо пишет).



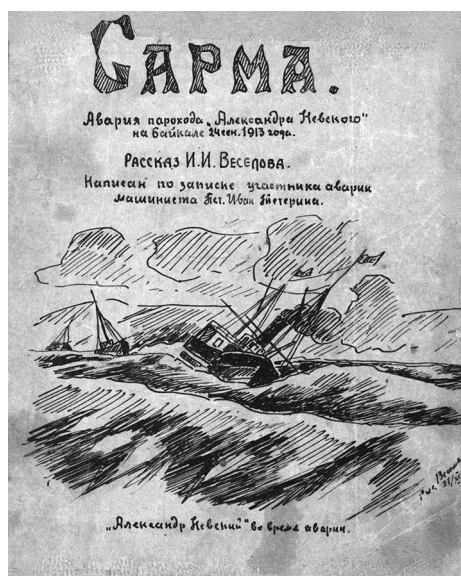
ИННОКЕНТИЙ ВЕСЕЛОВ

Сарма

ПОВЕСТЬ ОБ АВАРИИ ПАРОХОДА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
НА БАЙКАЛЕ 24 СЕНТЯБРЯ 1913 ГОДА

Энергия природы и человека
в рассказе И.И. Веселова «Сарма»¹

ПРЕДИСЛОВИЕ



Предлагаемый вниманию читателя рассказ об аварии парохода «Александр Невский», произошедшей на Байкале 24 сентября 1913 года, читается на одном дыхании. Рассказ был написан в 1935 году нашим земляком Иннокентием Иннокентьевичем Веселовым на основе воспоминаний очевидца аварии машиниста парохода «Александр Невский» Петра Ивановича Тетерина. На обложке старой тетради автор поместил графический рисунок тушью собственного исполнения: пароход «Александр Невский» во время аварии».

На этот рассказ я наткнулась, можно сказать, случайно, когда работала с личным фондом И.И. Веселова в государственном архиве Иркутской области. Рас-

сказ был переписан четким, разборчивым почерком, почти печатными буквами на кальке (по-видимому, из-за дефицита бумаги), наклеенной на использованные тетрадные листы. По мере чтения оживали картины байкальской природы и жизни людей столетней давности, и стало ясно, что рассказ написан талантливым человеком и уникален по своему содержанию. И.И. Веселов писал очерки, появлявшиеся в местных газетах и в журнале «Мир приключений», выходившем в Ленинграде в 1920–1930-е годы («Люди без страха». Очерк с иллюстрациями, 1927, №1).

Иннокентий Иннокентьевич Веселов родился 9 февраля 1899 года в селе Горячинск Верхнеудинского уезда Забайкальской области в семье смотрителя Туркиных горячих вод. В 1902 году семья переехала в село Большое Голоустное,

¹ Публикация подготовлена при поддержке проекта РНФ № 18-18-00309.

где до 1924 года отец Веселова работал на метеорологической станции и маяке. Так что детство Иннокентия прошло на Байкале. В 1918 году он окончил Иркутскую гимназию и коммерческое училище и сразу был мобилизован в Белую Армию, а с 1920 по 1923 год служил в Красной Армии. И.И. Веселов работал метеорологом на магнитно-метеорологической станции в с. Большое Голоустное (1924), преподавал рисование, черчение и географию в школах Иркутской области (1925–1931), заведовал туристско-экскурсионной базой и музеем в с. Лиственичном (1931–1933), служил чертежником на судостроительной верфи в Лиственичном (1934–1935), преподавал (с 1937).

В 1920-е годы, названные «золотым десятилетием иркутского краеведения», И.И. Веселов активно участвовал в работе Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, состоял членом этнологической, палеоэтнологической, байкаловедческой секций ВСОРГО, выезжал в краеведческие экспедиции на берега Байкала. Его интересовало всё, что связано с озером: история Листвянки, Большого Голоустного, Култука, сёл на восточном побережье Байкала в устье реки Селенги, семейный состав и занятия прибайкальского населения, природные явления на Байкале — таинственные воспламенения, землетрясения и другие, как их видели, помнили и как о них рассказывали местные жители. Часто вместе с ним выезжала Акилина Иовна, его жена, учительница, тоже член ВСОРГО, которая собирала материалы по детской этнографии. Особый интерес Иннокентий Иннокентьевич имел к истории судоходства на Байкале. Он собрал столько материалов, что их использовали ученые — например, профессор Г.Ю. Верещагин, и многое еще осталось невостребованным в архивах.

Рассказ «Сарма» написан много лет назад, а кажется, что он написан сегодня. Конечно, изменились суда, курсирующие по Байкалу, навигационное и иное оборудование, но осталась неизменной вечная зависимость, сосуществование и противостояние природы и человека. В рассказе Байкал представляется нам вне времени, его мощь и сила завораживают. Байкал связует короткие времена человеческой жизни. Байкальские ветры, которые люди узнали и назвали различными именами — «горная», «култук», «баргузин», «сарма» — и сегодня дуют с тех же направлений. Стихия Байкала проверяет человека на подлинность, требует проявления высших человеческих качеств — самообладания, находчивости, расторопности, смелости, выносливости, мужества, — это одно сплошное приключение с открытым финалом во все времена.

Я смотрю на этот рассказ и с научной точки зрения этнографа и антрополога.

Сегодня эти науки особое внимание уделяют традиционным экологическим знаниям — многовековому опыту взаимодействия местных людей с природой, из которого рождается ее знание и понимание, умение предсказать природные явления и выжить по возможности с минимальными затратами энергии. Особо интересовали ученых знания коренных народов, — охотников, оленеводов, рыболовов Арктики и Сибири и то, как они справляются с изменениями климата. Знания природных и погодных явлений на Байкале, накопленные местным русским населением, специально не документировались. В рассказе И.И. Веселова есть такая важная информация, поэтому он интересен не только с литературной, но и с научной, антропологической точки зрения. Это касается, во-первых, способов передачи такой информации. Узнавание Байкала основано на личном и коллективном опыте, передающемся изустно: повествование начинается с показа ситуации, в которой оказался востребованным опыт бывалых людей. Автор замечает, что

раньше, не имея навигационных приборов, моряки на Байкале ходили по мысам, «на нюх», т. е. на основании интуиции, которая появлялась не сама по себе, а в результате внимательных многолетних наблюдений за природой и ее изменениями, поиском в ней закономерностей, причинно-следственных связей. Это то, что испанский писатель Артуро Реверте назвал «тактической интуицией» — «привычкой наблюдать, искать знаки в небе, на море, на экране радара, а затем их интерпретировать». В рассказе дана характеристика Байкала и байкальских ветров, и специально — сармы, восприятие этого ураганного ветра и отношение к нему почти как к живой субстанции. Автор описывает процесс зарождения ветра, его особенности в зависимости от времени года, суеверия, связанные с плаванием по Священному морю. Повествование начинается живописанием чудесного жаркого сентябрьского дня на Байкале, полного штиля на море, парения воздуха. Но в восприятии знающих людей — капитана и боцмана, а также старых опытных матросов такая погода в это время года опасна, день предвещает сарму. Небольшие тучки, собирающиеся у Ольхона, изменение состояния воды («вода сделалась какой-то легкой и пузырилась по кильватеру»), сгущение туч, называемое по-местному «киселем», над Сарминским ущельем, даже изменения в настроении людей — все предвещает бурю. В рассказе разрушительная энергия ветра сармы противопоставлена энергии человека-морехода, силе его духа, лидерским качествам отдельных людей и их коллективной работе.

Этот рассказ отличает подлинность свидетельства лично переживших грозную бурю людей. Действующие лица рассказа имели прототипы в реальной жизни. Так, Петька Глухов — это бывший машинист (механик) парохода «Александр Невский» Петр Иванович Тетерин, который спустя двадцать лет после описываемых событий рассказал И.И. Веселову эту историю. Вероятно, автор общался и с бывшим капитаном того же парохода 70-летним Степаном Михайловичем Белозерцевым, в момент написания рассказа пребывавшим на покое в селе Лиственичном (ныне Листвянка). Автор снабдил рассказ словарем, который помогает понять специфические морские термины, дает важную информацию по истории судоходства на Байкале.

Рассказ И.И. Веселова будет открытием для читателей «Сибири», которые переживут вместе с его героями радость и страх, отчаяние и надежду, сомнения и веру, и все это — в подлинности Байкала.

*Анна Сирина,
доктор исторических наук*

1

«Трудящийся» — небольшой паровой катер в сто тридцать пять сил — шёл по Байкалу в легкий норд-ост в осеннем предутреннем тумане, направляясь из Лиственичного в пристань «Байкал» с партией едущих на нем на работы служащих и рабочих Байкальского затона. На баке, умолившись в свободных позах по кнехтам, канатам и у брашпиля², сидела отдельная небольшая кучка рабочих, состоявшая из приезжих и старых байкальских водников. Между сидящими шел

²Значение терминов смотри в Словаре, составленном И.И. Веселовым, в конце рассказа. — А.С.

оживленный спор: моряк с Черного моря никак не хотел поверить в то, что плавание по Байкалу не всегда бывает спокойным, и сопряжено с большими трудностями и риском в осеннее время.

— Нет, товарищ, ты лучше не говори и не убеждай нас в том, что на Байкале не может быть настоящих бурь, — говорил бывалый байкалец. — Хвастаться нам перед тобой нечего, если ты будешь здесь плавать — сам увидишь всё. Мы тоже видывали виды и знаем, что говорим.

— Бросьте, ребята! — воскликнул моряк. — Моряки видят и знакомятся с настоящими бурями только в открытых морях и океанах. Для этого их и в дальнюю посылают. Что вы можете здесь видеть, в этом ковшике, в этой луже, которых тысячи найдется на всем земном шаре!

Последнюю фразу моряк выпалил как-то сразу, с особым оттенком и рисовкой бывалого моряка. Облокотившись на борт, он победоносно поднял голову и окинул самодовольным, почти презрительным взглядом байкальцев. Байкальцы это заметили и переглянулись между собою. Петр Иванович, которого я знал из среды присутствующих лучше всех, улыбнулся мне и, насмешливо подмигнув, сказал:

— Ишь задрал как харю!.. Наверное думает, что опытнее и умнее его никого на свете нет! — и, оборотясь к моряку, спросил его:

— А ты, хозяин, думаешь плавать по Байкалу, по ковшику-то нашему?

Моряк оглянулся, окинул Петра Ивановича взглядом с ног до головы и, сделав напыщенно-суровое лицо, сказал:

— Что это ты в хозяины-то вдруг обратил меня? Что нашел во мне хозяйское?.. А?

Петр Иванович крепко затянулся окурком махорочной папиросы и, размахнувшись, швырнул ее за борт.

— А что мне тебя не звать хозяином, когда ты от нас воротишь рыло барином! — сказал он ему в тон. — Что мы хуже тебя здесь? Подумаешь, как расфуфырился!.. Моряк, так значит тебе и Байкал по колено, и буря тебя не возьмет на нем? Не думай, и здесь когда-нибудь даст тебе перцу — покажется небо с овчинку!

— Дождешься пожалуй! — ответил моряк. — Я пока еще не одел очки, в которые мне, как вам, все страхи стали бы казаться в преувеличенном виде... Ох, в океан бы вас всех!

— А что, плавали и мы по океанам! — заметил старый водник. — В Японскую войну многие из нас с Черного моря через Индийский в Великий проплыли, трепало и там.

— Ну и что же, поблевали малость?

— Чего блевать-то? Блевать нечего, если у тебя нутро качку выносит, а вот насчет бурь, трепок, так это верно — треплет здорово и посмотреть есть на что.

— Почище, чем на Байкале?

— Не скажу! Пожалуй у нас другой раз тошнее приходится.

— Бро-о-ось!

— Бросаться-то нечего! Бросаться будешь тогда, когда тебя горная или сарма хватит в Малом Море, она тебя вот и побросает, накидает, как следует, тут ты и страху наимаешься и в ригу не раз съездишь.

Слушавшие этот разговор расхохотались.

— Ты, Петр Иванович, сарму-то ему в десерт оставь, — сказал один из байкальцев, — с паренька сейчас и одного хорошего верховичка хватит!

— Верно! Осенью он сердитый и ревет не хуже горной.

— Да еще на «Ангаре», которую треплет и кидает, как пробку.

— Тут и туман, и рифы, и льды.

Эти реплики сыпались горохом, и моряк не успевал отвечать на них. Наша братва разошлась и шпыняла его со всех сторон, как осы неприятеля, неосторожно подошедшего к их гнезду. Моряка начинало это злить.

— Ты, товарищ, на каком пароходе думаешь ходить-то у нас? — спросил его Петр Иванович.

— А тебе что за дело? На какой назначат, на том и буду — твоего места не займу! — раздраженно ответил моряк.

Петр Иванович тихо улыбнулся в ус.

— Дела-то нет, а поспрашивать потом интересно будет.

— Что спрашивать-то? Что ты тут, адмиралом состоишь, что ли, что тебе все надо знать? Иль может думаешь в мое отсутствие, как я буду в море, за женкой моей прихлестнуть, так ты ошибаешься — я не женат!

Петр Иванович фыркнул.

— Нужна она — твоя жена, с нас и наших хватит.

— А что? Ты думаешь я не прав, не вижу тебя что ли? Ишь какие у тебя буркалы-то черные, не одну поди девку ими с ума свел?

Петр Иванович опять взглянул на меня.

— Ишь, черт, видит, что не туда заехал, так с моря на баб перешел! — и, оборотясь к моряку, серьезно начал:

— Ну ладно, не хочешь сказать — не надо, мне неинтересно! [Но я только хочу заметить вам, приезжим морякам, что никому не следует небрежно относиться к Байкалу. Вы, как квалифицированные водники, получаете высокие посты, не слушаетесь наших советов и ради своего форса, не зная Байкал, нередко подводите суда под аварии и разрушаете наш флот].

— Как это так? — вскричал моряк.

— Очень просто! На Байкале надо быть не столько моряком, сколько лоцманом, знающим хорошо погоду. Это у нас главное. В старину суда были хуже нынешних, имели плоское дно и ходили на прямых парусах. Пароходы строились колесные, командиры почти не имели понятия о компасе, ходили по мысам, на нюх и, несмотря на все это, почти не имели случаев аварий — знание погоды спасало их.

— Прекрасно! — сказал моряк. — Что ж по-твоему, вместо учителей моркурсов мы должны теперь пригласить стариков и учиться у них всяким бредням и суевериям, учиться, как ходить без компаса, пеленгатора и астролябии по мысам?

— Зачем? Я не говорю этого — учиться надо, но я говорю, что не надо на плавание по Байкалу смотреть сквозь пальцы, что не надо смотреть на Байкал, как на ковш с водой, на лужу, на которой нет ничего страшного и опасного. Нужно помнить, что на Байкале бури бывают порой очень сильными, и плавание по нему требует особых специальных знаний. Байкал — озеро, но озеро, на котором возможны самые жестокие и ужасные бури.

— А ты сам-то испытал хоть одну хорошую бурю на Байкале?

— Испытал, и надо сказать тебе, мой друг, такую, какую и в век не забуду. Четыре дня мы бились, как в аду, забыли еду, отдых и сон. Мы прощались друг с другом и не чаяли вернуться домой.

— Да что ты говоришь! — удивился моряк и, оглянувшись, увидел, что до «Байкала» еще далеко, воскликнул:

[— А ну, дергани-ка, как это было у вас, да смотри не ври, от меня, брат, ни одно слово не скроется — все узнаю!

Кружок придвинулся к Петру Ивановичу, и он рассказал то, что во мне оставило глубокое впечатление, заставило поверить и пережить весь тот ужас, который на Байкале способна оставить после себя Сарма, этот ужасный ветер из ветров чарующего, порой чудного Байкала]³.

2

Солнце медленно выплыло из-за лесистого горизонта горы, залив ослепительным светом берег, укутанный в море зеленой хвои, и Байкал, тонувший в блеске заштилевшейся поверхности. Небо и горы, отраженные в зеркале его необозримых вод, заискрились и засияли огнями радуги, в перламутровых переливах на скачущих, словно отполированных сглаженных буграх зыби вспыхнули разноцветные ромбы живых огней. И Байкал, полный нежных красок в своих замирающих далах, сильных и тяжелых в отражениях прибрежных скал, на фоне которых темно-зеленым, почти синим бархатом проглядывала, казалось, бездонная глубина озера, представил взорам картину одного из роскошных своих ранних утр кристально-чистого, прозрачного сентября.

Вокруг царил мертвая тишина. В глубине лагуны, образующей небольшой залив, в полукилометре от берега стояли на якорях, раскинувшихся по рейду, большой колесный пароход пассажирского типа «Александр Невский» и прибуксированные им два морских судна, «Илья» и «Батурин». «Невский», как сокращенно звали пароход, пришел еще с полуночи из Мысовой, чтобы начать погрузку шпал, идущих на прокладку второго полотна Кругобайкальской железной дороги и заготавливаемых здесь, на берегу, вблизи впадающей в Байкал небольшой речки Кики.

«Невский» и суда, казалось, дремали, отдыхая на глади уснувшего, мечтающего старика Байкала. Облитые ослепительным потоком восшедшего солнца, бросая на воду четкие, как в зеркале, свои отражения, они разнообразили и оживляли картину. Красавец «Невский» стоял боком к берегу, повернувшись носом к северо-востоку. Огромный, четырехсотсильный, с закругленной выгнутой кормой, он имел прекрасную морскую осадку, горделиво поднимал над гладью заштилевшихся вод свой прямой высокий нос, оканчивающийся горизонтальным бушпритом, от которого параллельно друг другу шли к брам-стенге и клотику туго натянутые бак-штаги. Над просторной, широкой палубой, над ярко-белыми каютами, сдвинутыми к обоим сторонам колесных кожухов, над белой штурвальной будкой, стоящей над каютами на спардеке, над широкой, слегка сплюснутой по бокам трубой возвышались чуть наклоненные назад, высокие, точно стрелы, стройные бизань- и грот-мачты.

«Илья» и «Батурин» имели высокий, чуть наклоненный вперед нос и прямую корму, оканчивающуюся навесным, тяжелым, сделанным из толстых деревянных брусьев рулем, главную часть которого составляла «клюка», образующая за кормой раму, скрепляющую румпель, массивное четырехгранное бревно, с деревянным пером руля. Палуба на корме, благодаря выступающим от мидель-шпангоута параллельно идущим навесным плечам, не была закругленной и сверху имела вид правильного четырехугольника. Высокие борта обоих судов были тщательно про-

³Фрагмент текста, взятый в квадратные скобки, в рукописи был вычеркнут. — А.С.

смолены. Облитые солнцем и принимая от воды отраженные лучи, они блестели, как отполированные, как в зеркале воспринимая слабые, дрожащие блики чуть колыхающейся и движущейся у борта воды.

Это были суда — последние могикане старого байкальского судоходства, происшедшие от типа «купецких дощаников», просуществовавшие в своем виде более ста лет на Байкале, усовершенствовавшиеся после 1844 г. знаменитым судостроителем Н.М. Батуриным и принадлежащие теперь Немчинову — сибирскому магнату, ворочающему капиталом в 69 миллионов рублей.

Как только солнце оторвалось от лесистого гребня гор, из каюты капитана вышел высокий худощавый человек — командир «Невского» — и, не останавливаясь, сейчас же поднялся на шканцы. Оглядевшись кругом, он вдохнул полной грудью, как ему показалось, опьяняющий ароматный воздух. Действительно, несмотря на ранний час, с падей, скатывающих свои склоны с высот прибрежного хребта, явно наносился пряный запах смолистой хвои, горы дышали жаром, и над водою, как летом, носились бабочки, комары и мошки.

Погода сильно парила.

Повернувшись в сторону Байкала, командир приложил ко лбу руку, и его небольшие серые глаза впились в замирающие дрожащие дали, видимые за островом Ольхон на противоположной стороне озера. Но там не было ничего нового: за Байкалом, за шестьдесят километров от Кики, разгоралось то же сияющее утро, и природа так же нежилась под лучами яркого и очевидно жаркого солнца.

Капитан пристально оглядел небо. Внимательно, подолгу всматриваясь в каждую точку горизонта, он медленно поворачивался и сосредоточенно о чем-то соображал. Его сухощавое лицо с русой небольшой редкой бородой, расчесанными полубакенбардами, по мере того, как он всматривался в горизонт, отыскивая в природе какие-то только одному ему известные признаки, становилось с каждым разом более серьезным и обнаруживало беспокойство. Было видно, что чарующее утро с роскошно и торжественно разгоревшимся кругом солнца ему стало положительно не нравиться. Капитан понял — природа готовилась к буре.

Посмотрев на высоко поднявшиеся над водой ватерлинии «Ильи» и «Батурина», капитан оглянулся на берег и смерил глазами ряды шпал, соображая, сколько потребуется времени для загрузки их на суда и, повернувшись к морю, вторично еще раз внимательно присмотрелся к Ольхону. Там за чуть заметными, сливающимися с фоном гор контурами пролива Ольхонские Ворота высились склоны Сарминского ущелья. Здесь гнездо бурь. Только коварная и жестокая Сарма своим предвестником могла послать этот чарующий и роскошно разгорающийся день. Капитан это знал твердо, и тщательно старался изучить небо. Но признаков, что буря ударит скоро, никаких не было: за Ольхоном, как и в Киках, не видно было ни одной тучки, и прозрачное золотистое небо сияло.

— Нет, до вечера простоит!.. Успеем!.. — подумал капитан и, решительно подойдя к трубе, дал продолжительный и резкий свисток.

Как только прогудел гудок парохода, раскатившись по горам зычным многократным эхом, из кубриков на палубу один за другим стали выбегать матросы; солнце слепило их глаза, они жмурились и протирали их руками.

К капитану по палубе подошел боцман.

— Грузиться будем, что ли, Степан Михалыч? — спросил он его снизу.

— Да. Снимайся с якоря, будем подводить суда, надо пользоваться погодой!

Боцман быстро повернулся на своих коротких, но крепких морских ногах, его

некрасивое рябое лицо с обстриженными щетинистыми усами и небритой бородой почему-то покраснело и сделалось серьезным, а выпученные как у рака глаза еще больше выкатились и озабоченно забегали по горизонту.

— Добрый денек! — сказал он через несколько коротких мгновений, — только парит как-то не по-утреннему. Уж не к погоде ли, Степан Михалыч?

Но капитан не нашел нужным отвечать на этот вопрос боцмана.

— Ладно, Сергеич! — сказал он. — Давай станови людей к якорю. Да смотри, чтоб на судах не зевали: сейчас выйдем!

Хотя капитан оставил боцмана без ответа, но тот его отлично понял. Резко повернувшись всей своей крепкой коренастой фигурой, Сергеич сразу ожил и, приняв деловой вид, понесся по палубе исполнять приказание командира.

Минуту спустя шестнадцать человек матросов, воткнув вымбовки в гнезда шпиля, дружно и весело стали качать якорь, легко перескакивая цепь, идущую с грохотом через клюз. Цепь выпрямлялась и, натянувшись, тихо двинула пароход.

— Стоп! — вскричал боцман и, схватив чеку, заложил ею цепь в скобе, прикрепленной у клюза на палубе. Матросы скинули цепь со шпиля, поймали баграми красный наплав буерешня, плавающий под носом, вытянули за него толстый пеньковый канат и вместо цепи обернули им шпиль.

— Пошел поднимать якорь! — скомандовал боцман.

Под давлением мускулистых здоровых рук двадцатидвухпудовый якорь сдал и пошел вверх. Еще минуту спустя он показался над поверхностью, холодный и мрачный, с громадными кусами ила на лапах.

Выкаченный якорь оставили омываться у борта. Пароход зашипел, забурился, дрогнул и, ударяя по воде плечами, медленно двинулся, развертываясь по заливу к стоящим позади него судам.

3

«Илья» и «Батурин» были подведены к самому берегу и пришвартованы металлическими тросами за надежные комли старых деревьев. С палубы судов побросали деревянные козлы различной высоты и, расставив их от бортов каждого судна в линию к берегу, настлали на них трапы. В том месте, где устроенные таким образом сходни подходили к судам, в бортах судов были открыты широкие двери, открывающие вход в трюмы, и погрузка была начата. Погрузка велась вручную: двое матросов-грузчиков поднимали за концы шпалу, клали ее к себе на плечи и вносили по мосткам в трюм.

Ввиду теплой и тихой погоды погрузка шпал шла успешно и весело. Стапеля шпал, сложенные на берегу, исчезали, как таявший в жаркий день весенний лед, но трюмы огромных судов все же были далеко не полны. Подобно прожорливому Молоху, они беспрерывно поглощали шпалы в несметном количестве и не могли насытиться.

В полдень объявили обеденный перерыв. Матросы и грузчики, высыпав на берег, расселились в тени под деревьями на берегу Байкала, радуясь тихим, ясным и теплым днем, переполненным запахами зелени, цветов и хвои, несущихся с гор.

— Добрый денек! Не верится, что лето прошло и подкатывает осень! Благодать! — заметил молодой матрос Лузин.

Бритое лицо уже немолодого Данилыча повернулось к Лузину и обмерило его с ног до головы серыми, сильно выцветшими, но еще зоркими глазами.

— Благодать, говоришь! А вот мне эта самая благодать не совсем нравится, — сказал он. — Лучше было бы, если бы, как в прошлый раз, култочок маленький с дождичком дул.

— Ну уж извини, это чтоб мокнуть, ни присесть, ни прикурить? — возразил Лузин.

Данилыч не вытерпел и расхохотался.

— Хорош моряк — воды боишься! — сказал он. — И чему только вас здесь учат? — продолжал он с досадой. — Ни парохода вы не знаете, ни дела своего как следует, ни погоды, чтоб на случай ко всему быть готовым!

На это возразил пожилой матрос Степаныч.

— Ну уж это ты, Данилыч, напрасно, — погоду у нас знают. Наш командир без барометра, без компаса, по одним мыскам, волне, ветру — куда угодно уйдет и где нужно вовремя и к отстою подготовится.

— Правильно! Но матросу разве это не нужно знать? Вот сейчас мы ждем шторм, по-вашему погоду. Штормяга должен быть изрядный, может натворить разных бед, нужно подготовиться и встретить его, как надо, а вы вместо того, чтоб организоваться и помочь в том командиру, спинки прогреваете, бока, и тешите себя солнышком. И вот, что станут делать такие ребята, как Лузин, когда этот шторм разразится, пойдет снег, ударит мороз, и пароход и суда обратятся в груды льда!

Лузин как-то весь покраснел и, рассердившись на Данилыча, закричал:

— Да ты почему все знать это можешь! В погоде Бог только один волен, и нечего тебе, как вороне, каркать нам беду!

Но Данилыч, однако, не обиделся и не рассердился на Лузина. Показав на него пальцем, он сказал:

— Вот вам, ребята, плоды ученья Сергеича! Вместо того чтобы человека приучить к делу, сделать из него опытного моряка, который бы смог ему же в опасную минуту помочь и выручить из беды судно, Сергеич приучил его верить тому, чего нет, и бояться «карканья».

Степаныч соглашается:

— Это верно! Никакого «карканья» не может быть. На все Бог и его святая воля!

— Ну и это не совсем верно! — возразил Митрич. — Бог-то Богом, да и сам не плошай. В девятьсот пятом в России, да на Японской войне на том и сплошали, что на правду, да на Бога много надеялись. По всей матушке-России революция прокатилась, у царя душа в пятки ушла, и если бы не вот Бог этот, вера в него, а больше вера в свою силу, в свой собственный кулак и ум, мы бы сами правили бы всей Россией и вместо Немчинова владели и плавали на этих самых судах!

Матросы, кончив обед, приступили к погрузке шпал.

Солнце уже подходило к западу, кидая на Байкал и горы косые и несколько уже похолодевшие лучи. На севере, над самым Ольхоном, натянуло первые, размытые облака.

Командир сошел на берег.

— Много еще осталось грузить, Сергеич? — спросил он боцмана, присматривающего за погрузкой обоих судов.

— Тысячи полторы на судно.

— Это часа на четыре? — спросил командир.

— Ежели поторопиться, в три, в три с половиной сгрузить можно, Степан Михайлыч! — заметил Сергеич.

Капитан на минуту задумался.

— Нет, Сергеич, не сгрузить, люди устали, да и ночь скоро, — сказал он. — Давай разбирай мостки.

Боцман выпучил свои рачьи глаза.

— Как, недогруженным идти хочешь что ли, Степан Михалыч? — спросил он. — Может сгрузим еще сотен по пяти?

— Нет, пойдем на отстой в море. Должна быть погода: барометр пал, день весь парило, и над Ольхоном начинают собираться облака.

Боцман огляделся по сторонам.

— Это правильно, Степан Михалыч, — сказал он, — весь день как в печке пекло. Никак, Сарма будет.

Капитан был местным, старинным водником, в молодости ходил и командовал парусными судами, был отличным командиром, умеющим задолго и точно определять погоду, но как малограмотный, по присущему всем старым морякам суеверию, не любил говорить о будущем и сердился, когда начинали говорить о нем и другие. Сергеич назвал вид бури, и это ему не понравилось.

— Полно тебе, Сергеич, какая там еще Сарма! — сказал он, делая строгое лицо. — Давай лучше поторопись с уборкой сходен! Лоцманов надо предупредить, чтоб не разевали рты, убирали, как полагается, лишнее, что на палубе, убрали и на случай погоды укрепились как следует.

Подумав с минуту, Степан Михалыч добавил:

— Ждать я тебя буду в шлюпке. Как будет готово, собери людей, и мы отправимся. Долго с делом не мешкай. Надо плыть и торопиться выходить в море.

Все эти приказания командир проговорил быстро и строго. В тоне его голоса чувствовалось, что он начинает не на шутку беспокоиться за людей и пароход, его особенная строгость и жесты показывали, что он точно знал, в какой час, с какого горизонта должна была хватить буря и что, собственно, предстояло пережить впереди команде и пароходу. И это было верно. Почти не пользуясь барометром и подчас считая его пустой, ничего не значащей безделушкой, командир, как было видно выше, больше верил небу, облакам и тем признакам, которые он изучил во время своего многолетнего плавания по Байкалу. Они ему позволяли определять погоду за сутки и более вперед, и не было поэтому случая, чтобы он неподготовленным встретил бурю. Еще в Мысовой, когда получил приказание вновь идти за шпалами в Кики, ему стала не нравиться установившаяся тихая погода, он ждал резкую перемену, и ждал именно Сарму. Но привычка подчиняться начальству и суеверное убеждение, что на море нельзя «каркать» — говорить о будущем, заставили его молчать и решиться пойти на этот рискованный рейс. Теперь же, твердо убежденный в том, что буря ударит не позже полуночи, он спешил вовремя укрепить и подготовить суда к шторму. Он не боялся Сармы, не боялся возможных даже крупных аварий, но он боялся встретить ураган неподготовленным и уронить этим свой престиж среди матросов и начальства, как командир, не сумевший определить заранее погоду, а следовательно и подведший пароход под аварию. Это понимал и видел Сергеич, но однако, до объявления о том командиром он не считал себя правым лично говорить о буре. Теперь же, хотя командир и не дал ответа ему, что он, собственно, ждет, Сергеич сам уже твердо знал обо всем. Полный инициативы, он быстро дал нужные распоряжения лоцманам и, собрав народ к сроку готовым, явился к шлюпке. Столкнувшись с мели, матросы налегли на весла, и шлюпка, разбрасывая по сторонам пенистый бурун из-под носа, весело

понеслась к «Невскому». Байкал все еще стоял, как зеркало, но вода сделалась какая-то легкая и пузырилась по кильватеру.

Механик, ранее предупрежденный капитаном, поднимал пары. Черные, шарообразные, точно ватные клубы дыма изрыгались из широкой трубы «Невского», взлетали по перпендикуляру метров на двадцать ввысь и, развеваясь слабыми верховыми ветрами, висели размазанным облаком над пароходом.

Когда шлюпка была поднята на боканцы, пары были уже готовы, якорь был поднят, и «Невский», развернувшись по рейду, подошел к «Илье». Сергеич набрал лотлинь и, размахнувшись, ловко перебросил его на судно. К лотлиню привязали толстый конец цинкового троса, команда «Ильи» перетянула его к себе на судно и заделала за носовые кнехты. «Батурин» уже был на буксире у «Ильи», и «Невский», дав ход, вышел с ними, направляясь к морю.

4

Байкал очень глубок, и во многих местах средняя его глубина достигает до полутора километров, но, как известно, наивысшие его глубины наблюдаются возле северо-западного побережья, вследствие чего противоположная его сторона, а именно тот берег, где находился «Невский», отличается большой пологостью и нередко изобилует рифами и лопатками у отлогих и низких берегов. Отсюда естественно, что пароход, ожидающий в этих местах шторма со стороны противоположного берега, прежде всего должен был дальше уходить в море и укрепляться в таких местах, где бы ему свободно, на расстоянии известного радиуса и без опасения быть разбитым о рифы, можно было бы развернуться на якорь.

Ожидая Сарму, капитан рассчитал, что «Невскому», сидящему до четырнадцати четвертей в корме и имеющему за собой буксир в два судна, необходимо остановиться на глубине не менее двенадцати метров. Эта глубина была найдена им на расстоянии двух километров от берега, и капитан, приказав отдать якорь, стал готовиться к встрече грозной гостыи.

Сарма — одна из сильнейших и сокрушительных бурь на Байкале, свирепствующая в его центральной части и дующая почти с норда. Свое название ветер получил от небольшого бурятского улуса Сарма, расположенного вблизи речки того же названия, находящихся против Ольхонских Ворот на северном побережье Малого Моря — пролива, отделяющего от материка остров Ольхон. Достигая огромной сокрушительной силы, Сарма бывает особенно страшна в проходе через Ольхонские Ворота, загражденные длинными и узкими скалистыми мысами. Проход в Ворота и Малое Море во время Сармы становится невозможным, идущие к нему суда немедленно выбрасываются на берег и разбиваются в щепы о скалы. Классической катастрофой, происшедшей в Малом Море во время Сармы, считается авария парохода «Иоаков», принадлежащего некогда компании Немчинова и Коковина, случившаяся с ним как-то осенью 1901 года. Трехсотсильный «Иоаков» возвращался Малым Морем из Нижнеангарска с буксиром в три судна, на которых плыло двести пятьдесят человек пассажиров, преимущественно рыбаков, следующих с омулевых промыслов. За судами шли на буксире две мореходки бурят из Крестовой. Пароходом командовал опытный капитан Казимир Меркурьевич Якимович. Погода была ясная и тихая. На траверзе мыса Зама из-за гребней гор неожиданно повылезли тучи, и начался сильный горный ветер и скоро

перешел в шторм. Командир усилил пары и, взяв курс на Кобылью Голову, предполагал успеть до шторма укрыться от него за скалой в Дунейкиной губе. Но он не дошел до нее трех верст. Против Уленхая буксиры отбросило в сторону Ольхона, и пароход, не могущий выгresti против ветра, вместе с буксирами понесло на скалы. Командир дал сигнал, чтобы с «Могилева» обрубили судно П.И. Шипунова и мореходки бурят. Отпущенные суда подхватило ветром и понесло прямо на скалы. Но они не разбились. На них подняли паруса, и, поскольку был еще день, им удалось проскочить скалы и выброситься на песчаный берег в соседней бухте.

Но пароход это мало облегчило, буря усилилась, и его продолжало сносить на берег. Тогда, в девятом часу вечера, он был вынужден отпустить судно Могилева. Было уже темно, и как только обрубили с «Иннокентия», оно сейчас же скрылось из глаз, ни огней, ни криков — ничего.

На пароходе валом, ударившим под кожух, выбило и разрушило буфет, больше половины команды выбыло из строя из-за качки, с аварией боролись только командир, его помощник, боцман, два матроса и десять человек пассажиров.

С одним «Иннокентием» «Иоаков» поборолся еще шесть часов, дальше не хватило дров, и судно опустили. Без буксиров пароход стало сильно валять с борта на борт и он, с трудом одолев бурю, сам выбросился на противоположный берег, залетев на дресву около улуса Уленхая. С берега ветер срывал тучи мелкого камня и бил ими пароход как дробью, и через несколько минут, когда остановили машину, его стало сбрасывать ветром с мели. Пришлось закрепить на двух толстых металлических тросах, заделав концы за три комля старых лиственниц, но тросы не удержали. Когда порвался первый трос, закрепились за толстую пеньковую шейму пятнадцати сантиметров в диаметре. Крепость ее оказалась достаточной, но зато выворотило все три лиственницы вместе с корнями, и пароход неминуемо бы унесло в море, если бы они не застряли между отдельных крупных камней на берегу.

Здесь пароход простоял еще одну ночь. На третьи сутки, 16 октября, буря наконец стихла, и «Иоаков», нагрузив в Дунейкиной губе дров, вышел на розыски своих судов.

Результаты оказались плачевными. Спаслось только одно судно П.И. Шипунова и мореходки бурят. Судно Могилева было приведено в полную негодность, но жертв на нем не было, а «Иннокентий» разбился в щепки, и на нем утонуло 178 человек.

Это была одна из сильнейших и страшных катастроф на водах Байкала.

По своему характеру Сарма является горным ветром и летом подобна буре на Черном море, она опасна только у своего берега. В июне и июле, когда в Малом Море бушует Сарма, Большое море, как здесь называют Байкал, совершенно спокойно, и суда, идущие по нему, могут заметить ее только по небу и морю, и другим признакам, хорошо известным каждому командиру. Это объясняется тем, что теплый воздух, почти горячим летящий с нагретых солнцем голых каменных ущелий, не достигает середины сильно охлажденного Байкала и уносится ввысь. Но осенью и зимой, когда в горах становится холодно, а байкальские воды, нагретые за лето, дышат теплом, тогда Сарма берет через все озеро и, разогнав волны, на шестидесятиверстном расстоянии, на противоположном берегу Байкала, создает ужасную картину ледяного шторма.

К такому шторму готовился теперь «Невский». Капитан стоял на шканцах и строго наблюдал за исполнением командой своих приказаний.

С парохода отдали оба носовых якоря и вытравили возможно больше цепей.

Тяжелые якоря, разбросанные в стороны от носа, натягивали массивные цепи и, казалось, крепко держали пароход. В носу лежал приготовленный запасный якорь. Но командир не считал это достаточным.

— Давай, Сергеич, станови людей к бухте, подводи к борту баркас и готовься грузить трос! — сказал он. — Нужно будет с носа и кормы завести завозы.

Сергеич посмотрел на размытое туманное облако над Ольхоном. Зловещие тучи заметно густели и, медленно разрастаясь над горизонтом, высились в небе уродливым, грозным призраком.

— Успеем ли, Степан Михалыч, до погоды завести все якоря? — усомнился он. — Может на одних носовых завозах удержимся?

— Надо, чтоб за якорными цепями и завозами хорошенько следили во время погоды, — наконец сказал капитан. — Пусть вахтенные не дремлют — здесь подлый грунт.

— Будем в оба смотреть, Степан Михалыч! Никому не дам спать! Потому в якорях вся сила и надежда.

Капитан двинулся было идти с мостика, но остановился и еще раз проговорил, обращаясь к боцману:

— Так уж ты постарайся, Сергеич! Надо чтоб все как следует было. К запасному якорю поставь проворных и опытных людей. Волна будет идти через нос, и с молодняком ты ничего не поделаешь.

Приказав вахтенному помощнику быть начеку и при первых признаках приближения бури немедленно донести ему, капитан спустился со шканцев и направился к себе в каюту, чтобы до начала бури передохнуть в ней несколько минут и набраться свежих сил. Но тревога за людей и пароход не позволила ему пробыть в ней и пяти минут. Зная сокрушительную силу Сармы под этим берегом, он не рисковал довериться безусловно знающему и опытному своему помощнику, стоящему на вахте, и бесстрашному и расторопному Сергеичу. Но прежде чем идти на шканцы, капитан прошел под спардек и спустился по трапу в машинную.

[...] ⁴ Косой луч фонаря, горевшего в штурвальной будке, вскользь падал на лицо капитана. Буря близилась, но оно было спокойно, и та серьезность, с которой думал капитан, отражала в нем уверенность и стойкость бесстрашного и ко всему готового человека.

На лице командира сдвинулись на лбу морщины.

— Ладно, Сергеич!.. Удержимся там, или нет — гадать не будем! Давай крепись, как говорю! — приказал он. — Люди чтобы знали места и шевелились проворней!

Несколько минут спустя к борту подвели баркас и стали грузить в него двухдюймовый цинковый трос для устройства завозов. Скруженная бухта троса лежала в особой высокой корзине, скованной из толстого полосового железа. Несколько человек матросов поскакало в баркас, а остальные, став по палубе ломаной линией от корзины к борту, в двадцать рук приступили к погрузке троса.

Через час погрузка была закончена, и баркас, под наблюдением Сергеича, пошел в море завозить якоря. Двое матросов, встав на корму, перебирали трос, поднимали и бросали его в воду. Он падал с глухим плеском, тонул, как камень, и, разбрасывая брызги, пузырил воду. Заделанный на носовые кнехты его конец перегибался через борт парохода и висел плетью.

На расстоянии ста пятидесяти метров от парохода трос кончился.

— А ну надави хорошенько еще! — крикнул Сергеич. — Дай ходу баркасу!

⁴Пропуск в тексте рукописи. — А.С.

Матросы в три пары весел, в двенадцать рук надавили. Баркас двинулся. У якоря, лежащего на кормовой палубе, встало шесть человек. Конец троса был близко.

— Готовься! — скомандовал Сергеич.

Матросы согнулись над якорем, встав с одной его стороны и стараясь удобнее схватить его за тело и лапы.

— Осторожней! — продолжал команду боцман. — Отдай якорь!

Мускулы матросов дрогнули, железная машина в двадцать два пуда приподнялась, мелькнула над бортом и, подняв каскад брызг, скрылась в бездне.

Через полчаса с завозкой якорей было покончено, и «Невский», раскинув широко цепи от носа и кормы, почему-то стал напоминать самого Сергеича, который во время качек обычно широко расставлял ноги и, несмотря ни на что, крепко, как примагниченный, держался на палубе.

Неплохо укрепились и суда.

5

Погода все еще была тихая и теплая. Поужинав, матросы, особенно молодежь, высыпали на палубу и, рассевшись на баке, стали курить и перебрасываться отдельными замечаниями.

Над Ольхоном продолжало расти размазанное облако и уже охватывало значительную часть всего северо-западного горизонта. Молодой матрос Ванька Лузин оглядел небо.

— Не зря ли мы столько часов крепились? — спросил он.

— А тебе что? Охота, чтоб трепануло хорошенько, на каменья выбросило? — спросил его пожилой Митрич.

— Зачем? Я к тому, что не к погоде все это, а к дождю! — пояснил Лузин. — Страху уж больно много у наших. Честное мое слово.

— Ты что же, парень, капитана хочешь учить, что ли? — спросил тот Лузина.

— Да ты посмотри сам! — вскричал Лузин. — Разве бывает чтоб перед погодой затягивало когда мороком? Перед погодой его не бывает, и она берет сразу. Я тоже знаю горную, видывал ее и с берега, и с моря.

Митрич покачал головой.

— Видать, что видывал, коли морок от «киселя» отличить не можешь! — заметил он. — Скажи, ты плавал и попадал в Горную на этой стороне?

— Плавал! Не первый раз и мы.

— Видно, мало плавал, и капитана учить мал. Морок идет со всего краю и заволакивает небо сразу, а «кисель» кочкуется, набирается он как-то сам по себе и бывает только перед Сармой. С этой стороны, с шири-то моря, он лучше всего виден бывает.

— Это правильно, уж если за Ольхон заварило кисель — так знай, что и каша будет! Сарма здесь здорово берет осенью! — сказал Данилыч, бывалый матрос, приятель Митрича.

В это время по палубе случайно проходил Сергеич. До суеверного боцмана донеслись последние слова Данилыча. Покраснев, он выпучил свирепо глаза и оглядел собравшуюся на баке молодежь.

— Ты что это, Николай, язык-то распускаешь! — крикнул он на Данилыча. — какую это опять тебе кашу надо? А?..

— Да мы, Сергеич, с Лузиным это шутим: не верит он, что раз кисель натянуло, так Сарма обязательно ударить должна, — спокойно пояснил боцману за Данилыча Митрич.

Сергеич еще больше покраснел и сжал кулаки.

— А тебе уверять надо?... Каркать надо?!

— Боже упаси!.. Поясняем только: молодой парень, неопытный, и ему знать надо!

Сергеич плюнул и сочно выругался по-русски.

— Нечего пояснять, придет — сам увидит! Зубы тебе почистить надо бы за это, ворона! — заявил боцман и, оборотаясь к остальным, командовал:

— Пошел все с бака по кубрикам, неча вам тут точить лясы и тешить бесов!

6

Вернувшись с судов, капитан, несмотря на то, что на вахте стоял его старший помощник, прошел на шканцы и еще раз внимательно осмотрел заволакивающееся небо. Кисель черной мохнатой шапкой неподвижно застыл над морем, как-то сгустился и потолстел. Было одиннадцать часов. Несмотря на поздний час, на западе горели замирающие проблески заката, проглядывая сквозь тучи острыми золотистыми осколками. По-над киселем было темно, тучи надали на гребни Сарминского ущелья и сливались с ним в одну непроглядную черную массу.

Прошло несколько минут. Капитан не сходил с мостика и продолжал пристально всматриваться в надвигающийся и густеющий сумрак ночи. Вдруг видимые золотые проблески заметно и быстро стали расширяться, двигаясь навстречу друг другу по хребтам гор. Еще несколько секунд, они соединились, и кисель оторвался от гор, образовав под собою одну сплошную светлую полосу.

«Так, — подумал командир, — подворотню открыло, к двенадцати ударит».

Перегнувшись через поручни, капитан увидел проходящего внизу боцмана.

— Сергеич! — окликнул он его.

Боцман быстро повернулся и подошел к шканцам.

— Сколько вытравлено цепей на якорях? — спросил командир.

— По двадцати сажен, Степан Михайлович! Завозы заведены на семьдесят, цепи подтянуты и якоря крепко зарачились ко дну.

— А не сдали они потом у тебя? Нет слабин? — спросил капитан.

— Слабин не видать. Хорошо укрепились. Я все время смотрю!

Капитан оглянул стоящего на палубе боцмана, освещенного с одной стороны из окна каюты, бросил несколько быстрых взглядов на цепи и туго натянутые завозы, на небо и море, точно стараясь сверить, насколько можно доверять bravому в морском деле Сергеичу, крепости канатов и цепей и грозящему Сармой горизонту.

В глазах командира уже рисовалась грозная картина шторма, он видел взъерошенные валы, лезущие со страшным ревом на пароход, слышал содрогание цепей, и как якоря, срываясь, скакали по дну. Косой луч фонаря, падающий из окна штурвальной будки, вскользь освещал его лицо, и было видно, как на нем вздрагивали незаметные жилки.

— Кто у тебя стоит на вахте в третьей смене? — спросил он боцмана.

— Молодежь все, Степан Михайлыч, — отвечал боцман. — Лузин, Перфильев, Конев, Бархотов — голоусинцы.

Командир на секунду задумался и бросил мимолетный взгляд на быстро растающие облака на небе.

— Не оробеют они у тебя перед погодой, Сергеич? — спросил он.

— Как не оробеть? Народ они малоопытный и могут сплеховать. На одного Бархотова положиться можно. Ненадежный народ стоит в третьей вахте!

— Это правильно ты говоришь, Сергеич!

[...] ⁵

— Сколько пару в котлах? — в первую очередь спросил он, обращаясь к механику.

— Пока держим пятьдесят фунтов, — ответил механик.

— Надо бы поднять их до семидесяти, Борис Борисович! — сказал командир. — Ночью придется работать, и машина может понадобится каждую минуту.

— Вы думаете, якоря могут не удержать? — спросил механик в свою очередь.

— Да. Хотя сейчас они держат как будто хорошо, но ручаться за них нельзя: погода должна быть сильной, грунт здесь ненадежный, и они могут сдаться.

— А когда, вы думаете, должна хватить буря?

— Еще двадцать-тридцать минут, и она хватит.

Механик принял озабоченный вид.

— Хорошо, — сказал он, — я немедленно дам команду кочегарам начать шуровать печи! — и рванулся идти давать свои распоряжения, но капитан остановил его.

— А как с топливом? Много ли дров в пароходе? — спросил он его.

— На двенадцать-четырнадцать часов ходу.

Капитан задумался, о чем-то соображая.

— Да. Топлива немного, и по возможности его надо экономить, — сказал он, — но машину готовьте. Надо торопиться. Машинисты и масленщики, стоящие на вахтах, чтоб с мест не сходили, и чтобы в любую минуту были готовы к пуску и работе у машины.

Сделав эти распоряжения, командир пожелал доброй вахты и, выйдя на палубу, поднялся на шканцы. Окинув горизонт и небо беглым взглядом, он сразу понял, что буря уже надвигалась: кисель рвался в клочья, и от него в стороны летели обрывки лохматых крутящихся туч.

— Боцман! — крикнул он со шканцев на бак. — Крепче следить за лодкой и якорями. Погода идет!

— Есть, смотрим! — крикнул Сергеич и юркнул куда-то в темноту.

Спустя несколько минут сильный, шквалистый порыв ветра ворвался в бухту, взьерошил разом почерневший Байкал и гулко прогудел в снастях. Пароход, еще ранее поставленный против ветра, легко выдержал удар шквала и только слегка дрогнул на туго, словно струны, натянутых якорях и завозах.

Заслышав шквал, на палубу из кубриков повыскакивало несколько человек матросов.

— Это да! Здорово рвануло! Даст она нам теперь перцу! А в море-то что творится! Ребятки, видели ли вы когда-нибудь такие страсти! — горохом посыпалось с палубы. Но в окриках этих пока еще не чувствовалось страха. Задорная молодежь скорей была довольна бурей, чем боялась ее: ей было любо пережить настоящую трепку и получить закалку бравого и бывалого матроса.

А буря, охватывая тучами все видимые горизонты, неслась со всем своим ужасом и силой. Словно вспененные, по небосклону быстро вздымались и росли

⁵Пропуск в тексте рукописи — А.С.

вылетающие из киселя все новые и новые тучи; охватывая все видимое пространство неба, они рвались с поразительной быстротой и, казалось, падали в море. Налетел новый, но уже более резкий и могучий шквал, поднялась первая волна, и пароход, точно лошадь на привязи, дернулся на цепях.

После второго порыва ветер уже не утихал и стал заметно усиливаться каждую минуту. С помощью бывалых, опытных матросов Сергеич стал понемногу потравлять цепи, натягивающиеся при сильных порывах в струну. Пароход каждый раз, как начинали травить, подавался назад по направлению к берегу, уже начавшему зловеще и гулко греметь в утесах и рифах бурунами. Позади маячили в ночном сумраке силуэты сильно вскакивающих на волнах судов «Илья» и «Батурина». Усиливаясь поминутно, ветер разогнал уже значительное волнение, и Байкал, одеваясь львиными пенистыми гривами, оглушительно ревел, ударяясь о пароход волнами. В снастях гудело и пронзительно выло. «Невский» стало бросать. Кидаясь из стороны в сторону, он поминутно стал зарываться в воду, окатывая брызгами палубу, вскакивал стремительно на волну и, дергаясь, рвался с якорей, лязгая цепями.

— Позвать всех наверх травить цепи! — крикнул в рупор командир с мостика. — Почему я вижу мало людей на баке?

Сергеич понесся по кубрикам. Койки были пустые и спящих не было, но многие матросы, очевидно, впервые почувствовавшие надвигающийся шторм, боясь выйти на палубу, забились по кубрикам и, охваченные тревогой, жались друг к другу, прислушиваясь к вою ветра, ударам волн и все усиливающейся, нарастающей качке. При свете качающихся фонарей, с чуть побледневшими лицами, они, в сравнении с теми, кто был на палубе и уже боролся с бурей, казались жалкими и беспомощными. Влетев в кубрик, Сергеич окинул их молниеносным взглядом и, увидев среди них часть тех матросов, с которыми он до начала бури имел неприятное столкновение на баке, налетел на них штормом, переполненный мстостью и злобой.

— Вы что, сучьи дети, расселись тут тетерьями! — крикнул он. — До погоды лясы точите, зубы скалите, а как она началась, так по углам скорей... Пошел все наверх травить цепи!..

В это время новый сильный шквал ворвался в бухту, и над палубой парохода пронесся страшный грохот. «Невский» рванулся, взлетел кверху и, ринувшись вниз, принял на себя первую волну. В открытый люк кубрика влетел каскад холодной, как лед, воды.

Матросы сорвались с места и бросились по трапу наверх. Васька Лузин соскочил с койки и хотел броситься за товарищами, но рванувшаяся из-под его ног палуба его сшибла, и он, ухватившись за пиллерс, встал, застыв в ужасе, с мертво-бледным лицом.

Сергеич, ловко сбалансировав, удержался и широко расставил ноги.

— А ты что тут стал колом! — закричал он на Лузина. — Робеть у меня вздумал! Пошел наверх за другими, пока я тебе не вышиб лупоглазые твои зенки! Ну!

Глаза Сергеича выпучились еще больше, и казалось, были готовы выкатиться из орбит. Покраснев, он стоял перед матросом с сжатыми кулаками, грозный и беспощадный. Но этот маневр его не был действительной угрозой оробевшему парню. Это был своеобразный метод Сергеича в борьбе с малодушием и страхом при штормах молодых матросов, по мнению боцмана, оказывающий магическое влияние на них. И он был прав. Видя, как Сергеич, несмотря на весь ужас положения, по-прежнему свирепел, раскатываясь до хрипоты в трехэтажном мате,

матрос начинал думать, что вокруг него нет страшного, и он кидался с каким-то самоотверженным воодушевлением туда, где больше всего было риска и ужаса. Так подействовало и на Лузина — он кинулся за остальными на палубу.

7

По трапу в машинную мешком свалился масленщик. Шепелявя и заикаясь от волнения, он проговорил:

— Пришла она... сейчас хватанула... в море нет свету и черно, как уголь... Облака рвет!

Грудин заметно трусил, он первый раз должен был испытать Сарму в море. Жидкий на ногах, тщедушный и тощий, он как-то порывисто перескакивал под качку с места на место, махал руками, говорил через кривой, высунутый зуб во рту, короткими фразами и бледнел.

— Да ты поди врешь, Кеха? Это поди тебе все со страха от темноты почудилось? — заметил ему Петька Глухарев.

— Я — вру? — обиделся Грудин. — Что я, Сармы не видал? Не знаю ее?

— Знаешь ты! Ты все знаешь, когда на печке лежишь.

— Ты думаешь я не плавал? — вскричал Грудин.

— Очень даже думаю. Еще мамка твоя сказывала: маленький был — здорово плавал в люльке. Слыхал.

— Да ты поди посмотри, что делается там!

Глухарев раскрыл рот, желая по своей привычке поиздеваться еще над Грудиным — ровесником и соседом по дому, но первый же звук, сорвавшийся с его губ, замер. Вверху над палубой раздался неистовый рев налетевшего невероятно сильного порыва, в такелаже взвыло на тысячу голосов, море как-то особенно рывкнуло, ударило, как скала, в нос парохода, и «Невский», гремя цепями, полез вверх.

— Слышишь? Видишь! — вскричал бледный Грудин, обращаясь к Глухареву и хватаясь за поручни, огибающие часть машины.

Но Глухарев его уж не слушал. Рванувшись с места, он бросился по трапу на палубу.

Наверху его оглушило свистом ветра и ревом, идущим с моря. Кругом была чернильная темнота, под открытый сквозной спардек неся ураганом неудержимый поток холодного ветра. Петьке сделалось душно, ветер давил грудь, захлестывал дыхание и валил с ног. Шапку сорвало с головы, хлопнуло о палубу, и она скрылась. Палуба, как доска качелей, кидалась, стремительно взлетая вверх и вниз. Хватаясь за <нрзб.>⁶, улавливая моменты и балансируя, Петька, под каким-то охватившим его неожиданным чувством бесстрашия, кинулся из-под спардека к носу и в два-три скачка добежал до мачты и ухватился за утку, служащую для закрепления фалов движущегося сигнального такелажа.

Глаз уже несколько стал привыкать к темноте, и Глухарев стал различать море, покрытое белыми ревущими бурунами.

Над носом «Невского» выросла и поднялась темная водяная масса. Огромный вал опрокидывался на пароход, отбрасывая по краю черные острые языки; еще секунда, на гребне волны блеснуло что-то белым и, зашипев, сейчас же ринулось

⁶<нрзб> — неразборчивое слово в тексте рукописи. — А.С.

с оглушительным ревом на нос парохода. Но Петька стоял и как кошка впивался руками в железные <нрзб.>.

— Все равно помирать! — подумал он с каким-то отчаянным хладнокровием Форштевень врезался в воду. Петька не вынес зрелища и зажмурил глаза: сейчас водяная гора хлынет на палубу, и все считай кончено.

Но его обдало только холодным каскадом воды. Палуба парохода ринулась кверху, и мимо Петьки пролетел ревуший поток. Где-то кто-то громко вскрикнул. Якорные цепи сильно лязгнули, и пароход, вырвав якоря, пополз к ревушим за кормой в камнях бурунам.

— Якоря сдали! Пароход травит к берегу! — раздался тревожный крик с бака.

Петька в ужасе взглянул в сторону берега. Непроглядная ночь слепила глаза, небо, горы и море сливались в одну чернильную массу, покрывая ревом, свистом и стоном окружающее. Но Петьке казалось, что он видит берег, видит и слышит, как в камнях рвякают волны, и берег дрожит и рассыпается от их тяжелых ударов.

— Отдай запасный якорь! — сквозь рев волн и свист ветра в такелаже провалился со шканцев голос командира, крикнувшего в рупор.

Мимо Петьки, сквозь бьющий непрерывно через нос каскад брызг, проскользнуло несколько теней пробирающихся на бак матросов.

А буря все усиливалась. Пароход мотался во все стороны, рвался с цепей, дрожал, становился, как взбешенный конь, на дыбы, потом стремительно опускался вниз и нырял, зарываясь бушпритом в воду. Волны свободно, с каждым разом пролетали через его нос и, окатывая потоком палубу, кидали каскады брызг кверху, заливая спардек и капитанский мостик.

Но, несмотря на весь этот ужас, у брашпиля уже работала кучка нескольких бесстрашных матросов. Среди них выделялась фигура Сергеича. Сквозь поминутно несшийся через нос холодный поток воды, боцман старался нащупать чеку, удерживающую цепь запасного якоря.

— Берегись! — вдруг раздался сорванный ветром, зычный, чуть с хрипотцой голос, и в ту же минуту тяжелый якорь, увлекая с грохотом цепь, свалился в кипящее море. Еще несколько секунд, якорь хватил дна, и цепь стала.

— Трави! — крикнул опять Сергеич.

Огромный вал хватил через нос и пронесся, как водопад, по палубе. Один из матросов, работавших у брашпиля, не удержался, слетел с ног и покатился к спардеку, увлекаемый потоком.

— Держись, дьявол! Расшибу!.. — крикнул ему вдогонку Сергеич. — А вы что стали, разинувши рты? Раскровению, подлые души! Трави, пока не сорвало якорь.

С великим трудом, с помощью и ловкостью, на которую был способен только Сергеич, цепь была вытравлена. Но пароход полз назад, грунт действительно оказался «подлым», и надежды на задержку парохода якорями не было. Сарма крепчала и рвалась, как с цепи бешеная собака. Волны не ревели, а рычали и лезли, ероша белые гривы, на пароход.

— Пошел все с бака на ют! — крикнул Сергеич. — Не видите, что ли, что волна пошла! Неча вам торчать тут! — Едва Сергеич успел закончить последнюю фразу, как высоко над бортом парохода что-то рывкнуло и замаячило вверху белым призраком.

— Держись, дьяволы!.. Волна!

Раздался страшный, потрясающий удар, пароход дрожал всем корпусом, где-то что-то треснуло и судно, зарывшись в волну, казалось, нырнуло в воду. В машинный, световой люк и в кочегарку влетели водяные потоки.

Якорные цепи звенели как струны, и якоря, увлеченные пароходом, прыгали по дну. Петька не выдержал всего этого ужаса и, выбрав момент, отцепился от уток и весь мокрый вбежал в машинную.

8

В машинной у кулисного аппарата стоял серьезный, но несколько бледный механик. Положив руки на рычаги, он не спускал глаз с рупора, спускающегося в машинную от переговорной трубки со шканцев. Ожидая команду, он смотрел в рупор таким пристальным взглядом, что казалось, хотел пронзить его насквозь и увидеть в нем стоящего, но почему-то долго не подающего команды капитана.

Готовая к пуску огромная двухцилиндровая, горизонтальная машина тяжело шипела. При свете качающихся керосиновых фонарей ее массивные металлические стержни и поршни переливались движущимися светлыми полосами на отполированных местах и обрисовывали каждую деталь машины. В котле глухо гудели поднятые пары. Вокруг машины, каждый на своих местах, стояли масленщики и вахтенный машинист. Серьезные лица их были несколько вытянуты и бледны.

Прошли томительные пять минут. Сквозь грохот бури, доносящийся с палубы, было слышно, как корпус парохода вздрагивал под сотрясением туго натянутых цепей и тросов поминутно сдающих и скачущих по дну якорей. Волны, с силой ударяясь <нрзб.>, заставляли вздрагивать всю машину и грозили колесам сильным повреждением. Механик это видел и начинал, опасаясь за машину, сильно волноваться.

— Ах, капитан! Что он молчит? О чем он еще думает? — в сотый раз промелькнула мысль в его голове. Когда же будет команда? Не отрывая глаз от рупора, механик застыл с томительным ожиданием в немой позе. Команда машинной замерла, как могут замирать люди, ожидающие с секунды на секунду свистка или интересующего их сигнала.

В груди усиленно бились сердца.

— Скорей! Скорей бы команда!..

Эти слова, казалось, были выражены не только в каждом взгляде и лице, но в каждом жесте руки и вздрагиваниях каждого незначительного мускула.

И вдруг!

— Машина! Готовы ли пары?

Вздых облегчения вырвался из пяти-шести грудей.

— Готовы! — крикнул механик в рупор, делая жест рукою, чтобы при первой новой команде нажать кулисные рычаги.

— Малый вперед!

— Есть малый вперед!

Несколько быстрых, привычных движений механика, и машина, зашипев и двинув шатуны, тихо заворочала тяжелый вал.

Сквозь толстые стены машинного отделения, образующие борт парохода, донеслись удары плещ, опустившихся в беснующуюся, словно кипящую под ними воду. Но не слышно было, чтобы пароход двинулся вперед, и якоря перестали сдавать и скакать по дну.

— Давай средний! — прокричал командир в переговорную трубу спустя несколько томительных минут.

— Есть средний!

Снова механик быстро и ловко передвинул кулисные рычаги, и пар, ворвавшись в расширенные золотники, быстрее и сильнее закрутил массивные кривошипы колесного вала.

Увеличивая ход, машина начала тихо, но равномерно харкать, делая до пятнадцати-двадцати оборотов в минуту. Но сильная качка, бросающая пароход из стороны в сторону, заставляла колеса то врезываться в воду, погружаясь до кожухов в волну, то вылетать из нее и вертеться в воздухе, то попеременно зарываться правым и левым колесом. В те моменты, когда оба колеса входили в волну, машина вздрагивала, и массивные шатуны, вертящие кривошипы, на секунду останавливались, а затем, когда из-под колес вырывалась волна, с неудержимой силой кидались вперед, потеряв опору. Тогда по машине пролетал неистовый грохот, и сорвавшиеся шатуны трясли станины и лежащие под ними фундаменты.

Заслышав грохот, механик взволнованно и почти испуганно оглядел всю машину. Лица масленщиков и машиниста побледнели и еще больше вытянулись.

— Чертова волна! — воскликнул, выругавшись, механик. Если так будет продолжаться и дальше, то машина может стать, не выдержав неравномерной нагрузки.

Механик напряженно думал, ища выход.

— Прибавь до полного! — прокричало опять в рупор.

— Есть полный вперед! — вскричал механик и с тревогой опустил до полного кулисные рычаги.

Машина, словно больная, раскачивая все сильнее и сильнее крутящие вал кривошипы, начала неестественно, с перебоем громко харкать. Послышались визги и скрип. Станины дрожали и раскачивали фундаменты и корпус парохода.

Машинисты и масленщики застыли, охваченные страхом. Взоры их были теперь все устремлены на механика, на единственного человека, который еще был в силах что-нибудь сделать для спасения машины, а с нею парохода и всей его команды, почти погибнувшей среди ночи в обезумевшей дикой стихии.

Но механик молчал, озирая машину растерянным взглядом. По его лицу было видно, что он весь горел, переполненный опасением, и до боли напрягал мозг, бледнел и краснел одновременно, ища выхода. Но вдруг его взгляд упал на его руки, все еще держащие кулисные рычаги, и его осенила счастливая мысль. Прислушиваясь к качке, он выбрал момент, когда пароход, поднявшись на волну, начал опускаться, и в нужную секунду закрыл до малого в золотниках пар. И какое счастье! Массивные поршни не сорвались и не дрогнули и без грохота машины плавно провернули вал.

Лицо механика сразу просияло — он понял, что нашел выход, спас команду и пароход, который грозило бурей выбросить на камень.

Под колеса снова нырнула волна, но механик уже опять увеличил пар, и машина без грохота и сотрясения всей основы продолжала плавно работать полным ходом.

— Пароход перестал сдавать на якорях! — раздался голос командира, прокричавшего через переговорную трубу. — Пар не спускать и работать до полного до изменения команды.

— Есть работаем! — ответил совсем просиявший механик, но однако не решился отойти от регулятора и остался сам дежурить у машины.

Масленщики и машинист старательно прощупывали механизм, подвинчивали гайки и обильно смазывали их маслом.

Настало утро.

Сквозь нависшие тучи откуда-то пробивались слабые, скрытые лучи солнца и освещали беснующийся Байкал, забеленный серебряной водяной пылью. По небу, словно в бешеном хороводе, быстро неслись и крутились низко опустившиеся к морю черные клочковатые облака, покрывая весь видимый небосклон. Надвигался день, но по случаю занесенного тучами неба кругом, точно в сумерки, стоял полусвет. Байкал, встревоженный бурей, метался, покрытый туманом водяной пыли, и, озверевший, кипел, бросая, как в океане, ревущие холмы. Волны с дикой яростью нагоняли одна на другую, сталкивались друг с другом со страшным шумом, рассыпались, шквалы срывали с них каскады брызг, вили их вихрем и с быстротой молнии несли к кипящему в сплошной пене ревущего в волнах берегу. В метрах полутора от кормы «Невского» один за другим виднелись и металась в волнах суда «Илья» и «Батулин». Их черные кузевы то исчезали за рассыпающимися гребнями валов, то выскакивали, точно выпрыгнув из воды на водяной холм, то скрывались в пене перекачивающихся через них волн. Их мачты, точно стрелки автоматического счетчика, быстро кидались из стороны в сторону, кренясь от двадцати до тридцати градусов.

Чудовищный ветер не дул, а ударял. Невидимый воздух казался тяжелее водяного потока, вырывал ноги, бил в лицо, тянул и рвал платье. Непреодолимо упругий, он сокрушал на своем пути все, что было на палубе не принаитовано, срывал плохо приколотенные и прикрепленные предметы и бросал в море. Рев ветра и грохот моря срывались в единый оглушительный шум и стон. В такелаже выло на тысячи голосов; от низкого баса ревущих толстых тросов ветер переходил к высокому жалобному вою тонких снастей и почти рыдал. Обезумевший, он рвался, летел и ударял в каком-то диком, бешеном остервенении над морем, бил и грыз пароход, как взбесившийся тигр, ломал его силою своего напора и кидал на него гигантские валы.

10

К полудню налетел ледяной шторм со снегом и страшным холодом. Небо из черного сделалось серым. Густой снег неся с неудержимой силой и леденел на лету, резал и бил до крови лицо. Гигантские волны свободно перекачивались через всю палубу, обливая нанесенный на нее снег и покрывая пароход со всех сторон толстым слоем льда. Стремительно взлетая с волны на волну, «Невский» сильно скрипел всем своим корпусом, тяжело дышал машиной и, поминутно вскакивая, отряхивался от рвущихся и захлестывающих его волн. Вода летела через шканцы, леденила штурвал, трубу, мачты и такелаж. Водостоки замерзли, и в закрытых обледенелыми бортами местах палубы хлюпала и билась вода.

Кругом стонало, грохотало и выло.

Нахлобучив на лоб шапку, обшитую кошачьим мехом, капитан стоял, спрятавшись в штурвальную будку. Но окно, перед которым стоял он, не было закрыто. Холодный, ледяной ветер бил его прямо в лицо, но он, не покидавший мостик с начала шторма, казалось, не чувствовал ветра, стоял страшно серьезный, сосредоточенный и как будто спокойный.

Вынырнув по трапу из машинного люка, на шканцы к капитану в одной фуражке проскользнул механик.

— Как погода? Скоро ли стихнет буря? — спросил он.

Капитан оглядел его с ног до головы.

— Нет, не скоро, Борис Борисович, — ответил он. — Сарма перешла в ледяной шторм и может продержаться еще несколько суток.

Механик заметно побледнел.

— Несколько суток! — воскликнул он. — Я так и предполагал. Но что мы будем делать: у нас топлива осталось еще часа на четыре, и машинный и кочегарский трюмы заливают вода. Помпы пущены на полный ход, но не успевают откачивать воду.

— Откуда попадает вода? — спросил капитан.

— Отовсюду: через машинный трап, кочегарский люк и в иллюминаторы.

— Но не потому, что в корпусе появилась течь? — спросил капитан.

— Нет, этого как будто не замечено! — ответил Борис Борисович.

Капитан на минуту задумался.

— Хорошо, — сказал он. — Сейчас я приду сам и посмотрю, в чем дело.

Оставив за себя помощника, капитан спустился в машинную. Пробыв на вахте полсуток среди страшного ветра, командир почувствовал, как его обдало теплом и почти жаром. Здесь не чувствовалось этого сумасшедшего ветра, захлестывающего дыхание и выбрасывающего ноги, здесь слабо доносился рев бури, здесь только бросало во все стороны, но не было того ужаса, который царствовал и поглощал все наверху.

Командир распахнул полушубок и оглядел все отделение. У регулятора стоял машинист. Машина тяжело шипела, словно задыхаясь, содрогалась всем корпусом и устало, то усиливая свой ход, то сменяя его на малый, крутила, как больная, тяжелый вал.

— Как машина, нет серьезных повреждений? — спросил командир.

— Пока нет, от регулятора не отходим и приспособляемся к волне — ответил машинист, — масла не жалею и строго следим за каждой гайкой.

В это время пароход сильно накренился на левый борт, и в закрытые иллюминаторы, не имеющие металлической закупорки, с шумом ворвались потоки воды. При сильных кренах из щелей машинной палубы брызгала вода, паровые помпы устало дышали. Командир прошел в кочегарку и осмотрел запас топлива. Кочегар Шелашов усиленно шуровал печи, весь мокрый и изнуренный.

— А где второй кочегар? — спросил командир.

— Угорел, Степан Михайлович, — ответил Шелашов. — Никто не может в эдакую погоду устоять, вторую смену один обе печи шую, из сил выбиваюсь... Качка всех заморила!

— Это плохо! Но ничего, брат, бодрись, скоро шуровать не будем, — сказал командир. И, оборотясь к остальным, добавил: — Сейчас, Борис Борисович, необходимо начать уменьшать пар и ход машины, надо, чтоб хорошенько укрепились якоря, машину остановим, и на них у нас останется одна надежда.

В это время пароход рванулся, палуба стремительно пошла вниз, и сверху в кочегарский люк хлынул поток воды, обливая капитана, кочегара и механика.

Командир привычным жестом отряхнул от полушубка воду.

— Сейчас же, не медля ни минуты, распорядитесь, чтобы забили, чем только можно, все иллюминаторы и отверстия, куда летит вода, — сказал командир. — Люки надо задраить, вентиляторы забить. Помня, что помпы скоро станут, мы должны бояться каждого ведра и ковши воды, летящего в корпус, — пояснил он.

Выйдя на палубу, командир то же распоряжение дал боцману.

На кочегарский люк был приморожен войлок, а иллюминаторы забиты одеждой, подушками и одеялами. Против открытого машинного люка растянули большой войлок и прикрыли его рамами.

К трем часам дня, когда пар был спущен до минимума, капитан приказал остановить машину. Буря, не смирив своей силы, продолжала по-прежнему трепать и бить пароход, цепи лязгали и, натягиваясь, гудели.

Позади судна миражили в тумане серыми облаками горы и обрывистые берега бухты, где среди беснующего моря виднелась широкой, извилистой белой лентой сплошная пена бурунов, грохочущих в прибрежных отмелях. Сквозь мглу несущегося снега и туч водяной пыли, срывающейся вихрями с моря, было видно, как громадные валы тяжело вскакивали на берег и разлетались с оглушительным ревом, разбитые о скалы. Как в волнах, словно взбешенные, прыгали суда «Илья» и «Батулин», изредка сильно дергавшие пароход за буксир, что доказывало, что якоря судов сдавали, и суда грозили сорвать с якорей и пароход, уже не работавший в помощь цепям машиной.

Матросы, особенно молодые, с нескрываемым страхом посматривали на грозный берег.

— Только бы выдержали цепи!.. Только бы не лопнули!.. — с какой-то отчаянной мольбой произнес Лузин.

До чуткого слуха проходящего по палубе боцмана донеслась эта неосторожная фраза. Обернувшись на своих цепках, точно с магнитом, ногам, он в два скачка, несмотря на убийственную качку, подлетел к Лузину.

— Што?!. Ты опять каркать? Я те спрашиваю, картонная твоя душа навтыточке — ты мало накаркал?.. В скулу захотел?.. В зенки чтоб?.. В твою кривую носовину!..

Кулаки Сергеича мелькали подле самого лица Лузина, жестами поясняя его угрозы. Лузин, онемев, молчал, устранившись боцмана. В это время в борт хлестанул вал, и брызги тяжелым потоком окатили с затылка Лузина и ударили в лицо Сергеича, но Сергеич как будто не заметил его и даже не отряхнулся.

— Я те покажу, как каркать, ворона! — продолжал он пушить матроса. — Я те научу, мокрую курицу, как бояться в погоду!.. Пошел, сучий сын, с пешней отдалбливать лед с бортов!

Лузин рванулся по привычке с места исполнять приказание боцмана, но, отскочив несколько шагов в сторону, остановился в недоумении, оглядывая остальных матросов, стоявших на своих местах и по-прежнему ничего не делавших, но боцман уже пушил и их.

— А вы что, буркалы-то свои шарашите! — вскричал он. — Что стали расшиперившись тут, как раки? Пароход льдом задавило, а вам хны? Пошел все с пешнями отдалбливать лед!

Матросы нехотя стали расходиться, но некоторые с места не двинулись, находясь в каком-то безразличном оцепенении.

— Тебе бы все лаяться, Сергеич! — заметил один из матросов. — Мать-то твоя трехсаженная видно милее Бога тебе стала. В такую ли погоду грешить и не молиться Богу? Стыдись, Сергеич!

— А ты знай малого и не учи старого! — набросился на него боцман. — Надо — Бога вспомним, надо — мать пустим. Вас ведь, иродов, без матери-то и клопа убить не заставишь. Вам бы чтоб именинниками все!.. Пошел со остальными живо за пешней!

Действительно положение парохода становилось серьезным. Быстро одеваясь по бокам и палубе толстой коркой льда, корпус парохода терял свою эластичность и плавучесть, разламывался постепенно под ударами волн и заметно оседал в воду. Отдалбливание льда освобождало его от лишней тяжести и, кроме того, отвлекало матросов от грустных мыслей и избавляло, как движение и работа на воздухе, от лишнего угорания.

Поняли это и матросы: взяв пешни, ломы и топоры, они приступили к новой тяжелой работе...

11

На обледенелом пароходе уже вторые сутки стоял мороз и наверху, и в кубриках. Закутанные в шубы, нахлобучив на лбы шапки, матросы, почти выбившиеся из сил, продолжали долбить лед, потеряв надежду на окончание Сармы и спасение парохода. Обледенелые рукавицы и шубы, катанки и вся верхняя одежда сильно стесняли движения и хрустели, как хворост. Дежурили по вахтам, но о сне никто не думал — мороз, качка и сознание беспомощности гнали сон. Люди не обедали и не пили чаю, на всем пароходе не было ни капли горячей воды, ни горячего куска мяса и ни одного теплого крохотного местечка, в котором бы можно было переменить на сухое одежду и отогреть прозябшие члены. Люди питались одним хлебом и запивали его холодной, как лед, сырой водой с Байкала.

А Сарма не утихала и рвалась срывающейся с цепи бешеной собакой. Волны росли с каждым часом, оттого что ветер стал хватать разом с нескольких сторон, волны обратились в скачущие водяные пирамиды и, накидываясь на пароход, били его одновременно с правого и левого борта, кидались на нос и били сверху, опрокидываясь на палубу. Под их ударами пароход дрожал, как затравленный волками заяц, то вырывался и вскакивал на дыбы, то, задавленный, припадал книзу и замирал в ужасе в предсмертной агонии.

Бешеная качка и остервенелый ледяной ветер отнимали всякую возможность далее что-нибудь делать на палубе. Матросы толпились у грот-мачты и у камбуза на середине палубы, застыв в каком-то безразличном оцепенении, хладнокровно посматривая, как волны вышибают доски фальшборта и несутся по палубе, заливая им ноги и окатывая сверху брызгами. Хмурится и Сергеич, он уже никого не понукает к какой-либо работе, но матушка его, однако, продолжает так же метко вылетать по адресу матросов.

— Ты что тут колом торчишь на самом бую? — крикнул он на стоящего позади мачты и держащегося за ванты у борта матроса. — Примерз что ли? Вал по пояс по нему ходит, а он хоть бы что. Ты что, хочешь, чтоб смыло? Пошел к камбузу: неча тебе тут стоять без дела и глазищи свои пялить на воду.

Но матрос как-то тупо взглянул на Сергеича, ничего не сказал и не двинулся с места.

— Тебе я говорю что ли?! — крикнул Сергеич. — Марш у меня к камбузу!

Матрос медленно повернулся к Сергеичу.

— Чего лаешься! Не все ли равно где помирать-то, тут ли или там? Тут-то оно может еще скорее.

— Что-о?! Помирать!!! Команду смущать у меня вздумал! — вскрикнул вне себя Сергеич. — Ты хочешь, чтоб тебя смыло! Мало вы каркали, так еще беды надо! — и Сергеич, освирепев и позабыв все, рванул за шиворот матроса, ото-

рвал его от снасти и, размахнувшись, с такой силой хватил его в затылок, что тот, пролетев сажени три по палубе, свалился у самого камбуза. В это время палуба сильно накренилась, и матрос, не успевший встать на ноги, покатился в сторону проломанного борта. Сергеич застыл в ужасе.

— Держите его, окаянного, дьяволы, — крикнул он, первым кинувшись к нему, хватая его за руку у самого борта.

— Я те, сучий сын, всю физику выкрашу за такие штуки! Я те покажу, как падать, тонконогий бес! Марш в кубрик, и чтоб я больше не видел тебя на палубе!

— А вы что носами сопите, зенки вылупили! Человек летит за борт, а вам ножкой пошевелить лень! Что он вам говорил? Тоже помирать собрались? Я вас петь заставляю, осиновые колы! Плясать будете!..

Едва Сергеич договорил последнюю фразу, как к пароходу подлетел к кормовой части невероятно высокий вал. Почти не обрушившись на палубу, он нырнул под корму, резко подбросил ее кверху и вдруг, выдрав из-под кормы воду, со страшной силой опустил и хватил рулем и дном парохода о дно моря. Раздался какой-то глухой треск, с бортов посыпался лед, и большая часть людей, не удержавшись, упала на палубу. Сергеич, каким-то чудом успев схватиться за рым у мачты, только высоко взмахнул левой ногой и, дернувшись сильно корпусом на спину, сронил шапку.

— Держись!.. Смоет! — крикнул он в то же время.

Но матросы стояли дружно и, помогая друг другу, быстро оправились. Тем временем из трюма машинной выскочил Борис Борисович и прокричал капитану, не смея из-за качки рискнуть подняться к нему на шканцы:

— В трюме показалась течь! Вода выступила из щелей палубы!

Крик ужаса вырвался из груди десятка без того измученных бурей людей.

Взоры были устремлены на капитана. Но в серьезном, строгом его лице, в его жесте и голосе, несмотря на весь ужас положения, однако не было заметно тревоги. Блестящий и действительно лихой командир, обнаруживший не раз во время плавания отвагу, находчивость и хладнокровие, достойное любого моряка — капитана дальних морей, он не потерял и здесь присутствия своего духа и казался твердым и уверенным.

— Теряться тут нечего, и нового здесь ничего нет! — сказал он строго. — Удар был в корму и не настолько сильным, чтобы от него могла получиться серьезная авария! — пояснил он.

Следом командир спустился и сам подробно осмотрел нижнюю палубу во всех трюмах. Течь пробилась, очевидно, где-то около кормы.

— Да, — сказал командир, обращаясь к сопровождающему его Сергеичу, — больших повреждений нет, но все же воду надо постараться откачать.

— А чем? У нас и помп нет, — заметил Сергеич.

— Будем откачивать ведрами. Надо поставить на это дело всю нижнюю и верхнюю команду, и мы выйдем из положения. Сарма пошла рвать во все стороны и, надо полагать, скоро начнет затихать. Барометр тоже поднялся, — пояснил он.

Сергеич просветлел.

— Есть! Сейчас я всю труху вытрясу из кубриков! Всех на работу поставлю! Закисли без работы-то, о смерти да страхах разных думать начали! Сохи деревянные, а не моряки, песья их душа!

Минуту спустя Сергеич уже гремел на палубе и по кубрикам.

— А ну довольно колодами валяться по кубрикам: бери ведро и марш по трюмам откачивать воду!

Матросы вяло поднимались с мест и нехотя направлялись по местам.

— Ну живо шевелиться у меня! Чего квашней раскисли, блинов объелись, что ли? На именинах были?

Эти эпитеты и замечания, которые всюду расточал острый на язык Сергеич, бодрили моряков, и они снова как будто приходили в себя и веселее принимались за работу. Но много ли было у них сил, почти не евших трое суток, не знавших отдыха и минуты покойного сна. И что, наконец, они могли сделать, орудуя одним-другим десятком ведер. Могли ли они выкачать ими воду из корпуса огромного парохода!

Но работа была начата. Последний раз горсть людей, полная самоотверженно-героического упорства и настойчивости, пыталась своими потерянными силами восстать против грозящей им гибели парохода.

Вытащив квадраты, покрывающие в известных местах нижнюю палубу, матросы построились вереницей в направлении к трапу и, передавая ведра, наполненные водою из корпуса из рук в руки, начали живым конвейером выкачивать воду. Монотонная работа в темном трюме, освещаемом масляным дымным факелом, и без вентиляции душном и угарном, при сумасшедшем во все стороны кидании парохода, быстро их утомляла и истощала силы. Но они работали, работали до последних возможностей, не веря в самих себя, но веря в оставшуюся единственную у них силу — силу своего коллектива.

Прошел час, другой... Работа шла, но результатов у нее не оказывалось. Вода заметно продолжала прибывать в трюме. Еще несколько минут, что-то снова с невероятной силой подбросило пароход, и он вторично, еще крепче ударился корпусом о дно моря. Течь стала усиливаться.

Услышав удар, Грудин весь съежился и в отчаянии бросил ведро. Другие матросы, полные тоски и смертельного ужаса, застыли в немых позах. Некоторые вслух молились и почти навзрыд плакали, другие были мертвенно бледны и сурово спокойны.

Наконец Митрич окликнул боцмана.

— Сергеич, прикажи написать записку и бросить в воду в бутылке. Погибнем мы эдак! Не отлить нам ведрами воды! — заявил он.

Боцман сделал сердитое лицо и по обыкновению грозно выпучил на Митрича глаза.

— Ты что, старый хрыч, смущать людей начинаешь! Работу бросать хочешь? — крикнул он.

Но Митрича это не испугало.

— Ты брось лаяться, Сергеич! Я ведь это к совету. Я не против работы и пока жив не отойду от нее, но надо и о людях подумать. Бутылку могут поймать в Гремячей или в Горячинске, прочтут записку и в Листвянку дадут знать о нас телеграфом. Нам вышлют помощь.

— Верно, Сергеич, Митрич не худо говорит. Подумай сам: руль у нас сшиблен, в пароходе течь. Стихнет погода, а мы все равно не сможем сами выйти в Листвянку, — поддержали Митрича матросы.

Сергеич сдвинул на затылок шапку, поглядел на их истощенные, измученные лица и на воду, все больше и больше выступающую из-под палубы.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я доложу капитану, а вы продолжайте откачивать воду. Не век Сарма будет, Бог даст, завтра будет тише, и там передохнем!

Сергеич ушел и через несколько минут вернулся от капитана с разрешением.

Матросы уже где-то достали клочок бумаги и, собравшись в кучу у слесарного верстака в машинной, коллективно обсуждали содержание записки, стараясь кратко, но полнее осветить в ней свое положение. Петька Глухарев старательно выводил химическим карандашом диктуемые ему слова.

Минут десять спустя записка была готова, и Петька, заткнув за ухо под шапку карандаш, сказал:

— Ну, слушайте, ребята, так ли я написал, — и стал читать:

«Команда парохода «Александра Невского» просит о помощи. Четвертый день боремся с Сармой в Киках. Топливо вышло, руль сломан. Во время качки пароход хватил дно моря и дал течь. Воду отливаем ведрами, работаем день и ночь без пищи и сна. Спешите на помощь. Погибаем. Команда парохода «Ал. Невского». 24 сентября 1913 года».

— Правильно, Петро, ничего не упустил! К командиру ее теперь надо бы. Пусть и он подпишет! — заметил Митрич.

— Да, да, без подписи командира нельзя, пусть Сергеич отнесет ее к капитану, а мы тем временем посуду поищем.

Записку передали Сергеичу, отыскивали пустую четверть, когда капитан подписал заявку, свернули ее, обвязали ниткой, спустили в бутыль и, наглухо заткнув пробкой, опечатали, залив ее жвачной серой. Сам Сергеич бережно, как святыню, принял бутыль, осторожно вынес на палубу, набожно перекрестился и, широко размахнувшись, швырнул ее за борт. Четверть, на секунду взлетев кверху, мелькнула в воздухе и, шлепнувшись в воду, сейчас же скрылась в волнах, отброшенная ими далеко от борта.

— Не додюжит она до людей! — с каким-то тяжелым вздохом вырвалось невольно из груди молодого матроса.

— Нет, нет! Кругом глушь и скалы: в первых камнях от нее и брызг не останется!

Сергеича это взорвало.

— Разобьет, нет — Божья воля, а вам неча без толку вперед хныкать! — вскричал он. — Только и знаете, что каркать везде беды. Пошел в трюм черпать воду!

12

На четвертые сутки буря, наконец, стихла. Зловещие тучи унеслись к северо-востоку и постепенно исчезали, прячась за горизонтом гор. Вслед за ними по небу неслись обрывки ватных серых туч, в просветы между ними выглядывала чистая бирюзовая синева. Склонившееся к западу солнце лило ослепительные потоки ярких лучей. Ветра не было. По Байкалу ходила крупная зыбь, равномерно раскачивая обледелого и изуродованного бурей «Невского» и стоящие во льду, как белые скалы, за ним суда.

Страшные часы прошли, но и по окончании бури положение парохода не улучшилось: лишившись руля, он был беспомощным и, благодаря течи, в опасном, аварийном положении. Чувствуя себя на положении погибающих, не имея возможности за отсутствием съемных баркасов и шлюпок выйти на берег, матросы и вся команда парохода, также голодная и уставшая, продолжала нести эту адскую работу, выкачивая ведрами воду из трюмов и отдалбливая с бортов и палубы наросший кругом лед.

На пароходе ждали помощь. Капитан и команда поминутно устремляли свои взоры в прояснившиеся горизонты, надеясь увидеть на них дымок подходящего парохода. На мачтах были выкинута опущенные флаги, свидетельствующие об аварийности.

Люди ждали помощи из Лиственичного, где должны были, наконец, заинтересоваться долгим отсутствием «Невского» и выслать на разведку к нему катер или пароход.

Но день кончился, прошла ночь, начался новый, пятый день, а помощи ниоткуда не было. В корпусе «Невского» тяжело и глухо булькала вода, покрывая нижнюю палубу до высоты одного метра и перекачиваясь под качку ведрами по всем трюмам. Откачка воды не помогала, люди потеряли надежду на выручку, впали в какое-то оцепенение и безразличие. Сергеич ходил хмурый и неприступный. Капитан спокойный, но страшно серьезный стоял на мостике и впивался биноклем в горизонты.

Было уже далеко за полдень, как вдруг со шканцев раздалась неожиданная команда командира.

— Готовь швартовы и легость: идет «Феодосий». Становись к борту принять пароход!

Все, сколько были на палубе, высыпали на бак и устремили свои восторженные взоры в направлении к синеющему вдаль Тонкому мысу. Не было никаких сомнений: выпуская черные клубы дыма, к ним на всех парах спешил красавец 440-сильный почтово-пассажирский пароход «Феодосий».

— «Феня», родной, это он, милый, торопится к нам.

— Помощь!! Не погибли!

— Бог вызволил! — слышались голоса с палубы.

На просветлевших лицах у некоторых блистали слезы радости, люди крестились и всем экипажем выбрасывали глубокие вздохи облегчения.

Полчаса спустя «Феодосий» был уже у борта «Невского», и матросы переговаривались друг с другом.

— А мы вам и хлеба, и еды, и гостинцев разных навезли. Бабы, которые рубахи послать умудрились, а другие не вытерпели и вместе с нами на пароходе поехали, — рассказывали с «Феодосия».

— Да вы как знали? — спросили с «Невского».

— Как? Да от вас же телеграмма была. Из Горячинска пришла! Ужас суматохи наделала, реву у баб было сколько, как узнали, что вы погибаете. Начальство так минуты простою не дало, так в шею и погнало к вам.

— А сами-то вы не думали идти к нам? Погода-то здесь — зверь была.

— То-то, что зверь, а у нас большой ее и не было, так только ненастило с ветром. Без телеграммы мы бы и не додумались. И как это вы умудрились бутылку бросить в море с запиской. Гляди, не разбилась ведь, падла!

Укрепившись на якорях, «Феодосий» опустил в трюмы «Невского» шлаги от пожарной машины, действующей от пара, и в полчаса выкачал из них воду. После чего, дав команде «Невского» и рабочим на судах полный отдых, догрузил своим экипажем оба судна шпалами, забуксировав их за собою, а «Невского» взяв себе под крыло, вышел на Мысовую и на другой день привел его в гавань в Лиственичном.

Здесь «Невский» был поставлен на капитальный ремонт и вышел в рейс только в конце навигации следующего года.

«Трудящийся», зычно просвистев, стал заворачивать в гавань Байкальского затона.

— Вот вам, товарищи, Байкал, ковшик-то наш! — заканчивая свой рассказ, подчеркнул моряку Петр Иванович. — Желал бы я, чтоб всех не верящих в бури и аварии на Байкале, хоть раз трепанула такая Сарма, какую мне пришлось пережить на «Александре Невском» в 1913 году!

Словарь к рассказу «Сарма»

1. *«Александр Невский»* — почтово-пассажирский колесный пароход Кяхтинской К° Немчинова, выстроенный в 1894 г. мастером Шерстобитовым. Длина — 60 м, сила машины по старому 120 л.с., ныне 360 НР. Машина с «Александра Невского» в настоящее время перенесена на пароход «Ленин» ВСУРП'а. «Александр Невский» разломан по ветхости на двадцать первом году в 1915 г.
2. *Авария* — повреждение судна меньшей или большей степени.
3. *Бак* — передняя часть судна до фок-мачты.
4. *Байкал* — огромное пресноводное озеро в Восточной Сибири. Длина по осевой линии 675 км, минимальная ширина 27, макимальная 106, максимальная глубина 1746 м, средняя 1300—1400 м, высота над уровнем моря 467 м. На дне Байкала обнаружен в средней его части подводный хребет, идущий на протяжении свыше ста км и имеющий высоту до 1300 м над уровнем дна. В Байкал впадает 372 отдельных притока и вытекает одна р. Ангара.
5. *Батурин Никита Михайлович* — известный на Байкале мастер-судостроитель, умерший лет сорок тому назад. Его отцом Батуриным Михаилом Николаевичем были выстроены первые паровые суда в Грудиной в 1844 г. для ростовского купца первой гильдии Семена Федоровича Мясникова, выпустившего на Байкал первые свои пароходы «Александр Невский» (I-й) и «Николай I», ходившие и под парусами. Судно «Батурин» — последнее судно старого образца, было названо в честь Н.М. Батурина и просуществовало до 1922 г.
6. *Боцман* — старший над всеми матросами и рабочими на пароходе, заменяющий в прошлом на Байкале младшего помощника командира.
7. *Баркас* — на Байкале большая тяжелая лодка для работы около парохода с якорями, с тросом и подвозки грузов с подъемной силою в 800 до 1000 пудов. Баркасами называют еще большие рыбачьи парусные суда, носящие один прямой парус без кливера, служащие для переправы по Байкалу. Их зовут еще мореходками, грузоподъемность 1200—2000 пудов.
8. *Большое море* — так зовется в отличие от Малого Моря часть Байкала, расположенная против острова Ольхон.
9. *Бора* — сильный NO на Черном море в Новороссийске, дующий с гор Кавказа, и в Адриатическом море Boreas.
10. *Бак-штаги* — снасти стоячего такелажа в носу. Штаги вообще — снасти, которые держат рангоутное дерево в диаметральной плоскости.
11. *Бизань-мачта* — первая мачта от носа.

12. *Брам-стенъга* — стенги — продолжение мачты, брам-стенъга — продолжение мачты.
13. *Брас* — снасть бегучего такелажа, посредством которой ворочают реи.
14. *Брашпиль* — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.
15. *Буерешень* — отдельный пеньковый канат, который привязывался к шейке якоря и при помощи которого на старых судах вытаскивали засевшие в дно лапы якоря. Буерешень кидался весь за борт, и конец его прикреплялся к большому наплаву, покрашенному обычно суриком.
16. *Бушприт* — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна.
17. *Бухта* — на палубе — трос, свернутый кругами, или другая снасть, уложенная в круги.
18. *Ванты* — пеньковые или проволочные снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты, стенги и брам-стенги.
19. *Верховик* — NNO на Байкале, дующий по оси вдоль озера. После о. Ольхон, выше к Ангарску его называют «Ангара», его часто смешивают с «Баргузином» — дующим с Баргузинского залива, т.е. ONO. Верховик большей частью дует осенью, а Баргузин — летом.
20. *Вымбовки* — рычаги — деревянные ручки, вкладывающиеся в гнезда шпиля, на котором выкачивают якорь и подтягивают суда к пристани.
21. *Горная* — сильный NW или N на Байкале, часто разражающийся неожиданно во время ясного дня в летнее время, опасная у северо-западного побережья Байкала, а осенью создающая страшные бури на протяжении всего озера. Весной Горная вскрывает Байкал и, если ее нет, лед может задержаться чуть не до июня, как это было в 1933 г., когда лед продержался до 20 мая. Горная дует с гор и летом сильно повышает температуру и наносит аромат из леса.
22. *Грот-мачта* — вторая мачта от носа.
23. *Гафель* — дерево, наклонно прикрепляющееся одним концом к мачте и служащее для подъема косых парусов, сигнальных флагов.
24. *Завоз* — якоря или верпа делается с целью укрепления судна в открытом море в помощь якорям или стаскивания его же машиной с мели, или вывода его из узкого места.
25. *Забуксировать* — взять на буксир.
26. *Запасный якорь* — якорь, падающий с борта во время шторма, когда отданные якоря начинают сдавать.
27. *Зыбь* — волнение моря после ветра; зыбь в отличие от вала идет плавно и не рассыпается в море бурунами.
28. *«Илья»* — судно, переделанное из двухмачтовой шхуны Могилева.
29. *Камбуз* — судовая кухня.
30. *Качать якорь* — поднимать со дна моря.
31. *Кильватер* — струя, остающаяся за судном, когда оно идет.
32. *Кики* — речка за Байкалом, впадающая в него недалеко от Горячинска. По Кики в то время велся мольковый сплав строевого леса.
33. *«Кисель»* — на Байкале — постепенное накапливание облаков, словно рождающихся в одном месте, обращающееся потом в густое облако над горами и разражающееся сильными горными ветрами. Отсюда выражение «Заварило кисель».
34. *Клотик* — сплюснутый деревянный точеный кружок на верхушке мачты, служащий для подъема сигнальных фалов.

35. *Клюз* — отверстие в борте, в носу судна, куда проходят якорные цепи.
36. *Кнехты* — в данном случае металлические толстые, короткие, попарно стоящие на одном фундаменте цилиндры с головкой наверху, за которые закрепляется трос, когда пароход останавливается у пристани.
37. *Колесные кожуха* — железные помещения с боков парохода, в которых вращаются колеса.
38. *Колесные пароходы* — до 1889 г. на Байкале ходили только колесные пароходы. Они имели дно полукилевое, а потому в отличие от речных пароходов с плоским дном были глубокоосидающими и назывались морскими.
39. *Кубрики* — помещения для матросов в нижней палубе.
40. *Кулисы* — рычаги, посредством которых машинистом пускается в ход машина, увеличивается и уменьшается работа золотников.
41. *Латинь* — тонкая бечевка с гирькой на конце, при помощи которой подается с судна на судно конец буксирного троса или швартова.
42. *Ледокол «Ангара»* — двухтрубное судно типа «Красина», выстроенное на Байкале в 1900 г. при организации Байкальской железнодорожной ледокольной Казенной Переправы в помощь ледоколу «Байкал». Судно привезено в разобранном виде из Англии с завода Амстронга, где строились наши ледоколы «Ермак» и др. как раз в одно время с «Ангарой».
43. *Лопатки* — отмели.
44. *Лоцман* — на Байкале — старший на несамоходном судне. Он же раньше назывался водолив, и до пароходов — вож, вожак.
45. *Малое Море* — большой пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.
46. *Мидель-шпангоут* — самое широкое ребро в корпусе судна, на которое набивается обшивка, образующая корпус.
47. *Молох* — греческий мифический бог, пожирающий, как ненасытное чудовище, большие жертвы в неограниченном количестве.
48. *Немчинов* — кяхтинский купец, скупивший на Байкале в 1890 г. все пароходы и владеющий капиталом в 69 миллионов рублей. Какован — его приемник, которым кончилось частное купеческое пароходство на Байкале.
49. *Ольхон* — самый большой гористый остров на Байкале. Длина около 70 км, ширина 10—15 км, населен бурятами — рыболовами и скотоводами. Всех островов на Байкале 27, но кроме второго острова Ушканьего они очень малы и незаметны.
50. *Ольхонские ворота* — пролив, ведущий из Большого Моря в Малое Море на Байкале.
51. *Осадка* — законное погружение судна в воду до пределов определенной т.н. ватерлинии.
52. *Отдай якорь!* — команда, после которой якорь падает в море, и судно становится на якорь.
53. *Пеленгатор* — прибор, посредством которого определяется пеленг — угол, заключенный между магнитным меридианом и румбом, на котором виден предмет.
54. *Перо руля* — правящая часть руля, деревянная или металлическая.
55. *Планишь* — плоский груз, покрывающий сверху край борта.
56. *Погода* — на Байкале в разговорной речи означает сильный ветер и особенно бурю. Горная часто заменяется словом «погода». «Ну, ребята, сейчас погода грянет!» — т. е. Горная.

57. *«Подворотню открыло»* — оторвало тучи от гребня гор перед началом ветра, особенно бури. Подворотню открывает перед Сармой, и «отдирает морок» от гольцов Хамар-Дабана после ненастья перед ветром Култуком (SW), надувающим вёдро.
58. *Пришвартоваться* — стать на швартов, т.е. закрепиться на толстый причальный канат или трос.
59. *Прямой парус* — представляет правильный прямоугольник, которым пользуются только во время попутного ветра.
60. *Рангоут* — деревянные и металлические части на судне, образующие мачты, рей, стрелы, бушприт и прочие выступающие над палубой в виде брусьев и шестов предметы.
61. *Рифы* — подводные скалы.
62. *Рулевая клюка* — у старинных судов — массивный деревянный брус, выделанный из кривого дерева, образующий подобие клюки, которым поворачивался руль.
63. *Румпель* — деревянный или металлический брус, надеваемый на головку руля — рычаг, за который поворачивают руль.
64. *Сарма́* — горная на Ольхоне в Малом Море и особенно в Большом Море против Ольхона. Сарма — речка, впадающая в Малое Море с материка и улус, расположенный здесь же на берегу.
65. *Сарминское ущелье* — здесь долина, по которой протекает река Сарма.
66. *Спардек* — надпалубная постройка, имеющая две стены у старых судов, на которой сверху устраивалась труба, штурвал и капитанский мостик.
67. *Старинные суда* — суда, имеющие тип самоходных судов дореволюционного времени с грузоподъемностью от 4000 пудов до 12000. Это паузки, карбасы и дощаники, строящиеся с плоским дном. В отличие от речных судов, суда, предназначенные для Байкала, стали называться «судно». Эти суда носили смешанную парусность на одной мачте, поднимая на ней прямой и косой парус, впереди и сзади по одному два кливера.
68. *Такелаж* — снасти и рангоут, образующие общее вооружение судна.
69. *Трави!* — отпуская, выматывай, сдавай.
70. *Трап* — сходни и всякая лестница на судах.
71. *Трос* — металлический канат.
72. *«Трудящийся»* — бывший «Иннокентий» Шишелова И.А. — первый винтовой катер на Байкале, выстроенный в Николаевском заводе и привезен на Байкал в 1889 г. (из судового журнала).
73. *Трюм* — помещение для груза, дров и пр.
74. *«Феня»* — [см. «Феодосий»]. Он же ласкательно, как его многие звали за красоту и силу.
75. *«Феодосий»* — последний пароход в Кяхтинской компании на Байкале. С «Феодосия» был расстрелян в 1918 г. ледокол «Байкал» чехословаками. Пароход выбыл из строя в 1919 г., ныне развалина в Сибирской гавани на истоке Ангары.
76. *Ходить по мысам* — т. е. без компаса на память, беря курс с мыса на мыс.
77. *Ходить на нюх* — т. е. доверяться себе, надеясь на собственное свое знание погоды.
78. *Четверть* — бутыл, равна ¼ ведра.
79. *Шканцы* — верхняя палуба над колотами.

80. *Шлаги* — брезентовые пожарные рукава для откачки воды из трюмов и на случай пожара.
81. *Шпиль* — вертикальный ворот на судах.
82. *Штаг* — неподвижная часть стоячего такелажа.
83. *Шторм* — буря.
84. *Командир «Невского»* — Белозерцев Степан Михайлович, жив, лет 70, проживает в Лиственичном.
85. *Глухарев Петька* — Тетерин Петр Иванович — умер в 1933 г.
86. *Грудин* — *Грудинин Иннокентий* — машинист на кране на верфи.
87. *Шешагин Андриян Павлович* — проживает в Лиственичном в Б. Черемшанке, работает кочегаром.

Составил И.И. Веселов 20/І — 1935 г.



МИХАИЛ ТРОФИМОВ



Посреди России встану

Иван-чай

Становлюсь я, не чаявши,
И сильнее, и добрей...
Иван-чай, иван-чаюшка,
Разлиловый кипрей.
Ты входил в меня силою
Заварною из кружки,

Где зимой вьюга сивая
Меж зимовьями кружит.
Кедры ветками машутся,
Ели в колких крестах.
Меня Мишею матушка
Нарекла неспроста...

19 апреля 2019 года на 83-м году ушел из жизни известный сибирский поэт, член Союза писателей России ТРОФИМОВ Михаил Ефимович. Поэт родился в 1936 году в деревне Снегирёвка Красноярского края. После окончания средней школы переехал в Иркутск. Работал на стройке, в леспромхозе, ходил проводником по тайге, был охотником-промысловиком. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Первая книга Трофимова вышла в Иркутске в 1964 году в сборнике «Бригада». Затем появились сборники стихов «Иван-чай» (1972), «Белый соболь» (1976), «Звонышко. Стихи для дошкольного возраста» (1978), «Изморозь» (1980), «Парасковья» (1986), «Есть край...» (1989), «Лесная азбука». Стихи для малышей» (1994) и другие. В творчестве поэта тайга и её обитатели занимают особое место. «Лесная азбука» — это словарь для детей на таёжную тему.

Михаил Трофимов дважды становился лауреатом премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. В 2007 году он получил ее за создание книги «Свиристели», а в 2010 году — книги «Снегиревка». Также был обладателем звания лауреата областной литературной премии 1994 года за книгу «Лесная азбука». В творчестве поэта особое место занимала любовь к своей Родине, своей деревне, тайге и её обитателям. В стихах Трофимова воспроизводится не только сибирская природа, но и деревенский быт. Михаил Ефимович увлекался лепкой глиняных игрушек и свистулек. Ему был дан талант редкого поэтического качества — пристрастие к стихии народного поэтического мира и умение организовать эту стихию в больших поэтических формах.

Был Михайлушка зелен,
Свет Ефимович мал,
Пил таёжное зелье,
Стал сильней — оклемал.
И за плугом я следовал —
Резал землю тугую,

По собольему следу
Шёл с берданкой в тайгу я.
Может, горе и видывал,
Да окрепнуть сумел...
Только птицам завидовал,
Только зверя жалел.

Где зелёная деревня

Там, где радуга над полем,
Где зелёная деревня,
Где гуляют грозы в ливнях
По берёзовым лесам,

За крестьянскою работой
Он подсолнухом тянулся,
И девчонка подарила
Первый робкий поцелуй.

Жил мальчишка синеглазый,
Белобрысый и вихрастый,
Никого он не боялся,
Птичьи гнезда разорял.

Но, гонимые войною,
К нам в Сибирь грачи летели,
И, притихшие, глядели
На чужой суровый край.

На руках от грязи цыпки,
Брюхо щавелем набито.
Без седла и без уздечки
Он на лошади верхом.

Мать колосья собирала —
По полям пустым ходила,
Пироги с калиной горькой
На дороженьку пекла.

Хлюпает босой ногою,
Крепко держится за гриву —
Через речку скачет бродом
Во зелёные луга.

На войну ушёл парнишка,
Никогда он не вернётся
В ту забытую деревню
Над уснувшею водой.

В заливных лугах пасутся
Нестреноженные кони,
Морды в росах, гривы смолю —
Золотые табуны.

У плетня растёт крапива,
Зеленеют крыши мохом,
Так же, кланяясь колодцу,
Воду достаёт журавль.

Он идёт по мокрым травам,
В волосах его репейник,
А за пазухой зайчонок,
Тоже мокрый от дождя...

Дремлет старая дорога,
И слепой под солнцем дождик...
Да кукушка на раките
Не устанет куковать.

Грачи

Сестре Марии

Помнишь ли, Маруся,
К нам грачи прилетали,
На ободранных берёзах отдыхали,
Из калюжин снеговую воду пили
И за плугом бороздой ходили.

На коровах бабы зябь пахали,
Тонкой хворостинкой погоняли,
Плакали, бурёнок обнимали —
Плуг тянуть тяжёлый пособляли.

Потерпи, кормилица, немного —
Бьют фашиста да в его берлоге.
Мужики ушли как на медведя —
В орденах охотнички приедут.

Станут соболя стрелять да белку,
Нас ласкать, да и пахать не мелко —
А грачи летали и кричали,
Возвращенья всем не обещали.

Мы с тобою, дошколята-крохи,
Собирали прошлогодние картохи
В зябкие холщовые торбинки,
Пили под кустом из рыжей крынки.

Бывает, и теперь ночами снится —
Летят на север траурные птицы,
Усталые, кричат над полем нашим,
А мама на Бурёнке землю пашет.

* * *

Холодно, и сыкотно, и глухо.
В камышовом шалаше ночую.
Завернусь в тулуп и буду слушать:
Птицы к югу поздние кочуют.

Скоро птице, зверю будет лихо,
Летнее тепло земля теряет.
Снег летит торжественно и тихо —
Поле не покроет, сам растает.

А вода шумит на той плотине,
И ни до чего мне нету дела:
Вот снежинка бьётся в паутине —
До земли она не долетела.

В реку упадут рассвета капли...
Сонный поползу из шалаша.
Встану я печальней серой цапли
В стылых и продутых камышах.

* * *

Нет, не вышел я к реке:
Вместе со снежочком
Понатаю в котелке
Беличьих следочков.

Чай горячий — хорошо,
Нет счастливей доли:
На снегу костёр большой
Будет греть до боли...

Росомаха — зверь ночной —
След мой станет нюхать...

Сон опустится такой,
Что нежнее пуха.

Кедры встанут вкруг огня,
Будет грусть уменьшена...
Но приснилось — у меня
В доме плачет женщина.

Может, и была беда,
Вспоминать-то поздно...

Это плакала вода —
Да в ночи замёрзла.

* * *

Я давно с деревнею расстался
На брусничной зорьке ясна дня.
По родной округе стосковался,
Сердце испалилось у меня.

Городскую прокляну удачу,
На родном крыльце картуз сниму,
А увижу маму — и заплачу,
Старую, седую обниму.

Только, мама, не умри от счастья...
Стыдно мне, я землю не пашу.

И бываю у тебя не часто —
Горечью асфальтовой дышу.

Я вернусь, притихший и влюблённый:
Жаль дождя, что мочит лопухи,
Жаль щенят слепых и несмышлёных, —
Оттого в слезах мои стихи.

Журавлёнком сердце встрепенётся,
Так берёзы светятся вдали...
Детство, мое детство не вернётся, —
Мама, не вернутся журавли!..

* * *

На палке верхом парнишка-крикун —
Моё повторяет детство,
Здесь Баба-Яга потеряла клюку,
И не на что ей опереться.

В кочкарнике топком увязла она,
Ночами кричит совою,
И сено, в арбе увязанное,
Везёт кобылёнка соловая.

А с воза увидишь: с дождливых полей
Раздельно хлеба пожинают,

И, снега белее, семья лебедей
В прибрежный камыш заплывает.

И перепёлки всю ночь до утра
Скликают детей в тревоге,
Усталое слышится: «Спать пора» —
Ведь завтра с утра в дорогу.

Ведь завтра совсем опустеют поля,
Да иней на травы ляжет.
Холодной и белой станет земля:
Стога и печальная пажить.

* * *

Я напьюсь берёзового соку
Да услышу пенье соловья —
Вдруг увижу: небо так высоко
Улетает в дальние края.

В небо глянет гордая, как птица,
Запоёт под русскую гармонь —
Вся она от радости лучится,
Прячет в сердце бурю и огонь.

Да глаза светло засиневают,
Как в разливе талая вода,
У девчонки, что любить умеет,
С именем татарским Загида.

Вместе с соловьями затоскую...
Как же о любви ей расскажу?
На руки возьму и зацелую —
В яблонях цветущих закружу.

Вожак

Ждал человек с карабином в руках.
Под выстрелы вышла стая —
Волчьей кровью пролился закат,
Тоших зверей спасая...

Случайно, против обычаев всех,
За стайей своей он вышел:
Под лапами стал скрипучим снег,
Луна покатила выше.

Но слышен кедровки громкий плач.
Вожак брёл шагом неверным
И рану лизал, свернувшись в калач,
Языком шершавым и нервным.

А он с дороги зло свернул,
Верный законам волчьим,
И долго стоял, и был на луну
Седой вожак-одиночка.

* * *

Я из лесу на салазках
Сучьев палых притащу,
Сочиню детишкам сказку
И синичкам посвящу.

Мне синичек бедных жалко:
На морозе все живут.
Натоплю я печку жарко,
Будет в домике уют.

Сочиню я сказку к сроку
И порадую детей.
Дам я косточку сороке —
От неё я жду вестей.

Накормлю собак и кошек,
Белке сладкий пряник дам,

Воробьям дам хлебных крошек,
Проса красным снегирям.

Белке — пряник, сойке — сало,
Всех друзей я накормлю.
Хоть себе оставлю мало,
Никого не обделю.

И ко мне слетятся птицы,
Белки с лесу прибегут.
Только волки и лисицы
За кустами подождут.

Волк мне руку не откусит,
Буду жизнью дорожить —
Сколько лет Господь отпустит,
Столько буду в радость жить.

Русалка

Белый выгоревший песок,
Бесконечный пустынный берег,
Только молятся камни безмолвно,
Только в ярости бьются волны.

Я один пред огромным морем,
Безуютный, сижу на камне, —
Словно море, тревога бьётся,
Тени туч по лицу бегут.

Сам себя по имени кличу,
И чужим мне кажется имя,
Только плачет осенний ветер —
Я уже сам себя позабыл.

Был такой же рассвет солёный,
Штормовое ревело море.
Море с небом слилось воедино,
Я на этом же камне сидел.

Вдруг крутая волна набежала —
Море выкинуло на берег
Удивительное создание,
И я понял, что это она;

Руки были нежны для ласки,
Были страстными алые губы,
Волос нежный, зелёный, длинный
И чешуйчатый рыбий хвост.

По любви истомились груди,
Ритм единый у сердца и моря,
Было горьким юное тело —
Косу плёл я и грудь целовал.

Но она, дитя неземное,
Умирала, в тоске глядела —

Породила её стихия
Для течений морских и глубин.

Холодели глаза голубые,
Ртом красивым хватала воздух,
Взяв её, чтоб нести в избушку,
Я не думал, что загублю.

И над нею сжалилось море —
Нас огромной волной накрыло,
Нас от берега уносило,
И она ускользнула из рук.

Я искать уже не пытался,
Плыл на берег — за жизнь боролся.
Полз от моря — волна смывала.
Снова плыл я и снова полз.

Вот опять я один пред морем:
Каждый день я на дно ныряю,
В царство синее осьминогов,
Страшных скатов, морских чертей.

Каждый день я ныряю в море
С той надеждой — её увидеть,
Ухожу я в чужую стихию
С безопасной и твёрдой земли.

А она во сне меня манит...
Тишина не приходит в сердце...
Я живу так многие годы.
Одиночество злое всегда.

Лебедой зарастает избушка...
Чем я жив и на что надеюсь?
Только небо, песок да море...
Да печали жемчужина в нём.



ЛИДИЯ СЫЧЁВА



Шиповник

РАССКАЗЫ

Твой день

...Мальчик-врач цеплялся за неё — может, ему просто было скучно этой ночью, может, он ещё не привык к благоговейному вниманию родственников, а может, он поддался силе её мольбы; она наплакалась, глаза её набухли, лихорадочно горели.

Мальчик всё говорил и говорил, серьёзно, внушительно, она половину не понимала, потому что выпила много валерьянки, отупела и отяжелела от неё, она, когда выходила из дома, бросила в сумку молитвослов, валерьянку и планшетник.

Мальчик был высокий, хорошо сложенный, в голубой врачебной робе и синей шапочке, в белых докторских бахилах с завязочками, у него были большие

СЫЧЁВА Лидия Андреевна родилась в крестьянской семье в селе Скрипниково, Воронежской губернии. После Заводской средней школы в городе Калаче окончила исторический факультет Воронежского пединститута. Работала преподавателем. Как журналист дебютировала в газете «Комсомольская правда» в 1993 году. В 1995 году поступила в Литературный институт им. А.М. Горького. В 1998 году дебютировала с рассказами в журнале «Новый мир». Лидия Сычёва — прозаик, публицист, лауреат международных и все-российских литературных премий. Автор книг «Вдвоём», «Три власти», «Уже и больные замуж повыходили», «Природа русского образа», «Дорога поэта», «Мы все ещё русские» и др. Главный редактор журнала «Молодое око» (МОЛОКО) и сайта «Славянство — Форум славянских культур». Живёт в Москве.

умные глаза, карие, внимательные, у него были длинные руки с длинными чистыми пальцами (руки он скрестил на груди), у него был чёткий, с хорошей дикцией голос. Было два часа ночи, но мальчик — дежурный врач — был свеж, полон сил и здоровья. Она смотрела в его глаза, она кивала его словам, а сама почему-то вспоминала, как ехала сюда на метро и, чтобы отвлечься, читала с планшетника материал к работе.

Потом она вышла на улицу, спустилась с метромоста, бежала к пазику-маршрутке, водители были кавказцы. Потом они ехали по Можайскому шоссе, тут всегда были пробки, потому что на разделительной полосе что-то строили, ночью тут горели огни, а днём забивали сваи; днём сияло солнце, из ТЭЦ белыми клубами поднимался дым, и звонко ухали металлические механизмы, разнося по округе тяжелый, нутряной звук прессуемой земли.

Она увидела его в приёмном отделении, в самом конце длинного тусклого коридора, в одиночестве сидящим на банкетке, и в первые секунды не узнала его. Лицо было кирпичного цвета, состарившееся, с чуть изменёнными чертами (в них читалось что-то безумное), и в ответ на это безумие (она уже узнала его, но как бы «отказалась» от него в эти секунды) в ней шевельнулось инстинктивное отвержение. Она, видевшая его только в ореоле торжества, силы и красоты, не желала признавать в нём того, кого любила.

Но он уже узнал её, и сквозь черты, искаженные безумием, вдруг проступила изумлённо-жалкая улыбка, как будто ему, обречённому, находящемуся по ту сторону жизни, вдруг блеснула надежда на спасение.

(«Какие друзья? — скажет он ей потом. — Все последние годы, всё своё свободное время я только с тобой; друзья все отпали, они перестали звонить, чего звонить, если я не с ними?»)

Он не любил мобильный, выключал его — «он мешает мне думать, я словно на привязи, когда телефон включен, в любой момент меня могут дёрнуть».

Впервые за всё время их знакомства она увидела его полностью разоружённым и обессиленным, и она горько заплакала.

Она не то, чтобы поняла или почувствовала, она увидела, что он — на краю смерти, у пропасти, и она не знала, как его спасти. Она плакала, а он, он пытался её утешать!.. По правде говоря, у него не было на это сил, и, понимая это, она пыталась сдерживаться. Она стала кидаться к врачам, звала их к какой-то работе, побуждала, просила; они были как сонные мухи, как механизмы, как автоматы, и ей никак не удавалось их растормошить.

Позже, в другие дни, когда она вечерами выходила из больницы через приёмное отделение (центральный вход уже был закрыт), она ни разу не видела такого горя и такого отчаяния, как тогда у неё; всё шло деловито, своим чередом, привозили молодежь с травмами, стариков и старух в окружении родственников, да, было беспокойство, участие, переживание, но была и молчаливая покорность, готовность к любому развитию событий. А может, они, эти сдержанные люди, так верили в исцеление?

— Что с ним?

— Ну, пытаемся понять... ОРЗ, наверное... Температура...

Терапевт на приёме была ласковая, миловидная, но совершенно бестолковая.

— Я, конечно, не врач, не могу вам советовать, но он на адскую головную боль жалуется...

Терапевт, видя её рыдания, вздохнула и снизошла — назначила компьютерную томографию мозга.

Она сама, вместе с женщиной-санитаркой, завезла его на каталке к аппарату-капсуле, сняла ботинки, уложила на холодное клеенчатое ложе. Черты лица его заострились, отяжелели. Смерть была рядом. Она уже распахнула свои холодные чертоги, манящую бездну, путь в пустоту, туда, где не будет страданий, отчаяния, жизненной мелкоты.

Исследование затянулось, она попыталась подсмотреть в щелочку.

— Закройте дверь! — рявкнула врач при капсуле. — Ждите результат на каталке! Не поднимать голову! — это Ване.

«Во! Он два часа у вас в приемном покое просидел, никто ничего не делал, а теперь, оказывается, и вставать нельзя!»

Наконец каталку вывезли из кабинета.

Она держала его пальто в руках, пакет с обувью. Слёзы всё текли и текли у неё по лицу.

— Не плачь... — Видно было, как тяжело ему говорить.

— Это так... Не обращай внимания... Нервы просто...

Уже был вечер, за окнами темно. Шла рутинная работа — писались бумаги, вызывались в кабинеты пациенты, бестолково толклись родственники.

— Скорей бы лечь...

— Потерпи... Ты ведь лежишь на каталке, всё лучше, чем сидеть.

Пришла женщина-санитарка — высокая, с крашеными в шоколадный цвет волосами, с вишнёвой помадой на губах, с подведёнными чёрным глазами. Ухоженная, внимательная. Махнула рукой:

— Вези сюда.

Она неумело, торопясь, закатила каталку в узкую комнату.

Санитарка наклонилась и громко спросила:

— Вы доверяете этой женщине свои вещи?

— Что?

— Вещи, говорю, ей доверяете? Она вам кто? Вещи либо она заберёт, либо в подвал сдадим.

— Я заберу, заберу, — засуетилась Женя.

— Снимаем всё. Рубашку, брюки, носки (снимите ему носки), часы, трусы.

— Да трусы же зачем? — он стал слабо сопротивляться.

— Затем, так положено.

— А куда, куда его?

— В палату, — неласково отвечала санитарка.

«В палату? — она плохо соображала. — Но зачем всё снимают, если в палату?»

— Вы сейчас с нами пойдёте, а вещи соберите. У вас есть пакет?

— Нету.

— Я вам дам. — Видя её отчаяние, санитарка смилостивилась, вынесла ей огромный чёрный чехол — для трупов.

— А что с ним?

— У врача спросите.

Она побежала к ласковой, миловидной терапевтке.

— Извините, я по поводу Рязанцева... Что с ним?

Терапевт смотрела в бумаги. Ответила сухо, совсем нелюбезно, без всякой ласковости.

— Инсульт.

— Инсульт? — она охнула.

— Да, обширный инсульт, — зло добавила терапевт и отвернулась.

«Она его похоронила», — мелькнуло у Жени.

Санитарка везла его к лифту на каталке, он весь был в кипенно-белой простыне, как в облаке, как на небе.

Неужели Бог заинтересован в том, чтобы мы страдали, умирали, мучились?

«Почему мне так хорошо с тобой?» — много раз спрашивала она его.

«Потому что за нами стоит красота».

Лифт. Очень раздумчивый, с западающими кнопками. Бесполезно его торопить, жать на «закрытие дверей» — он живёт своим ритмом. Больше четырех человек не берёт, независимо от комплекции.

— Не трогайте его, он сам знает, когда ехать, — мудро посоветовала Жене медсестра, когда она стала нервно жать на кнопки.

Через день Женя, уже сама в белом халате, советовала новичкам-посетителям как всегдагдай: «Не трогайте, он знает, когда ехать».

Лифт, как путь в рай или в ад. Как переправа через Лету. Лифт, как обновлённый чёлн Харона. Седьмой этаж, дальше только небо.

Бело-голубая вывеска «Нейрореанимация», граница между жизнью и смертью. У дверей кнопка — для вызова врачей. Угрожающая надпись: «Посторонним вход строго воспрещён» с тремя восклицательными знаками.

Увозили как в облаке — в белоснежной пене простыней. Он, на порошке, где санитарка с коляской запнулась, слабо махнул ей рукой. Створки двери сомкнулись.

«А если бы я не приехала?»

«А если бы я не рыдала, не кидалась к врачам в приёмном?»

Она сидела на банкетке совершенно обессиленная — от пережитого потрясения, валерьянки, слёз. Слёзы бежали ручьём, она их вытирала бумажными носовыми платками, упаковка уже кончалась. Она не могла остановиться, собраться, сосредоточиться. 19.50 на часах.

Вышел врач в голубой униформе, высокий серьёзный мальчик с умным, строгим лицом. В руках у него — история болезни.

— Вы — родственница? — участливо глядя в её зарёванное лицо, спросил мальчик.

— Нет, я коллега Ивана Сергеевича, — твёрдо сказала Женя.

— А родственники где?

— Жена — дома, она больна. А сын — в другом городе.

— Могу ли я вам доверять? — задумался мальчик.

— Так всё равно больше некому! — воскликнула она.

— Я тогда запишу ваш телефон, — и мальчик вписал её в историю болезни. — И вот что я вам скажу: ситуация критическая, в ближайшие часы нам может потребоваться человек, который даст санкцию на нейрохирургическую операцию.

Ужас, видимо, так явно отразился на её лице, что мальчик поторопился её успокоить:

— Вы не думайте, мы всё делаем, что нужно, помощь пациенту оказывается.

— Да он у вас два часа в приемном просидел!

Мальчик поморщился:

— Это непорядок, конечно. Но мы отвечаем за него с момента поступления в отделение, видите, в истории болезни записано: 19.50, — и мальчик показал ей строчку с датой и цифрой. — Так вот, я вызвал мобильную нейрохирургическую бригаду для консультации, если они скажут, что нужно немедленно оперировать, мне будет необходимо письменное разрешение родственника.

— А вы сами как считаете, потребуется операция? — Женя заглядывала в его глаза, и, наверное, была в эту минуту очень жалкой.

Мальчик задумался.

— Понимаете, любая операция на мозге — это огромный риск для пациента... Но иногда приходится выбирать из двух зол меньшее.

— А когда будет бригада?

— Не могу сказать! Может, через 15 минут, а может, через 6 часов! Они же и по другим больницам смотрят пациентов. В общем, ищите родственников, а я пойду, посмотрю, что там...

Она включила мобильник Вани, пролистала телефонную книжку, нашла номер сына. Вот, через минуту в его жизни всё изменится. «До» и «после»...

Она набрала номер со своего телефона. Трубку взяли, раздраженно сказали «да». Слышно было, как рядом плакал ребёнок.

Она начала издали:

— Здравствуйте! Я коллега Ивана Сергеевича...

Там, в другом городе, взрастала новая жизнь, плакал ребёнок, а тут, возле голубой вывески «Нейрореанимация», она тоже плакала, по-детски, не зная, как победить беду...

— Вы только маме ничего не говорите, домой не звоните, ладно? У мамы сахарный диабет, ей нельзя волноваться, она, если узнает, что отец в реанимации, не представляю, что с ней будет... Пусть думает, что в терапии, я сейчас ей позвоню, скажу, что всё нормально, что я с отцом говорил.

— Да, да, конечно.

— Я сейчас еду на вокзал, беру билет, я утром буду!

— Я вам позвоню, как бригада приедет, какой вердикт.

— Да, да, я буду ждать! И — спасибо вам огромное, что вы сейчас там. Пожалуйста, не оставляйте отца!

— Ну что вы! Иван Сергеевич столько для меня сделал...

«Пусть он лучше погибнет, чем потеряет разум», — вдруг смирилась Женя. Представить его сумасшедшим, парализованным, его, такого победительно-сильного, могучего и красивого?!

«Господи, сделай так, как лучше для него! Если ему легче будет от смерти, то я согласна. Пусть даже я останусь одна, пусть я буду страдать и мучиться, но только бы ему было лучше!»

Никогда она не подозревала в себе такой самоотверженности и смирения!

Мобильная бригада нейрохирургов состояла из трех человек — усатого матёрого мужика с чемоданчиком, женщины пенсионного возраста с седыми волоса-

ми и хмурого парнишки-студента. Они появились из лифта внезапно, уверенно распахнули дверь со строгой надписью и двинулись вглубь отделения, оставляя грязные следы на линолеуме.

Дверь захлопнулась.

Она ходила как заведенная — туда-сюда, и механически, будто выполняла незримый урок, твердила «Отче наш».

Бригады не было долго — наверное, минут сорок.

«Бумаги пишут», — догадалась она.

Наконец они вышли.

Женя бросилась к матёрому:

— Что там?

— Операцию делать не будем — может не пережить.

— А прогноз?

— Тут вам никто не скажет. В любой момент давление может подскочить, повторный инсульт, и...

— Он в сознании?

— Сейчас спит. Третий и пятый день станут решающими.

Она оделась, взвалила на плечо огромный черный мешок с вещами, вышла на улицу. Было около трех ночи, но ей совершенно не хотелось спать. Она поймала частника на новенькой белой иномарке, и он повез её домой, на другой конец Москвы. Играла бойкая музыка. Водитель, молодой кавказец, развлекал её разговором, она поддакивала, понимая, что беседа ему нужна, чтобы не клонило в сон. Он рассказывал историю про кредит, на который он взял эту машину (это была редкая и дорогая марка, она тотчас забыла название), кавказец не бил машину в пробках, берег от кучной езды и выезжал на промысел ночами, когда пустые дороги и щедрый клиент.

Это был какой-то иной, параллельный её бытию мир, она ехала в роскошном авто с погребальным мешком, в котором были сложены — кое-как — вещи Вани: пальто, брюки, кепка, шарф, рубашка в крупную клетку — она ему очень шла, впрочем, ему всё шло; и часы — её всегда возмущало, зачем он носит такие тяжелые, «брутальные» часы, а он ими дорожил — подарок сына...

Водитель уже нахвастался и даже из вежливости спросил, почему она возвращается так поздно, и что в мешке. Она ответила уклончиво, без подробностей, не желая сбивать его с весёлого настроения. «Ещё настрадается, молодой...»

Она проснулась, будто от толчка, рано. «Что же вчера было плохого?» И тут же воспоминания вчерашнего дня и ночи вернулись к ней, и она даже застонала от боли...

Дверь в отделение была приоткрыта. Женя заглянула в щель, пытаясь прислушаться к разговору в ординаторской. Кажется, говорили о Ване, но ей ничего не удавалось разобрать. Тогда она выдвинулась чуть сильнее, и в этой позиции её застал вышедший из палаты врач.

— Что вам? — он спросил неласково, почти грубо.

— Я вот... к Рязанцеву... вечером поступил, — она с ужасом чувствовала, что сейчас, против своей воли, разрыдается.

— Пройдите, — кажется, чуть смягчаясь, сказал врач, — в 14-й палате он.

«Что значит это разрешение? Он так плох, что мне разрешают на него взглянуть? И почему «пройдите», если написано «посторонним вход воспрещен»?»

— Халат только наденьте, — приказал врач.

За дверью на гвоздике висело несколько халатов.

Она робко толкнула дверь.

Ваня лежал к ней лицом на высокой, как трон, кровати, весь опутанный проводами, с раскинутыми («как на распятии» — ужаснулась она) руками.

Он спал.

— Здравствуй, сынок, — он слабо шевелил губами. И то, что они с Колей вошли вместе, его не удивило.

— Может, мне выйти? Вы что-то хотите обсудить?

— Нет, будь на месте, — даже такой, беспомощный, весь перевитый проводами, прикованный к реанимационной кровати, он управлял ими.

— Что ты сказал Коле?

— Он сам мне всё сказал. «Пап, ты не волнуйся. Я всё понимаю. Я маме ничего не скажу».

— А ты...

— А я сказал, что я без тебя умру. И что пусть нас Бог судит, он нас соединил.

У каждого свои возможности для отвлечения от главного, от сути жизни. У кого-то — лишняя тряпка, лишняя тарелка супа, поездка в Дубай... У неё была новая работа. Она ею увлекалась, а жизнь проходила мимо, мимо. А главное, они с Ваней стали реже видаться. Он не протестовал. Он просто попал в реанимацию...

— Спасибо вам, — Коля смотрел на неё мученически-благодарно. — Я, знаете ли, отцу хочу сиделку нанять...

— Нет-нет! Я всё сделаю!

Коля ничего не ответил, только махнул рукой и отвернулся.

Это самое трудное: оправдать свою любовь, когда она со всех сторон грех. (Как будто жизнь вообще — не грех! Но зачем же тогда все эти копошения, если с самого начала всё — грех?!)

Дело было не в том, что он был лучший для неё, это понятно, без этого никакой любви не бывает, а в том, что он был лучший вообще. Лучше всех.

(Потом она у него спросит: «А тебе встречались в жизни мужчины сильнее тебя духом?») И он, после раздумья, отрицательно покачал головой.)

Да, всё дело в нём, в его исключительности! Женя впадала в самоуничижение. Но и тут Ваня всё выравнивал и приводил к гармоническому виду:

— Если бы дело было только во мне, то, выходя, допустим, на луг, где пасутся козы, коровы, я бы чувствовал то же самое, что и в твоих объятьях...

Женя хохотала — так наглядно и точно он объяснял.

Она ещё не готова была понять, что и она, соединившись с ним, уже не такая, как все, а избранная. Пусть и светящая отраженным светом, но — его светом.

— Ты знаешь, сколько женщин признавались мне в любви?! Я ни одну из них даже не помню. А с тобой я всё время в мыслях...

«Как же я пойду на работу?» Заплаканные глаза, набухшие веки. В подземном переходе она нашла ларёк с оптикой, но тёмных очков от солнца почти не было — не сезон. Она выбрала с широкими стёклами, чтобы максимально закрывали лицо. Очки были не по размеру, сдавливали голову. Она поразилась, каким тёмным стал мир (день и так был пасмурный, без солнца). «Мир без Вани, наверное, будет для меня только таким».

Она зашла в храм в неурочный час. В огромном пространстве бродили неприкаянные фигуры. Она купила свечей и попыталась найти «знакомых» святых, но слёзы так лились из глаз, что она почти ничего не видела.

— А вы поставьте свечу к этой иконе — 12 святых целителей — и половина ваших бед уйдет.

(Наверное, это был ангел-хранитель в образе сердобольной, интеллигентной женщины.)

Она поставила свечу, и её пронзила такая боль, что она невольно вскрикнула и разрыдалась. О чем она молилась? Не о себе. О нём. Пусть ему будет легче!

(И эта же амплитуда — между силой воли и чуткостью, ранимостью — только много больше — была в нём.)

Сердце её плавилось как воск, плакало свечою в высоченном, величественном храме, где она была так мала.

Как знать, может быть, они последние настоящие влюблённые на всей Земле? Может быть, на них-то и держится весь мир?

Циммер куражился. Самовыражался, самовозбуждался, лил потоки словесной патоки, расцветал, вдохновляясь собственной демагогией. А то вдруг приходил в себя и говорил вполне трезвые вещи, но тут режиссёр Игорь, пытаясь «завязать диалог», простодушно высказывал дельные предложения, и тогда грязевой поток открывался у Циммера с новой силой.

«Пропади ты пропадом», — с отчаянием думала Женя, украдкой поглядывая на часы.

Она вспоминала, что в тот самый день, когда с Ваней случилась беда, они не смогли встретиться — Циммер вызвал съёмочную группу на внеплановое совещание и три часа, не замолкая, нёс полную ахинею, глумился над ними. Зато встречаясь с руководством, их начальник истекал подобострастием, волшебным преображаясь в самую любезность.

Работа — продюсер на телевидении — ей очень нравилась. Найти её было большой удачей.

— Зачем мы всё это слушаем? — вскинулся Игорь.

Женя апатично пожала плечами.

— Терпеть ваши оскорбления мы больше не намерены. Вы абсолютно непрофессиональный человек. Мы увольняемся.

Она внутренне ахнула: рафинированный атеист сделал то, на что она, наверное, никогда бы не решилась! Унижение так и длилось бы, высасывая из неё силы, делая её недостойной Вани.

— Да пожалуйста! — истерически вскричал Циммер. — Скатертью дорожка. Видали мы таких!

Она потеряла престижную работу с хорошей зарплатой, и с какой радостью...

Дома она сказала сыну, что уволилась. Костя кивнул. Он, такой чуткий и ревнивый, ничего не спрашивал: где она бывает, уходя с утра и возвращаясь ночью, почему так похудела, и почему у неё тревожные, испланные глаза.

Женя поняла, что значит «ослепнуть от горя» — у неё резко упало зрение. Сидела, подшивала домашние брюки. Тыкала ниткой в иголку — наугад, не видя. «Возьми, не пожалеешь, — убеждала её торговка. — Я тебе со скидкой продам, потому что с манекена. У меня и зять носит, и муж. В них не только по дому, но и по улице можно ходить. Российского производства!»

И действительно, Ване полюбились эти брюки, понравились. Вот что значит, когда с хорошим сердцем проданы.

Одежду она выбирала с большим тщанием, и ложки — чайную и столовую, и вилку (потом докупила). «Столовое серебро» для больницы...

Она всё время теперь ставила себя на место других, тех, кому было ещё хуже, и ужасалась. На банкетке у входа в нейрореанимацию плакали молодые женщины — Лейла и Роза, жена и сестра. У Тимура обширный инсульт, «на полголовы».

— Он выздоровеет! Он справится, он сильный! — уговаривали они друг друга.

Через сутки врачи нашатырем приводили в чувство упавшую в обморок Лейлу. После, прибитые горем, в черных платках, женщины приходили в отделение за справкой.

Она шла по коридору нейрореанимации, стеклянная стена отделяла её от пациентов: бесформенные тела в памперсах, старухи с обнажёнными сумками грудей, испитые небритые мужчины, покалеченные в авариях парни, перекошенные инсультами старики, синюшные женщины с бессмысленными лицами; они были опутаны трубками, подключены к мерцающим огоньками аппаратам, они походили на гигантских, прикованных к опорам, осьминогов, они стонали, хрипели, испражнялись, кто-то кричал в безумии...

«Да это же ад, страшный суд!» — ужаснулась она.

Заведующий отделением оказался душевным, улыбчивым мужчиной средних лет. «Ему бы психотерапевтом работать!» — подумала Женя, робко глядя в ясные глаза в опушке из густых ресниц. Павел Николаевич сидел в своём светлом, уютном кабинетике за компьютером и деловито, двумя пальцами, печатал врачебную бумагу.

— Я вам разрешаю бывать в отделении, ухаживать за пациентом. Мы его отдельно положили, а то ему будет со всеми шумно, видите, какой у нас контингент...

— Спасибо вам огромное!

— Если будут какие-то проблемы, сразу зовите дежурного врача.

Ваня лежал в палате с глухой, а не стеклянной перегородкой, через стенку от ординаторской. Над кроватью — номер «16». Это была заброшенная палата-кладовка, огромная комната с высоченными потолками. За ширмой в изобилии громоздились ящики с физрастворами, медоборудованием, рядом стояла заправленная чистым кровать.

Места было много и воздуха много, и было огромное окно с жалюзи. Днём, когда в него било солнце, Женя закрывала створки. Присмотревшись к действиям

врачей, она научилась мерить давление на огромном аппарате, где бойко бежали кривые сердечного ритма. («Вы аккуратней только, — сказала медсестра, — аппаратура очень дорогая, не расплатитесь, если поломаете».)

Но Женя ничего не поломала. Здесь, в реанимации, она сама возвращалась к жизни, к тому высокому напряжению, в котором жила их любовь, к сверхчувству, имевшему свои права — поверх жизненных предписаний и законов.

Жизнь шла своим чередом, и она изумилась, что в метро много молодых, здоровых, весёлых лиц, что тут деловой и чуть разгульный настрой. Жизнь, оказывается, шла и за пределами реанимации; а она не видела, не слышала ни зимы, ни оттепели, всё проходило мимо, ухало в бездонную гать, которую ей следовало замостить, проложить через неё дорогу на сухой берег, к живой жизни.

В метро крепкие, широкоплечие парни хохотали (она поймала себя на чувстве, что смотрит на них осуждающе), девчонки в модных шубках стреляли глазками, притворяясь, впрочем, что им нет никакого дела до грубых мужланов.

Да, шла жизнь, которая прекрасно будет идти и без них, без их любви. Значит, любовь нужна, прежде всего, им самим — для спасения.

В ту зиму — первую зиму их любви — тоже шел снег, стоял жуткий мороз — как сейчас, только тогда зима была ещё дольше, казалось, что ей не будет конца.

У неё было бедное пальто на «рыбьем меху», но длинное, в пол, как шинель, они ходили по паркам и целовались в мороз.

— А давай помечтаем... Как я выздоровею, и мы с тобой будем ходить по бульварам. Потом посидим в кафе, потом я тебе буду играть...

Женя кивала. Нет, она ни о чём не хочет мечтать! Она хочет прожить этот день благополучно, а что будет завтра? Она даже думать не хочет про завтра, она живёт одним днём, одной заботой, одной надеждой, одной молитвой.

В лифтовое зеркало на неё смотрела красивая молодая женщина. «Возьми меня с собой», — твердила она.

Отодвинув смерть, они были счастливы, может быть, так счастливы, как в первые дни их любви.

Стояли немыслимые, чудовищные морозы, но она их не чувствовала — стужу она переносила легко. И бессонницу, и бескормицу — легко. Тяжело она переносила только его страдание.

На Крещение, 19-го утром, она всё прикидывала, где взять святой воды. И путь всё не вырисовывался, получалось долго, неудобно. Как вдруг, уже подъезжая к «Театральной», она вспомнила о храме на Ильинке, прямо у метро «Площадь революции», куда они однажды заходили вдвоем.

Она побежала туда, и всё устроилось — очередь была совсем небольшая, потому что на разливе стояло несколько женщин; она и свечи успела поставить, и помолиться.

Потом она смачивала его святой водой, поила его, не особо, впрочем, веря в чудо, не надеясь.

И только через год, когда она увидела колокольню этого храма в морозном небе, она вдруг вспомнила, что на следующей день ему стало сильно лучше, он почувствовал себя почти здоровым... А тогда она даже не поняла, не оценила чуда.

Поздней ночью она вышла из метро и вдруг почувствовала, что страшное напряжение последних дней её отпустило, что в мире что-то изменилось, «сдвинулось», и что она, похоже, вырвала его у смерти; что сейчас будет передышка, и оттого ей стало даже чуть скучно, чуть обидно, и каким простым и ординарным показался мир вокруг!

Произошел перелом. Она будто бы вышла из шахты, тяжелого забоя, усталая и отупевшая.

И она даже пожалела, что эти несколько дней в реанимации миновали. Они снова вернули, возвратили её к первым дням их любви, к первородному высокому чувству.

— Вам, конечно, фантастически повезло, что удар обошелся без фатальных последствий — мозг не пострадал. Кровоизлияние обширное, величиной с яблоко. Чудо, что кровь ушла в желудочек. Но слабость, головные боли, проблемы с координацией ещё будут долго.

Если у любви есть крылья, то они несли её в этот день, поднимая, как птицу, над землёй. Они ведь были созданы друг для друга, изначально, но что-то сбилось в настройках истории — их жизни развели по параллельным орбитам. А любовь поломала всю «астрономию» судеб, и они всё равно встретились, всё равно, назло козням и несовершенствам мира.

— Хоть посмотреть на мозг великого человека, — говорил Миша Корнеев, рассматривая у окна снимки компьютерной томографии и качая головой.

В аду — в реанимации — у них был райский уголок, отдельная палата, где стараниями черноглазого ангела, мальчика-врача (всё решалось в первые сутки!), Ваню вернули к жизни.

— Ещё хоть денёк полежать бы здесь, — просил он заведующего.

— Мы и так вас держим нелегально, у нас больше трех суток нельзя — либо на поправку, либо на тот свет... А вы у нас пятые сутки... Нам отчитываться надо за место, понимаете?

(В реанимации их любили — Женя чувствовала. Потому что врачи, наверное, понимали, что тут не просто «медицинский случай», а другое, редкое, про которое в книгах пишут, или в кино показывают.)

Их перевели в отделение неврологии.

Вот где было по-настоящему страшно: в шестиместной палате четверо сумасшедших.

— Кваску! Катя, кваску! — кричал и рвался привязанный к кровати здоровенный малый в памперсах. Он не различал день и ночь, медиков и пациентов. В минуты просветления он угадывал лишь Катю и тогда плакал, скулил от боли. Полупарализованный, дергался левой стороной тела, отказываясь ходить на судно — стеснялся. Рвался в туалет. Он жутко кричал ночами, никому не давая спать.

«Бедная Катя!» — она видела покорную спину несчастной женщины. Катя приходила после обеда, кормила больного, ухаживала за ним.

«А ведь на её месте могла быть я!»

— Не имей сто рублей, а имей... Что имей? Рубанов, думаем, думаем!

Врач-педагог учила говорить лысого усатого мужика. Он мычал, глупо улыбался.

— Вспоминаем! Не бездельничаем! Без труда не выловишь и рыбку... Откуда тащим рыбку? Рубанов, в чём проблема? Ну, откуда рыбка?

— Так, всё ясно, думать не получается. Повторяем за мной: не всё коту Масленица... Рубанов, потея, краснея и заикаясь, выдавливает из себя слоги.
— Молодец! И дальше: не всё коту Масленица, будет и Великий пост...

На фоне общего безумия Миша Корнеев смотрелся совершенно нормальным.

— Вы чего здесь? — изумилась Женья.

— После инсульта — адские боли. Боюсь, что с ума сойду. Лечусь...

— Помогите Ивану Сергеевичу, если что попросит, ладно? Мне домой надо.

С Мишей они подружились (вот и «друг семьи» у них появился!). Корнеев приглашал: «Как выздоровеете, приезжайте ко мне в Можайск на лошадях покататься. У меня ферма своя...»

В неврологии они пролежали недолго. Врач, похожая на студентку-отличницу из сериалов (в круглых очках, с круглой же головой), перевела в терапию: «Там поспокойней».

Если Ваня начинал жаловаться, мол, его шатает, нет сил, и когда же станет легче, Женья напоминала ему про палату безумных: «Не всё коту Масленица...», или «Катя, кваску!»

Не дай нам Бог сойти с ума, уж легче посох и сума...

Любовь была разлита в мире, любовь решала всё: видя её самоотверженность, таяли самые холодные сердца, врачи, медсёстры, все они жили привычкой, очерствели душой — без этого можно сойти с ума от страдания, а любовь — она ведь редкость в больницах; в больницы попадают нелюбимые, любимые счастливы и не болеют, нелюбимым выказывают жалость, участие, внимание, а вот любовь — это редкость... Любовь даже в книжках теперь редкость, чего ж говорить про жизнь!

В больнице смиряются с обстоятельствами; ну, мало ли, «все умрём...» И, когда сталкиваются с любовью, это редкость, исключение, это удивляет...

Может, и у Жени её любовь ослабела, если Ваня попал сюда?

Игорь (режиссер) звонил ей, сочувствовал. Говорил: «Ну, найми сиделку». (Он был в курсе, что у неё родственник в больнице, не знал, правда, какой родственник.) Она не понимала: что может дать сиделка? Вынести судно, покормить с ложечки? (Всё это и она делала.) Но сиделка не будет тащить человека с того света, не будет переливать ему свою силу, не будет говорить сто раз на день «люблю» — каждый раз с новой интонацией, то с восторгом, то со слезами на глазах, не будет целовать его руки, исколотые иглками капельниц. Сиделка не будет мысленно молиться у дверей ординаторской, ожидая вердикта лечащего врача, нет, зачем сиделка, если есть Женья?!

Была стужа, морозы, потом с неба летели «куры» (огромные, растрепанные хлопья снега), потом пришла оттепель. Были отдельные палаты и «общежития», была реанимация и терапия, неврология и гастроэнтерология. Были депрессии и подъемы, был встрепанный, озабоченный сын Коля, были паровые котлеты из индюшатины, белорусский творог, ряженка из Тверской области... Была золотая хурма, бананы и гранатовый сок. Была любовь, была их «семейная жизнь» на виду у всех, в больничных палатах.

Как примирить их грех с жизнью? Вся жизнь, вообще говоря, есть нарушение правил (правила — это «средняя температура по госпиталю»). Весь вопрос в том, для чего ты нарушаешь предписанное? С каким сердцем?

Их встреча не была «счастливым случаем», удачей. Случай возносит на вершину власти и могущества бездарностей и ничтожеств, а талантов и трудяг загоняет в забвение; случай дарит внезапное богатство и фантастическое везение, случай — игрушка, которую подбрасывают людям языческие боги.

Но их встреча не была случаем и не оставляла никакого выбора — Бог соединил их, чтобы продлить жизнь и приблизить к себе.

Теперь она стирала, кормила, убирала, любила, заботилась, покупала газеты: «Московский комсомолец», «Аргументы недели», «Мир новостей», однажды даже купила «Новую»; она мерила давление, целовала лоб, чтобы понять, есть ли температура, протирала спиртом исколотые руки, гладила пижамы, стирала носки и трусы, заботилась о том, чтобы в холодильнике были свежие продукты — фрукты, чернослив, хурма, йогурт, детский творог и соки.

Это была семейная жизнь, о которой она мечтала, и она — сбылась.

Он не хотел переводиться из отделения терапии, ему нравилась эта одноместная палата (Коля оплатил). В окно была видна серая берёза, на которую часто прилетали птицы — не вороны, не галки, а какой-то обобщённый городской образ воздухоплавающих.

— Смотри, куры летят! — однажды воскликнула она. С неба действительно падали великанские хлопья снега, частые, белые, лохматые, такой снег, наверное, бывает только однажды за зиму.

Как замороженные они сидели близко-близко у окна, и казалось, что они не в больничной палате, а в волшебном лесу, в сторожке лесничего, где печка даёт тепло, где им спокойно и надёжно, а завтра у них — зимний трудный день, перед которым они набираются сил в уюте и довольстве.

Она размышляла о любви, разлитой в мире, и с грустью чувствовала, как её, оказывается, немного. Люди живут привычкой, обычаем, рефлексом, по «накатанной». Жизнь как хлеб, но не хлебом единым...

А чем?

«С музыкой ты никогда не будешь бедной или униженной». И вдруг она увидела его, несчастного, одиноко сидящего в углу приемного покоя, корчащегося от боли. А как же музыка?.. Не помогла? Обманула?

Но разве её саму не привела к нему музыка? Музыка, которую она впервые услышала от него! Значит, он был прав. Как всегда!

Творческая воля была в нем сильнее всего. А в ней? Может быть, вера любви?

Но как жестока жизнь! Жизнь, которая будет продолжаться и после нашего ухода.

По телевизору показали:

а) что замело трассу до самого Ростова, но уже расчищают;

б) что президент встретился с иностранной делегацией, прибывшей с официальным визитом, и обсудил вопросы экономического сотрудничества;

в) что бобслей — олимпийский вид спорта.

Это был огромный сюжет — минут десять, не меньше — про сани, длину желобов, скольжение, подготовку трассы, костюмы спортсменов. Видно было, что режиссер снимал с большим тщанием — использовались спецэффекты и анимация, инфографика и архивные кадры.

Ваня с недоумением посмотрел на неё: он побывал за гробом и вернулся, долго бился со смертью, выкарабкивался из болезни, и всё — ради чего?!

Женя, видя его разочарование, лишь развела руками: мол, ничего поделать не могу.

Оказывается, «вся полнота жизни», отраженная в телевизоре, ничего не значила по сравнению с тем, что они пережили за эти дни.

Кончилось их приволье — в кардиологии была только двухместная палата.

Сосед Вязьмитин оказался человеком деликатным и очень тщательным — всё записывал в книжечку, очень интересовался своим здоровьем, и вообще был мужчиной примерным во всех отношениях.

«Кагэбэшник», — решила Женя.

Это был первый день, когда они вышли на улицу — врач разрешила еще неделю назад, но Ваня всё медлил, не чувствуя в себе сил.

День был промозглый, серый. В беседке курили санитары и больные, возле мусорных баков сутились голуби, берёзы стояли молчаливо, тихо. Она увидела, как посветлело его лицо.

Они ходили хаотично, бессистемно, а высокий мужик в трениках с тремя белыми полосками всё наматывал и наматывал круги вокруг корпуса. Он наизда-тельно заметил им: «Ходить надо по часовой стрелке! Тогда толк будет!»

Они смеялись.

Они походили с полчаса. Ваня устал. Поднялись наверх, в палату. Она помо-гала ему раздеться. Вязьмитин деликатно вышел. И тогда Ваня налетел на неё, и стал целовать её с такой отчаянной страстью, что она едва успела закрыть дверь на защёлку.

«Это была наша Олимпиада, наш рекорд». «Ну тогда уже параолимпиада...»

Она ехала по Шаболовке на трамвае и вспоминала: ах, так это же здесь на-чиналась их любовь! В старых домах жил его товарищ, скрипач Снегирёв. Она вспомнила, как они шли от метро втроём, и она, конечно, понимала, зачем она идёт в гости к одинокому Снегирёву (он их тактично оставил после чая), но не это было главным. Вдруг выяснилось, что близость, составляющая самую суть, вершину отношений мужчины и женщины, есть необходимое, важное, даже жиз-ненно-важное в их отношениях, но самый смысл любви — не в этом, а в чём-то другом, неуловимом. Нет, их не настигло ни разочарование, ни опустошение, ни равнодушие, ни сытость, да, произошло необходимое, неизбежное, но тайна была в другом, и ничего не пострадало в них от греха. Они были люди, мужчина и жен-щина, желающие друг друга, но они будто и не были просто людьми, были ещё и души их, дремавшие прежде, не могущие выразить себя полностью, и вдруг души эти вышли на простор, они встретились, они воодушевляли и радовали тела; у душ словно тоже была правда, и духовный путь — главным, а тело, да, тело — это дом, но главное — было в чём-то другом, другом!..

«Боженька, прости нас!» — шептал он, обнимая её. «Боженька, прости нас!» — мысленно вторила она ему, и слёзы бежали из глаз. Что ж, мы не ангелы, мы греш-ные люди, но мы признаём над собой великого Бога, соединившего нас.

Снегирёв жил в настоящей холостяцкой берлоге, запущенной, неубранной. Но пианино было хорошим, настроенным, и Ваня обязательно ей играл — своё, чу-

жое... Трамвай медленно катил по Шаболовке, с деловитыми звонками, с покачиванием железного вагончика (что-то игрушечное, детское было в этой езде), она ехала, вспоминая их любовь, удивляясь ей, и жизнь ей казалась непостижимо-высокой, похожей на сказку.

Творчество — не просто работа, время, талант. Творчество — божественная энергия, которая либо даётся тебе, либо нет. Ваня был чистым её носителем. А она оказалась рядом, купалась в её лучах. Но она была нужна ему. Чтобы его жизнь продлилась... Вот и всё. Вот и весь грех.

Она ввалилась домой, от усталости еле волоча ноги. У сына в гостях невеста («Я, мам, женюсь скоро», — сказал ей Костя как бы «между прочим», а у неё даже не было сил «выяснить отношения»), и они нестройным дуэтом декламировали под караоке: «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую!..»

«Тоже музыка!» — умилилась Женя, падая в сон.

Елка дома стояла неразобранная, грустная. И наряжена она была наполовину.

Жизнь проходила второпях и, может быть, самые счастливые её моменты были в больничных палатах.

Наступил День Святого Валентина, праздник всех влюблённых, народ нёс цветы. Ваня не помнил музыки, сочиненной в реанимации (несколько фраз, Женя записала), он вообще ничего не помнил оттуда. Не помнил, как она неумело брила его, как кормила с ложечки, меняла бельё... Может, и к счастью, что не помнил.

Он нёс в себе идеальный мир, а она стояла у подножия невидимого града, удивляясь, что ей дано счастье слышать, чувствовать, осязать эту великую красоту.

«Боженька, не разлучай нас», — твердила она то, что Ваня ей сказал тогда, у окна, на скамейке.

«Эх, пройтись бы сейчас по Тверской после хорошего концерта, выступления!»

Сколько они ходили по Москве! Их можно назвать самыми бродячими влюблёнными Москвы — они многократно прошли все бульвары, Остоженку, Тверскую, Большую и Малую Дмитровки, обе Никитские улицы, все переулки вокруг Консерватории, Гнесинки (Ваня там преподавал), они ходили в листопад, в снег, в метель, в ливень, да ведь это редкость, редкость — такая любовь!

И везде пели, гремели, шипели, щёлкали и пищали звуки, и вся она была одно напряженное и восторженное ухо, улавливающее жизнь.

— И вот этот герой, из мира стихий и гармоний, должен жить в «слишком человеческом» окружении быта, мелких разборок, сует... Земные женщины любили его красоту («Рязанцев фантастически красив!» — восторгалась после записи на Пятницкой редактор Лера, не зная, что мы знакомы); но не понимали его желаний, метаний... И тогда, как античный Зевс рождал своих детей из себя, так и Ваня нафантазировал меня в музыке. И получилась цепь: Ваня — божественный и человеческий (как любой творец), и я — человеческая и Ванина — как любой помощник творца. Я была «немножко он», и оттого мы так хорошо слышали друг друга, например, часто одновременно звонили друг другу...

Так говорила она себе, чтобы потом поделиться своими открытиями с Ваней.

Их окружали обычные люди и «типажи»: задиры, зануды, ханжи, карьеристы, подлецы, трудяги, правдолюбы, шалопаи, жулики; люди, катящиеся по установленной колее, словно отрабатывающие проложенный «сверху» маршрут; встречались, впрочем, и оригиналы — непонятные, загадочные, самодостаточные. На работе Женя насмотрелась на людей публичных — как наркотик, им нужны софиты и трансляции, без подпитки миллионов они сохнут и вянут, как вампиры без крови; наконец, есть люди гениальные, одарённые могучим умом или воображением, будто парящие над всеми, создающие произведения или совершающие открытия, которыми пользуется всё человечество (хотя они не заботились об общественной пользе, это у них вышло между прочим, от избытка сил). И, наконец, над всей людской пирамидой был для неё Ваня. Человек, способный творить не только музыку, но и творить человека «из ничего», так, как, допустим, он сотворил её...

Временами её тянуло вниз — от неверия. Тогда она пыталась смотреть на вещи обыденно, «как все», и тогда получалось, что жизнь её разгромлена, её положение чудовищно, она — в неопределённом семейном статусе (даже двусмысленном), а с точки зрения религии — вообще в страшном грехе; тогда она пробовала как-то упорядочиться, придать себе хотя бы внешний вид «добродетельности»; но эти благие намерения только ослабляли Ваню, он всё чувствовал запредельным, первобытным чувством, и всё знал про неё, ничего не спрашивая.

Но любое её простое, искреннее слово («Я тебя люблю») было целительным, и лечило его — на глазах. Будто это не слово, а оазис с ключевой водой, до которого наконец-то добрался бредущий по пустыне одинокий путник...

На следующий день они снова вышли на улицу, снег осел, кое-где обнажилась земля, чёрные латки на березах стали ярче, контрастней, знакомая ворона (видели в окно) летала как-то боком, будто балуясь, сварливо и запыленно каркая.

Теперь они ходили по кругу, как им посоветовал вчерашний пациент, сделали три неспешных обхода, Ваня жаловался, что в ногах нет твёрдости, а она говорила ему, что «лучше плохо ходить, чем прочно лежать».

— Ну, у тебя все аргументы ободряющие...

Они хохотали.

Позже, сидя в холле у лифтов на диванчиках у окна, они твердили друг другу о своей любви. Обсуждали быт: «Если бы не ты, я бы не стал сегодня ужинать. Ты возвращаешь меня к жизни».

Да, она дарила, возвращала ему то жизнелюбие, которым когда-то он одарил её — ведь она бы могла прожить свою жизнь в величайшем несчастье, в заблуждении, путая фонари с солнцем! А может, при её впечатлительности, рядом с другим человеком она бы давно погибла?!

Они спасали друг друга! Любовь — это и есть спасение, МЧС, скорая помощь, да что угодно...

— Любовь, мне кажется, редкое чувство, — бралась философствовать она.

— Любовь — чувство исключительное, потому что оно нам послано Богом, — Ваня был точнее и твёрже.

Возле больницы были высокие снега, морозные сосны, магазин «Магнолия» — там она купила кефир в бутылочке, детский сырок с ванилью — первая его пища, которую он съел с удовольствием сам (до этого в реанимации она кормила его с

ложечки). Полулитровая бутылка воды «Шишкин лес» с соской путешествовала с ними из больницы в больницу, ей уже исполнился месяц, это был их талисман.

Они не съели вместе пуда соли, нет. 20 г сахара, больничные пакетики, она приносила домой, зелёное яблоко, апельсин (ему нельзя) — «гостинчики», которые она ела с особым, горько-благодарным чувством.

Они пили из одной чашки, ели из одной миски, той самой, в которой она в реанимацию принесла ему рис, приготовленный на пару.

— Как бы я без тебя был?! Я бы погиб.

— Не я, так была бы другая. Кто-нибудь был бы, — вздыхала она, глядя его лоб. Но никто другой не мог быть! Только она.

Она была для Вани все эти годы неплохим другом, вот что важно. Да-да, неплохим другом.

Лифт открылся, и Женя замерла на пороге: Ваня был в холле с женой. Она сидела к нему вполоборота, не видя Жени.

Лифт поехал дальше, она вышла через два этажа.

Для Вани главное — его дело — музыка. Для жены главное — Ваня. Для Коли — его родители, отец и мать, семья.

А для Жени? Музыка Вани? Нет, она бы так не сказала. Ваня сам — воплощенная музыка. А музыка — это и храм, и мастерская, и битва, и любовь, и наслаждение, и гармония. Густая, как мёд, сильная, как ветер, буйная, как штормовая волна.

Бывают счастливые, удачные дни, когда в метро тебя окружают красивые люди, когда по телефону все приветливы, когда на пути попадаются как раз те, с кем давно надо встретиться.

А бывают дни, когда всё против тебя. И давление скачет, и врачи раздражены, и суп противный.

Ваня устал, сник. Открылась язва желудка, его лечили тяжелыми препаратами. Он оживлялся лишь когда приходила Женя, кормила его, заботилась.

— Тебя будут настигать тяжелые депрессии после инсульта...

— Да? Когда ты рядом, у меня нет никакой депрессии... Посмотри, какие несчастные берёзы! Чёрные, закопчённые. За городом они другие.

Ей шли сообщения на телефон, что нужно забрать заказанные книги из пункта самовывоза. Вечером она добралась до Тверского бульвара и поразилась, увидев деревья в мелких, светящихся синим, огнях. Как будто она высадилась на далёкой, волшебной планете... Неужели она останется жить, а его не будет?! Она была словно ветка, привитая к могучему дереву, что ж, на ней были особые, свои яблочки, но погибни дерево, она не выживет — это ясно.

«Неужели мы никогда больше не пройдем вместе по этой улице?»

Они прогуливались уже третий раз — вокруг морга. Стрелки «Траурный зал» соседствовали с указателями на МРТ.

Женя рассказывала про первую ночь, проведённую в реанимации, он ничего этого не помнил, удивлялся.

«Это от лекарств», — объясняла Женя.

Дело, худо-бедно, шло к выписке.

Ваня расстроился: «Как я буду без тебя жить?»

— Не привыкать, — жестко рубила она. — Считать за сон.

Вот магазин «Белорусские товары», вот кафешка с домашними половиками, где она однажды глотала кофе пополам со слезами, вот киоск «Избёнка», где брала черничный сок и термостатный кефир... Вот аптека, где она покупала настойку шиповника для укрепления иммунитета.

Утром она проснулась и, лёжа в постели, стала обдумывать: что же это было и есть, это чувство в её жизни и в жизни вообще? Часто ли оно встречается? Могла ли она вспомнить что-то подобное? Допустим, в искусстве? Где? У кого? И в чём суть «задания» её жизни?

У неё закружилась голова. Она потом ещё выпила крепкий кофе, и у неё даже затряслись поджилки — от волнения и напряжения. Но потом она успокоилась, стала вспоминать их вчерашнюю встречу, разговоры. Что же это было и есть? Любовь? Ну да, конечно, любовь. Но как бы глубоко и прекрасно не было это слово, оно всё-таки не описывало всего того, что чувствовала она к нему, и что, уверена, чувствовал он к ней.

Любила ли она прежде, до него? Нет. Но и между ними была не только любовь, чувственная привязанность, влечение, сходство темпераментов, вкусов, привычек (до определенного предела, впрочем, сходство — они же были мужчина и женщина, и многое в их реакциях было различно). Было понимание, уважение и тревога друг за друга, были вплетены и востребованы в этом чувстве все их лучшие качества, но всё-таки это была не та земная любовь, которую ей приходилось встречать у людей. И осознание этой исключительности пугало её. Такое чувство — Бог даёт. Но зачем? У Жени мурашки пошли по коже. В чём это задание? Как его угадать? Просто жить? Ну, не может быть...

Взгляд её упал на икону — простую картинку из календаря, которую она постеснялась выбрасывать, вырезала и вставила в рамку. И вдруг ей подумалось: неужели Бог любит каждого человека точно так же, как они с Ваней любят друг друга? Её стало страшно от осознания — сколько же в Боге сил! Если даже какая-то частичка, золотишка, перепавшая им, так осветила и перевернула их жизнь.

— А может раньше, в неведомые времена, любовь такой и была? Может, нам достался этот клад, потому что мы искали его? Если бы мы искали богатства, власти, мы бы их нашли. Но мы искали любви. Могли бы, конечно, не найти. Есть достойные, правильные люди, которым этого счастья не дано. Они хорошие, в них всё благонаравно устроено, но в них будто «ограничители» стоят. Я с ними чувствую себя неуютно — безнадежно грешной. А с Ваней я чувствую себя слабой, несовершенной, но всё-таки способной встать и закрыть амбразуру — если потребуется. Один раз — но совершенно бесстрашно встать. Умереть за родину, за Ваню, за Бога — не задумываясь. Нет, на долгий подвиг я не способна, а один раз умереть — уже могу.

Так говорила она вслух — сама с собой.

— Могли бы мы встретиться, просто любить друг друга? Это тоже немало! Нет, не могли. Было ли это чувство нами как-то выстрадано, заслуженно? Ну, может быть, Ваней. А мной — нет...

И вот ещё что: он был среди нас, бедных, а не среди богатых и сильных мира

сего. Ездил в метро, шёл по улице, и вообще — Ваня доступен в общении, без заносчивости. Раньше классическая музыка звучала во дворцах, для королей и знати, а сейчас — пожалуйста, иди в консерваторию. Есть даже бесплатные билеты и места. Настоящее искусство доступно материально, но не каждому по душе. Бедные сами себя теперь обворовывают... И вот Ваня спустился к ним, с сияющих вершин, а кругом — будто слепые и глухие. А Женя — откликнулась! Душа её откликнулась — бессознательно, чувственно, ничего не понимая толком...

«Значит, Бог по-прежнему среди нас; он отправляет своих посланцев в народ, а люди кругом ослеплены огнём реклам, миганием телеэкранов, уткнулись в окошки телефонов, и больше ничего не видят! Уши их забиты тяжелыми ритмами, красота не трогает сердца... Вот, для того, чтобы быть услышанным, Ване даже пришлось «родить» меня...»

Всё будет хорошо: больные выздоровеют, одинокие встретят своё счастье. Дети вырастут, снова придёт весна... Жене хотелось плакать от полноты чувств. Всё будет! Их не будет, а счастье будет. В окно она видела машину «Скорой», плавно выезжающую из двора. Господи, пошли выздоровления всем болящим...

Это было первое утро, когда ей не надо было немедленно вставать, бежать, не надо думать, чем его порадовать в больнице, ломать голову, изобретать что-то новенькое, чтобы завлечь его на еду — у него совершенно исчез аппетит. И от этого чувства неопределенности (как он сейчас?) было тоскливо, и она заплакала, вспомнив его несчастный, согбенный вид.

Его привезли в больницу с голубым матерчатым портфельчиком (надпись на английском — «Международный конкурс им. Шопена»), там была кружка, туалетная бумага, таблетки и мобильный телефон, а уезжали они из больницы с огромной белой сумкой из супермаркета. Обросли вещами за 33 дня — три комплекта пижам, посуда, влажные салфетки, бинты, лекарства, продукты.

— Возьми себе еду.

— Домой сейчас приедешь, а вдруг там ничего нет? Чем будешь ужинать?

— Ты права...

А ещё целый пакет бумаг — справок, анализов, гигантские снимки компьютерной томографии.

Теперь она знала о нём всё — из больничной выписки. И что грудная клетка правильной формы, и что живот «обычный, симметричный», и что дыхание ровное, а пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения. А также количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, и еще тьма всяких подробностей — про почки, желудок, сердце, мозг, скелет, кровь, лимфу, и что поступил «в критическом состоянии, нетранспортабелен», и что выписывается «в удовлетворительном». Но эти анализы, биохимии, рентгены, томографии на самом деле ничего не рассказывали ни о нём, ни о его жизни. Ну, или почти ничего.

Она взяла планшетник (тот самый, с которым когда-то отправилась в приемное отделение), включила аудио. Нет, музыка Вани не выражает ничего типичного, никаких общих тем. Она выражает только его! Его исключительную и недоступную красоту, внешнюю и внутреннюю.

— И за что ты меня любишь?! — снова удивилась она.

Женя вспомнила, как однажды сидела на концерте, Ваня дирижировал, руки

его властно и бережно вели оркестр. Повелитель гармоний! И вдруг, на какую-то секунду, ей почудилось, что она всего лишь обычный слушатель, и что Ваня для неё так же недоступен, как и для всех остальных, сидящих в зале. Ужас пустоты мгновенно открылся перед ней, душа содрогнулась, будто во сне привиделось страшное. Слезы счастья побежали по щекам — неправда, они вместе! Но разница, да, между ними велика. Примерно, как между рекой и лодкой...

«Может быть, любовь бессмертна? Может быть, она не умрёт вместе с нами?»

Нет, не в них было дело, не в их отношениях, чувствах (хотя и в них!), а в чём-то вечном, чему они причастны, призваны.

Позже она пыталась ему объяснить это чувство, зная, что он его знает, но словами выходило плохо; грубо — не точно.

Музыка звучала, они — жили!

— Закажите такси, я вам потом деньги вышлю, — наказывал ей по телефону Коля.

— Хорошо, — соглашалась она.

Но Ваня уже ходил, а ехать от больницы до дома недалеко — семь остановок на трамвае.

Вот, Бог дал им это счастье — выйти вместе из реанимации, из неврологии, из терапии, из кардиологии, снова из терапии. Пять отделений, две больницы — за 33 дня.

Ваня держался за неё, она тащила сумку, набитую вещами.

Трамвайчик был новенький, почти пустой, весело звенели звонки, ласково звучали остановки... Даже не верится! Они едут на трамвае! Вместе!

Остановка была прямо у его дома.

— А как же дальше? — он был растерян и угнетён. — Я не смогу сам подняться, а тебе — нельзя...

Дворники-таджики долбили лёд на тротуаре.

— Сейчас, подожди.

Был нанят Тамерлан — за 50 рублей — сопровождать до квартиры 122, позвонить в дверь, дождаться, пока откроют, потом вернуться к Жене и получить доплату.

Через пять минут дворник уважительно заглядывал ей в глаза: «Всё сделал!»

«Вот и всё!» — она обогнула дом, вышла на небольшую площадь у метро, бесцельно потолкалась у рыночных ларьков.

Район был богатый, цены высокие. Прилавки ломились — гранаты, хурма, апельсины, яблоки, связки пахучих колбас, сочащаяся жиром копчёная рыба...

«Вот и всё!» — твердила Женья.

Коле она не стала звонить. Добрые вести дойдут до него сами.

Ей казалось, что эти 33 дня и 33 ночи слились в один чудесно-мучительный день, оплаченный его болью и её страданием.

Она ещё покрутилась на площади, купила в ларьке газету, потом ехала в метро, невидящими глазами смотрела в заметку, а внутри у неё всё дрожало — от перенапряжения, от тяжелой, похмельной усталости, которая, наверное, бывает после кровавого боя, из которого им чудом удалось выйти живыми.

Она шла по аллее — золотистой от осенней листвы и яркого солнца, аллее, похожей на царскую тропу — такой торжественной и пышной была эта дорога. Природа будто воздавала почести, и от восторга у неё даже перехватило сердце, а потом оно жарко и радостно забилося. Она остановилась, оглянулась и увидела Ваню.

И вот они шли вместе по золотой шумящей аллее как триумфаторы, как счастливые царь и царица. Они, наверное, думали об одном и том же, но она не стала его ни о чём спрашивать.

Каждый день её был теперь наполнен радостью, ужасом и надеждой. Радостью этой удивительной, высокой любви, ужасом — случись что с Ваней, она просто не сможет этого пережить; и надеждой — что, может быть, Бог как-то разрешит это трагическое противоречие, как-то спасёт их и не оставит своей милостью.

ШИПОВНИК

Лёгкий рюкзак за плечами, льняные шорты, любимая футболка в мелкую серую полоску, греческие сандалии, в которых так удобно изгибам стопы. Женя шагала по краю небольшого, вытоптанного мальчишками лужка — вечерами они гоняли здесь в футбол. Наслаждалась нежданной свободой — сегодня ей не надо спешить, хотя понедельник, рабочий день — Женя даже плечами повела, представив пленников московских офисов, уткнувшихся сейчас в компьютеры. А как тонко и волнующе пахнут подсушенные жарким солнцем травы, как призывно манит тёмная даль елового леса, как безнадёжно и высоко наивно-голубое небо — здесь, за городом! Лето входит в каждую клеточку тела, и кажется, что лёгким Жениным ногам не будет сноса — они пройдут весь мир, да что там — всю вселенную прошагают, если, конечно, её позовёт дорога и отпустит дом. В эту секунду ей кажется, что впереди ещё много жизни, много путешествий и впечатлений, усталых возвращений, встреч, а нынешний день будет огромным-огромным, бесконечным, почти вечным... И от этого ощущения беспредельного пространства она чуть не подпрыгнула, переполненная нахлынувшим беспричинным счастьем.

Она вышла к крошечному пруду, который этим летом глобально облагородили — заасфальтировали дорожку вдоль «набережной», поставили скамейки и урны. Летний день — в разгаре, ребятишки, визжа и брызгаясь, плещутся на мелководье, несмотря на грозный плакат: «Купаться строго запрещено». Рядом кричит знак «Стоп» — в красном кружке перечеркнута синяя фигурка пловца в волнах. Женя любит плавать, любит воду, любит ласку волны, но в прудик, нет, она не полезет — слишком он мал, а в камышах скопился мусор — бумажки, пластиковые бутылки, хотя совсем недавно берег убирала рабочее-таджики. Сейчас восточная семья — три бабы в халатах и выводок чернявых детишек сидели в тени склонившейся ивы. «Земляки мы теперь», — грустно хмыкнула Женя.

Рядом с прудиком, в каких-то пятидесяти метрах, красовался новенький храм — розовый, с чудесными золочёными луковицами, с устремлённой колоколенкой. Женя всегда останавливалась тут — так ей нравился храмик. Однажды она зашла внутрь, и от деревянных стен и полов, пахнущих свежестью, от наивных и ярких икон-картинок вдруг повеяло таким великим прощением, что она не смогла сдерживать слёз. Жене было стыдно своей чувствительности, и радостно — она знала, что этот внезапный оклик души — величайший дар. После она долго сидела во дворе, и уже спокойно смотрела на сияющий в небе крест, на благостных старушек в платочках, на белоголовых деток, играющих у высоких ступеней.

По новенькой дорожке молодая мамочка в джинсах и маечке важно катила коляску. Женя уступила ей путь, да и вообще здесь можно «срезать», перейдя через

лужайку. Справа бросился в глаза пышный, богатый куст с ярко-оранжевыми плодами, рясыными, частыми. В тёмной листве прятались розовые цветы, источающие полузабытый аромат, — чуть-чуть «одеколонный», торжественный. Женя искоса взглянула на куст и узнала, удивляясь его пышности: «Шиповник».

И вдруг — словно её пронзило — она замерла, остановилась, и память, всё накручивая и накручивая детали и подробности, унесла в прошлое, заставляя сердце сжиматься и плакать.

Он звонил ей утром, в шесть или даже раньше, и эта резкая телефонная трель каждый раз пугала её несчастьем («с мамой плохо?» «с отцом?»), она обреченно хватала трубку, говорила «слушаю» с нажимом, волевым и бодрым голосом, будто встала давным-давно и готова встретить несчастье во всеоружии.

— Женя, здравствуй, — слышала она бегущий по проводам сквозь шумы и трески озабоченный голос брата. Камень с души падал — в хранилище замурованных страхов, она отвечала автоматически, вежливыми затверженными фразами, и всё никак не могла отойти от пережитой внутренней мобилизации — подготовки к несчастью. Слушала невнимательно, да, впрочем, брат всегда спрашивал одно и то же: будет ли она сегодня на работе, а то он хочет зайти, повидаться.

— Да, да, конечно, буду счастлива видеть вас, — певуче и приветливо отвечала она, и действительно в эту минуту была счастлива несостоявшимся ужасом жизни.

Потом Женя в изнеможении падала на постель, иногда тотчас блаженно засыпая до будильника (ещё целый час!), или лежала, затуманенная разбитым сном, собираясь с силами для московского суетливого дня.

Ранние звонки объяснялись так: брат приезжал на поезде из Белгорода, ему надо распланировать день. Он звонил с вокзала, из телефона-автомата (мобильной связи ещё не было).

Теперь она вдруг остро почувствовала, как ей не хватает звука резких, пронзительных трелей в серых московских рассветах.

...Он появился в её жизни внезапно — двоюродный брат по отцу, о котором она слышала лишь семейные байки и предания в исполнении матери: «Петя самый башковитый у Панкрата», «Как ушел из дома в армию в 18 лет, так в деревню и не вернулся», «Петя разведённый, познакомить его с Таней — чем не невеста? Работящая, славная...» Приезжая домой, Женя слушала эти (и другие) житейские расклады вполслуха — ни разу не виданный ею Петя был фигурой мифической, вроде Геракла из древнегреческих сказаний.

В рамке, под стеклом, в сонме другой родни был «заведён» его портрет времен армейской службы — волевой мужчина в гимнастёрке со значками на крутой груди — «Гвардия», «Воин-спортсмен», «Отличник боевой и политической подготовки». Лицо у Пети — серьезное, сосредоточенное, взгляд — в сторону, с холодным прицелом, как у альпиниста, который понимает, что эту вершину он обязательно возьмёт. Женя робела таких людей: чувствовалось — они с рождения знают, для чего живут. Нет, она другая — у неё полный хаос и неразбериха по всем направлениям, и она стыдилась своей душевной разбросанности.

Петю знали Женины сёстры — он ближе к ним по возрасту, их связывали общие воспоминания юности, посиделки, знакомые, интересы, да что там, связывало само время, умчавшееся безвозвратно! Размокшие проселочные дороги, по которым осенью и весной невозможно пробиться в родную деревню, тяжкий труд

на колхозных полях, прикованность к огороду и хозяйству, мечты о иной жизни — безбедной и чистой, в городе, «на всём готовом». Петя и стал «локомотивом прогресса» — старший, он выбился в люди, вывез из деревни братьев и сестёр, и редко, раз в год перед Пасхой, бывал на родине — оправить могилки родителей. Останавливался у дяди, начинался «вечер воспоминаний» — за бутылочкой «беленькой», жареной картошкой, солёными огурцами из кадушки; а ещё — крупно нарезанное розовое сало (оно же шло на гостинец племяннику), чёрный хлеб... От матери по телефону Женя выслушивала новости — приезжал Петя, и ему было сказано: «Женись, Таня — добрая женщина, тоже разведённая, соседка наша бывшая, уважительная и на вид хорошая». И что отец повёл Петю знакомиться, но не судьба — Тани не оказалось дома.

Женя, вспоминая волевое лицо брата на армейской фотографии, сразу усомнилась в успехе затеи — нет, не для Тани он рождён. И всё же что-то новое, авантюрное, открывалось в Пете — надо же, пошел знакомиться! Или подвыпил сильно?!

Женя верила в большую любовь: ей казалось невозможным, что люди могут соединиться всего лишь по симпатии или расчёту. Жизнь сплошь и рядом опровергала её: знакомились и женились по переписке, по сводничеству, по раскладам родственников, по взаимным выгодам. А она... Она всё, кроме любви, считала «ненастоящим». Разве брат мог жениться на Тане после случайного знакомства?!. Хотя...

Мама писала: «Приезжал Петя, ночевал у нас. Сережка, брат его, в Челябинске, на металлургическом комбинате, Павлик — работает в Кургане шофером, а Веру он устроил в Белгороде в бухгалтерию. А сам живёт один, завод ему дал квартиру однокомнатную. «Ходит в гости» к Гале (жена бывшая) и к Семёну. Я ему кажу: «Петь, ну зачем ты сына так назвал?» А он: «А вам не нравится?» «Ну ты б хотел, чтобы тебя Сёмкой дразнили?» Он подумал-подумал и говорит: «Нет, не хотел бы». «Ну вот! А вы над дитём издеваетесь! Что это за имя — Семён! А берёшься других учить...» «Тётя Шура, теперь поздно переименовывать, я уже привык». Я его угощала, он у меня спрашивает: «Тётя Шура, расскажите, как это выглядит — картошка соломкой?» «Утром, говорю, пожарю тебе». Сделала ему на завтрак, порезала картохи брусочками, как ты делала, когда приезжала. Петя прямо расстроился: «Вот это и есть соломка?» «Ну да». «А мне Галя, бывало, выказывала, что я ей некультурно картошку жарю — пластинками. Мол, соломкой хочу. Если б я раньше знал!» Видишь, как переживает он по Гале! Расспросил про наших девчат, кто где. Там же, кажу. Одна на Украине, одна в Казахстане, а Женя у нас в Москве теперь работает, в газете. И дала ему твой телефон, он попросил. Ты уж его приветь, познакомь с хорошей женщиной его лет. Чё ж такой мужичага один! Нудно ему».

Женя читала письмо в автобусе, пока ехала к метро. Место удалось захватить сидячее, одинарное, у слезливого окна: кропил дождь, машины медленно двигались в унылой пробке, нервно мигая красными фонарями. Как, интересно, мама себе это представляет: Женя должна устроить личную жизнь чужого, в сущности, человека! Взрослого мужика, который старше её на пятнадцать (или даже больше) лет. Или это шутка такая?!. Она тяжело вздохнула и отодвинула семейную думу в сторону — может, Петя ещё и не объявится? Они абсолютно чужие люди.

— Женя, к тебе брат пришёл, — говорили ей встречные, когда она рысью неслась по коридору (вечно ей было некогда!).

— Ага, спасибо!

После двух или трёх заходов в редакцию Петю знали все — от вахтёров до

фотографов и журналистов. В режимное здание он проходил свободно — охрана к нему привыкла.

То и дело у Жени возникали диалоги с коллегами:

— Почему ты с братом так официально общаешься?

— Он старше меня намного. Не могу же я солидному мужчине «тыкать»!

— А почему у тебя с ним разные отчества?

— Так это ж мой двоюродный брат!

— А, точно!..

Женя звала его на «вы» и по имени-отчеству, а он её по имени и на «ты».

Брат приезжал по делам в Москву, как правило, раза два в месяц, всегда это было неожиданно, нежданно (резкие телефонные побудки по утрам), всегда он приходил после обеда, иногда ближе к вечеру, никогда — с пустыми руками, так что Женя даже начала сердиться: «Зачем вы тратите деньги? Не приносите ничего, не надо!»

Но из объемного кожаного портфеля неизменно извлекались гостинцы — дорогая коробка конфет (обязательно!), хорошее вино или коньяк. Женя не пила вообще, Петя, как она заметила, тоже избегал спиртного, особенно в дорогу — вечером его ждал поезд. Зато он с удовольствием наблюдал творческих людей «под градусом», да и у наиболее охочих до выпивки персонажей (например, репортёра Михалыча) уже выработался рефлекс на явление Пети — народ начинал отираться вблизи кабинета, ожидая, когда наступит «время чая».

Посиделки носили спонтанный, стихийный характер, и шли под лозунгом «встречи с братом». Женя хлопотала с чаем, её коллега из отдела писем, хитроумная Варвара Грумова, неспешно потягивала кофе из крошечной чашечки, подходили пропустить по рюмочке журналисты, что были на тот момент посвободнее. Время, которого в Москве всегда не хватает, как-то «растягивалось», удлинялось, разговор прыгал с пятого на десятое, то и дело звонил телефон, ответсек приносил Жене сокращать и вычитывать готовые полосы и тоже цеплялся за тёплую компанию — послушать, что вещает свежий человек из глубинки.

Петя утонул в кресле (на почётном месте) у журнального столика, и разглагольствовал:

— А вот вы, пресса, согласны с тем, что во главе страны должны стоять философы? Возьмём «Государство» Платона...

Женя, по смешкам и переглядкам коллег, догадывалась, что Платона (как, впрочем, и Аристотеля) никто не читал. Петя входил в раж, увлекался, цитировал античных философов, тут же давая мудрым мыслям свой комментарий.

Своей горячностью брат вызывал прилив неприкрытой нежности в глазах у Варвары Грумовой. Высокая, статная разведёнка с причёской а-ля Мирей Матье, она в одиночку воспитывала двоих сыновей.

Как-то на исходе чаепития Грумова пошла в наступление:

— Петр Панкратович, а давайте мы с вами перейдём на «ты»? Вы будете называть меня Варя, а я вас — Петя...

Брат и бровью не повёл:

— Видите ли, Варвара Захаровна, меня по имени-отчеству кличут с пятого класса, когда у нас отец помер от фронтовых ран и вся семья на мне осталась. Смысла менять традицию я не вижу...

Варвара хихикнула, искусно перевела разговор на шутку, и вообще этот прямолинейный «отлуп» перенесла с достоинством. Но на чаепитиях с братом с тех пор бывала редко, видимо, считая, что нечего попусту тратить время — Платон

с Аристотелем её занимали мало. Правда, Грумова любила шоколад, и если заглядывала к Жене, то с удовольствием угощалась элитной конфеткой. «Что, брат вчера был?» «Да, заходил». «Ну как он, не женился?» — масляно улыбаясь, выводила Варвара. Женя пожимала плечами: «Да я, честно говоря, не спрашивала». Грумова смотрела на неё подозрительно — не верила.

Личная жизнь брата не то чтобы не интересовала Женю, но она как-то всё забывала про это спросить. Да и потом, говорить «про невест» в лоб — бестактно. Нужен весомый повод, а он почему-то не возникал. Вообще, кровно-родственные разговоры про ни разу не виданных ею племянников, дядёв, тёток, двоюродных сестёр вызывали в ней чувство тяжести и тоски. Потому их беседы постепенно удалились из этого поля, сосредоточившись на античности и современности. И тут, пожалуй, они ощущали себя родственными душами.

Теперь Женя чуть-чуть гордилась и важничала Петей. Она видела в нём отпечаток крепкой и мужественной породы: он был невысокого роста, коренаст, плечист, с твёрдым подбородком, широким лбом, с небольшими синими глазами, глядевшими внимательно и остро. В определённости и соразмерности его черт проглядывало что-то необычайно своеобразное, привлекательное, и в то же время далёкое от обыденности. Он не походил ни на один из известных ей человеческих типов: ни мещанин, ни чиновник, ни офисный работник, ни технарь-инженер. Но кто же он? Способный крестьянский сын, выбившийся в люди? Духовный потомок античных философов? Новый разночинец, не потерявшийся в «лихих девяностых»?

Бывало, что встречи с братом превращались в мастер-классы по журналистике: из бездонного портфеля Петя вытаскивал ворох газет, испещрённых пометками и подчёркиваниями. Несуразные заголовки, откровенное враньё, пропущенные абзацы, вопиющие ошибки в цифрах, искажённые фамилии — ничто не уходило от внимания придирчивого читателя.

Женя добродушно посмеивалась, не разделяя его возмущения:

— Бросьте вы! Народ, думаете, из газет узнаёт информацию? Я, например, вообще прессу не читаю.

— Неважно! — негодовал брат. — Каждый, — он поднимал указательный палец вверх, — должен хорошо делать свою работу!

Репортёр Михалыч, вальняжный, в щегольских туфлях и дорогом костюме, уже порозовел от пропущенной рюмки армянского коньяка. И потому был особенно благодушен:

— А вы, Петр Панкратович, сами когда-нибудь в газетах печатались?

— Я? — брат смеялся. — Нет. Но...

— А-я-яй, Женечка, непорядок! — деланно возмутился Михалыч. — Вы что себе думаете? Куда смотрите?

Женя, погруженная в срочную правку, отвлеклась:

— В смысле? Кто чем недоволен?

Михалыч объяснил:

— Ваш брат возмущён качеством федеральной прессы. Он решил заткнуть всех за пояс и выступить автором нашего издания. Есть возражения? Нет. Какая тема? «Жажда знаний»? Прекрасно! Срок написания — неделя.

Женя оценила идею, и с ходу подыграла Михалычу:

— Дадим в колонку! Позовите фотографа, пусть сделает портрет.

Репортёр, чуя, что есть повод подогнать напарника для застолья, рысью кинулся из кабинета...

Так появился этот снимок: крупные кольца кудрей, лоб в поперечных морщинах, зверский взгляд, жесткая щетина на щеках, волевой подбородок. На фото Петя походил не на интеллигентного преподавателя технического вуза, дебютирующего с заметкой в центральной прессе, а на генерала Ермолова, взирающего на бунтующий Кавказ — не хватало только сабли и бурки. Портрет иллюстрировал эссе — жёстко-доказательное рассуждение о том, зачем молодому человеку учиться, и почему диплом, купленный за взятку, не приносит счастья.

— Успех! — витийствовал Михалыч, потрясая пред братом номером с вышедшей статьёй. — Весь тираж скуплен поклонниками! Варвара Грумова грозила закончить жизнь самоубийством, не вынеся конкуренции коварного внештатника, внедрённого в газету под кодовым название «брат»! В Кремле соберут экстренное заседание, чтобы обсудить информационную «бомбу»!..

Михалыч, наконец, выдохся. И спросил уже без выпендрёжа:

— Что скажете, уважаемый автор? На кафедре показали публикацию?

Петя отвечал со спокойным достоинством:

— Видите ли, успех был предсказуем, поскольку я пишу про то, что знаю наверняка. Репутация преподавателя передаётся студентами по цепочке, от старших курсов к младшим. Ребята усвоили: за красивые глаза они никогда не получают у меня даже «государственную оценку» — «удовлетворительно». Потому готовятся к экзаменам, зубрят, учат, на лекциях занимают лучшие места. А как же? Они будут строить мосты, проектировать здания. Одна «опечатка» или «косяк», как вы выражаетесь, и вся конструкция рухнет, люди погибнут. Я и Семёну своему говорю: «Учись! Учись!» Репетиторов ему нанял. После первого семестра у них половину группы отсеяли — не тянут ребятишки, головы слабые, работать не любят. А Семён зацепился, есть характер.

Женя слушала, внутренне улыбаясь. И вдруг, пронзённая внезапной тоской, вспомнила себя, молодую. Каким прекрасным казался мир! Какой неутолимой была жажда знаний! Её тянуло во все стороны — к совершенным уравнениям математики и к железным законам физики, к романтике геологии, к гармонии и мощи звёзд. А утолил жажду смертный человек, его жизнь, его страдания, его вдохновения и метания... Как странно...

— Я и Гале, бывало, говорил: «Учись!» Она: «Зачем? Хватит того, что ты у меня учёный». Ну, ладно. А сейчас руководство завода выпустило приказ, что все специалисты должны быть с высшим образованием, иначе — до свидания!..

И пришлось Гале поступить к нам на заочку! Приходит ко мне. Я говорю: «Галя! Ты помнишь, что я тебе двадцать лет назад внушал?»

— И что? — Женя смеётся, представляя картину необычного свидания.

— Молчит, глаза опустила.

— Она вам будет экзамены сдавать?!

— А что ей остаётся?! — и брат беспомощно разводит руками.

— Да видела я эту Галю! — с досадой говорила ей после сестра.

— Ну и?..

Лариса покачала головой, помолчала. Вздыхнув, продолжила:

— Необыкновенной красоты женщина! Даже не знаю, с кем сравнить. От неё будто сияние исходило — от волос, от кожи. Черты лица — точеные, волосы — водопадом, фигурка, как у статуэтки, а взгляд — дерзко-кокетливый. Полюбуйтесь, мол, на чудо природы. И впрямь: увидев раз — не забудешь. Она чертёжницей работала, а Петя — проектировщиком. Он не знал, куда её посадить и как ей угодить — пылинки с неё сдувал.

— Картошку готов был «соломкой» жарить! — хохотала Женя.

— Ну да. Ещё до Гали я познакомила его со своей однокурсницей. Деревенская девушка, застенчивая, скромная, но очень добрая, домовитая. Рождённая для семьи. Спрашиваю: «Как тебе Маша? Понравилась?» А он знает, что сказал? «Я женюсь только на красавице!» Честно говоря, меня такая самоуверенность покорила. Думаю: кем ты себя мнишь, раз тебе нужна Софи Лорен?! Тоже мне, Аполлон!

— Скорее, Геракл.

— Да. И вот он отхватил эту Афродиту... Но не ужились они. Тёмная история, не знаю почему. И сын их брак не удержал. Мне кажется, он до сих пор Галю любит. Что, думаешь, у него не было возможности найти себе женщину? Студенток целые букеты в каждый набор. На любой вкус! Он — обеспеченный человек, профессор. Такие мужики — на вес золота!

— И пошла к нему Галя на поклон, зачёты сдавать! — ехидничала Женя.

— Да всё он ей поставит! — рубила сестра. — Петя — человек благородный...

Неужели она даже цветов не догадалась купить? По своему привычному легкомыслию? Да нет же, были цветы! Белые розы (или всё-таки хризантемы?) белой зимой. Она и сама была как цветок — тонкая в талии, с тонкой шеей, с длинными руками, длинными ресницами. Единственная женщина в зале, пунцовая от смущения.

Брат пригласил Женю на защиту диссертации. По трещиностойкости бетона! «Да я же ничего не пойму. Это, наверное, неудобно будет», — она пыталась отбояриться, стесняясь статуса некомпетентной «болельщицы». Хорошо, что Петя настоял. «Увидишь Костю Пиранова — это мой друг, известный математик. Дедов матёрых — на них вся инженерия сейчас в России держится. Ну и вообще...»

Костя оказался заводным малым — он встретил её на проходной вуза. Бойкий, ловкий, сыпал остротами, дружески подмигивал через толстые стёкла очков, так что через минуту Женя почувствовала себя «своей в доску». В аудитории выбрала удобное место — весь зал как на ладони. И как-то внутренне успокоилась, почувствовав — всё будет хорошо! И даже очень! И чего Петя, спрашивается, так волнуется?!

Никогда ещё Женя не видела брата в таком разобранном состоянии. Развешивая чертежи на огромной чёрной доске, он то краснел, то бледнел. Вытирал белоснежным платком крупный пот со лба, перекадывал длинную указку из одной руки в другую. Ареопак «дедов» (один из них был совсем древний, его, беднягу, чуть ли не на руках внесли в аудиторию) деловито жужжал за столом, старики слушали своего главного, покачивая в знак согласия младенчески-розовыми головами.

Костя, как шмель, кружил от одной группки народа к другой. А вот он подлетел к Пете, что-то кратко шепнул, улыбнулся. Брат растерянно оглядел аудиторию и, наконец, заметил Женю. Она помахала ему букетом — мол, я здесь! И то ли ободряющие слова Кости, то ли её легкомысленно-жизнерадостный жест, то ли ему просто надоело бояться, но она почувствовала — Петя успокоился, взял себя в руки.

Странно, он говорил, тыча указкой в длинные формулы, а Женя, позабывшая даже школьную математику, вдруг стала понимать смысл выполненной работы. Не диссертация, а настоящий детектив — как победить коварные трещины в сложных бетонированных формах? Деды внимали, наострив на оратора слуховые аппараты. «Были проведены эксперименты, подтверждающие математические выкладки К.А. Пиранова... сделаны расчёты для различных климатических

условий... практическое применение работа получила при реконструкции купола храма церкви Покрова Пресвятой Богородицы...»

Петя убеждал, доказывал, показывал, дописывал новые формулы, стирая старые — доска не вмещала всей цепочки расчетов. Корифеи, видимо, утомившись, уже не слушали брата. Они о чём-то заспорили, причём самый измождённый и тощий дед стал даже легонько постукивать клюкой, пытаясь втолковать коллегам свой тезис.

— Достаточно, — проскрипел сидящий в центре старик с таким уныло-страдальческим лицом, как будто его терзало постоянное несварение желудка. — Переходим к вопросам. Собственно, у нас их два. — И дальше он, чуть подрагивая нижней челюстью, выдал такую длинную и путаную тираду из формул и прочей зауми, что даже у бойкого Кости в недоумении вытянулось лицо.

Брат внимательно слушал скрипучий голос. Лицо его отражало мучительную гонку за логикой мысли выступающего, и с каждым новым поворотом вопроса становилось всё мрачней и мрачней.

Повисла долгая, тяжелая пауза.

— Что скажете, уважаемый? — вредный дед явно наслаждался произведенным эффектом.

Брат шумно вдохнул, и вдруг решительно бухнул:

— Вы заблуждаетесь! Дело в том, что... — Петя ткнул в формулу на доске, потом в чертеж, пытаясь донести до высокого собрания свои доводы.

«Я давно вам говорил, что закономерность не может работать в условиях...» — «Да вы ничего не понимаете в сути проблемы!» — «Смотря какие принципы использовать...» — «Голубчик, высшая математика — критерий истины...»

«Пошли клочки по закоулочкам», — усмехалась Женя. Демарш брата вызвал в стане дедов новый взрыв интеллектуальной свары. Забытый Петя нервно прохаживался у доски...

— Ну ты, старик, даёшь, академику Толмачёву выдать: «Вы — заблуждаетесь!» — Костя нервно похохатывал, помогая Жене одеться в гардеробе. — Такого у нас ещё не было! Всем защита защита! Провинциальный перец уел цвет московской науки!

— Да я не хотел, — оправдывался Петя.

— Везунчик — ни одного чёрного шара! Это Женечка их своими ресницами смягчила. А то бы от тебя и косточек не осталось.

— Очень им нужны мои ресницы! Им бетон и арматуру подавай, — фыркнула Женя. — Не люди, а... — она запнулась в поисках подходящего определения, — сваи! Опоры и шпалы!

— Не скажи! *Et nihil humanum a me alienum puto*. Ничто человеческое им не чуждо, — блеснул латынью Костя. — Они, как и я, — математик ей заговорщицки подмигнул через очки, — вооружены аппаратами дальнего зрения и локаторами изощрённого слуха. Плюс кардиостимуляторы, вставные челюсти и титановые суставы. Люди из будущего, можно сказать! Проникают в тайны подсознания и в самую суть явления. Увидели, что Петя явился на защиту диссертации с Музой, и смягчились. Решили: ладно, покусает его, но оставим жить. А могли бы и на части порвать, не смотри, что старые — хватка у них волчья.

Была очередная встреча, гоняние чаёв, разбор газетных нелепиц, и, конечно же, беседы о сущем. Через колдобины и ухабы разговор вдруг свернул на темы веры и Бога.

— Между прочим, у меня «там», — Петя показал пальцем на потолок, — есть серьёзная «крыша».

— Как это? — не поняла Женья.

— Очень просто! Я же фирму проектную зарегистрировал, мы с ребятами деньги зарабатываем, потому что на преподавании, как ты понимаешь, выжить невозможно (я же взятки не беру и другим не разрешаю). Так вот, я на восстановление трёх церквей всю документацию оформил. Бесплатно. Надеюсь, что ангелы замолвят словцо в случае чего.

— Понятно, — она улыбалась, радуясь его радости.

— Вообще, вера — феномен, нуждающийся в изучении. Мы с товарищем поехали в Задонский монастырь, все храмы обошли, помянули близких, свечи поставили, в музей ходили. А у моего друга там однокашник. Нашли его. Под два метра детина, бывший офицер, ушел в монахи. Сидит на скамейке во всём чёрном с чётками в руках — отдыхает от послушания, яму под погреб копал.

Ну, они вспомнили общих знакомых, кто где работает сейчас, чем занимается. И вот мой товарищ не выдержал и спросил этого Бориса (он же отец Лаврентий):

— А как такое возможно, чтобы здоровый человек, мужик, запер себя в монастыре?! Это же против природы человеческой! Против инстинктов размножения и самосохранения, против эволюции, в конце концов. Я понимаю, когда немощные и больные в монастырь уходят, но ты-то зачем себя ломаешь?! Как, вообще, извини за вопрос, ты со своей физиологией борешься?

— И что он вам ответил?

— Он на нас посмотрел с та-а-ким глубоким сожалением!.. Будто мы тяжело больные. И говорит: «Ребята! Как же слаба ваша вера!» Махнул на нас рукой и ушёл.

— А вы?

— А мы набрали в баклажки святой воды, сели в машину и поехали домой.

Звонок мобильного разбудил её в шесть утра. Не вставая, она нашарила рядом с постелью телефон. Номер был чужой, с региональным кодом. «Ошибся кто-то, наверное...» Она помедлила несколько секунд, и всё-таки нажала кнопку приёма:

— Да?

— Тётя Женья! Здравствуйте! — голос был странно знакомый, с лёгкой хрипотцой.

— Здравствуйте... — она резко села в постели.

— Это Семён, сын Петра Панкратовича. Я в Москву приехал по работе, хочу с вами познакомиться. Это возможно?

— Да-да, конечно! После обеда удобно будет? Давай у памятника Пушкину в три часа дня?

— Отлично, буду вас ждать!

Она сразу узнала Семёна — увеличенную копию отца. Он был выше ростом, плотнее, но та же голубизна плескалась в глазах, тот же овал лица, только свежий, розовый — кровь с молоком, те же своеобразные черты, смягчённые трогательными, женственными ямочками на щеках.

Сила молодости так и била из жизнерадостного малого — едва увидев её, он сразу же взялся «рулить», верховодить, и Женья, глядя на юную прыть, ободряюще улыбалась. («Какой, интересно, он меня видит? Наверное, почти музейной старухой, представителем поколения, отставшего от экспресса времени...»)

В кафе они устроились у окошка, за столиком для двоих.

— Я, тётя Женья, привёз вам гостинец, — Семён склонился над новеньким портфелем из блестящей чёрной кожи, извлёк оттуда бутылку коньяка.

— Ой, спасибо! — она огорчилась, что ничего не принесла ему в подарок. — Ты извини, а я что-то не сообразила... В следующий раз тогда ответный дар, хорошо?

— Да это мелочи жизни! Ничего не надо! — широко улыбался Семён. («Прямо хоть в роли добра молодца его снимай!») — Мечта моя сбылась: приехать в Москву, познакомиться с вами. Меня послали в министерство на переговоры по госзаказу...

Семен был удобным собеседником в том смысле, что мог «молотить» два часа без перерыва, не нуждаясь ни в каких ответных репликах и даже ободряющих кивках. («Ишь какой говорливый! Попробуй такого сбить с мысли...») Женя слушала его рассказ про то, как он защитил диплом и нашел работу, как продал отцовскую квартиру в Белгороде и купил новую в Липецке («А библиотеку я сложил в гараже, там, в основном, специальная литература, сами понимаете, она мне не нужна»), как перевез мать в Воронеж и как всё здорово устроил с ремонтом. Машину он взял в кредит, а на осень запланировал свадьбу — девушка хорошая, семья в городе известная и влиятельная...

«Надо же, как похож, — грустила Женя. — И в то же время другой, совсем другой...»

Темы у Семёна не иссякали: он уже покончил с делами личными и домашними, и стал бойко крушить государственную промышленную политику, бестолковую и непродуманную. Досталось непрофессионалам и коррупционерам, бюрократии и управленцам.

— Молодежь надо двигать на первые роли, у неё взгляд незашоренный, — вклинилась, наконец, в поток разговора Женя.

— Да, совершенно верно, потому что мы не несём на себе груза прошлых ошибок! — он горячо поддержал её, и чувствовалось — дай этому малому рычаг, он, пожалуй, и мир перевернёт.

Даже интонации у него были Петины, даже жесты — отцовскими.

И вновь вернулась сосущая, глубоко запрятанная боль. Смерть Пети поразила всех: если бы, допустим, его сбила машина (пусть даже по его вине), это было бы ужасно, глупо, несправедливо, но под эту трагедию можно было бы подвести «базу», теорию, концепцию. Но он, абсолютно здоровый человек, умер от внезапной остановки сердца. На конечной остановке маршрутки водитель стал кричать пассажиру с последнего сиденья, привалившемуся головой к стеклу, мол, мужик, алё, приехали, вставай, спать дома будешь... А Петя был мёртв.

Но ведь ничто не предвещало его ухода!.. И потому было в этом спешном обрыве жизни что-то обидное, обманное, несправедливое, болезненное. Высшая несправедливость, чудовищная необъяснимость. Но, может быть, так лучше — как это ни жестоко звучит — для Семёна?! Разве бы он развернулся в такого мощного «добра молодца», оставайся и дальше за широкой отцовской спиной?

Женя вдруг вспомнила: «А Семёну я говорю: сынок, денег нет, живи экономно. (Даже если они и есть.)» — «Да зачем же?» — «Для его блага! Если у отца есть деньги, зачем ему учиться, к чему-то стремиться? Папа и так всё купит! В воспитательных целях я доходы от него утаиваю. А то разбалуется с молодости, пропадёт!..»

Ну, теперь ясно, не пропал. Стал на крыло. Семён из плеяды честолюбцев и лидеров,двигающих жизнь и создающих её богатства. Но Женя-то ему зачем, интересно? Она ведь совсем из другого, непохожего мира...

Официант принёс счёт, Семён привычным жестом вытащил из внутреннего кармана костюма красивое портмоне, расплатился.

Повинуясь неясному внутреннему порыву, она вдруг сказала:

— Хочешь, я провожу тебя на вокзал?

— Хочу, — Семён расплылся в улыбке и смутился своей радости. И она вдруг увидела, что этот здоровый парень, с жаром рассуждающий о глобальных проблемах, в сущности, по сравнению с ней, ещё мальчик, и суждения его оттого так смелы, что не отравлены тяжелым опытом пережитого.

Они спустились в метро.

— Жалею, что Петю, твоего отца, я ни разу не проводила на вокзал. Всё некогда было, всё суета. А это же замечательно, когда тебя кто-то провожает или встречает на перроне. Совсем другая дорога!

Семён опустил глаза:

— Знаете, он ведь жил, в общем-то, от встречи до встречи с вами... Говорит: поеду в Москву, хоть душу там отведу, поговорю с умными людьми! Он мне столько про вас рассказывал! У него прямо вторая жизнь началась, когда он с вами познакомился. Дома ему совершенно не с кем было общаться. Ну, знаете, провинция, примитивные интересы, выживание, все разговоры бытовые. Деньги? Они его совершенно не интересовали, он мог вынуть из кошелька тысячу и бомжу отдать. Он хорошо зарабатывал, хотя и не хвастал этим. А в квартире у него даже телевизора не было! Стены голые! Книги, письменный стол, компьютер и кровать. Я ему говорю: «Пап, ну купи ты себе что-нибудь статусное! Часы дорогие, например». А он: «Зачем? Одежда у меня есть, еда есть, образование твоё я оплачиваю, больше мне ничего не надо. Ты читал, сынок, о стойках?» Мне, конечно, трудно понять его идеи, интересы... Но вот такой он был человек. Необычный. А я — другой.

Женя покачала головой:

— Семен! Ты даже не представляешь, насколько ты — это он! Дело даже не во внешности, вы похожи, это понятно. Я о другом. Не зная, как поступал твой отец, ты делаешь то же самое. Даже в мелочах. И знаешь, мне это очень нравится...

Женя, захваченная воспоминаниями, давно миновала тенистую улицу, перекрёсток, успела заскочить в маршрутку, стоя доехала до станции, дождалась полупустой и неспешной электрички, которая ни шатко ни валко, с вежливыми объявлениями остановок, понесла её к запыленной Москве. И пока она шла, бежала, ехала, зрение её будто распахнулось, открылось, и всё, что ей ни встречалось на пути, оказывалось необыкновенно-чудесным, радостным, будто увиденным впервые. Какие умные и глубокие лица у попутчиков — девушки, склонившейся над книжкой «Тарас Бульба», работяги с кирпичным лицом и разлапистыми руками, пенсионерки в панаме-лопухе! Как зовущи и всё ещё свежи придорожные травы! А здесь, прямо на перроне, в высоких вагонах цветут розы — алые и бордовые, чопорные, чуть отстранённые от суеты жизни.

«Надо же, как меня захватило! Как в кино — целая эпоха пролетела перед глазами».

Что же это было? Как, почему? Она быстро стала «отматывать» воспоминания назад и вернулась к истоку, к исходной точке — пышному кусту у пруда. «Шиповник... Но при чём тут шиповник?!»

И она — вспомнила!

Как-то осенью, когда Петя гонял у неё в кабинете чаи, она обратила внимание на его руки — тёмные от загара, поцарапанные, исколотые.

— Котёнка, что ли, завели?

— Да нет, это у меня осталась привычка от бедных лет — собирать шиповник.

— Зачем?

— Лекарственное растение. Собираю, потом сушу в плите, сдаю в аптеку за хорошие деньги.

— Ну это же адский труд!

— Согласен. Мало того, что надо лазить по крутым оврагам и увалам, руки не жалеть, так потом ещё главное — не сжечь его, высушить правильно. В этом году я немного — для себя и на гостинец — засушил. Хочешь, привезу тебе?

Она ответила что-то неопределенное. Зачем ей шиповник? У неё всё нормально с иммунитетом. Но и отказаться было бы невежливо — человек лазил по оврагам, колот руки, мучился... Теперь вот хочет её порадовать.

И Петя действительно не забыл (он ничего не забывал!), привёз ей бумажный кулёк с сушеными плодами — килограмм, наверное, не меньше. Она задвинула пакет в дальний угол шкафа и благополучно забыла про него.

А потом Петя умер. Умерла мама. Умерла сестра. Несчастья и беды валились на Женю со всех сторон, так что и она сама вдруг дала слабину — её захватила жесточайшая депрессия. Она провалялась в больнице месяц и выписалась совершенной развалиной, лишённой воли к жизни. Всё, абсолютно всё, было плохо.

Она наткнулась в углу шкафа на кулёк с шиповником и долго соображала: что это? Откуда у неё? Ах да, это же ей Петя подарил!.. И в память о нём, а ещё из величайшего нежелания выходить куда-либо из дома, она пила раз пять на день заваренный в термосе напиток из шиповника, подъедала запасы сала в холодильнике, варила гречку вместо хлеба, и спала, спала, спала... Пребывала в сомнамбулической полувяи. Если бы она была уверена, что смерть будет лёгкой и безболезненной, она бы давно покончила с собой.

За неделю она выпила весь кулёк. И вдруг однажды утром поняла, что выздоровела, и что у неё появились силы всё забыть — и болезнь, и то, что её вызвало, и даже способ исцеления.

Она словно опустила занавес над прошлым — из самосохранения. И была совершенно уверена, что ничто не заставит её оглянуться назад.

И вот куст шиповника её окликнул, позвал. Но куда? Зачем?!.

«Какой огромный, странно большой день... С высоким небом, с пышным кустом шиповника у пруда, с терпким запахом сохнувших трав... Редкий день. Но отчего так мало таких дней в моей жизни?! Что это? «Химия», «обмен веществ», повышенная работоспособность мозга по случайному стечению обстоятельств? Или... Или это отзвуки иной реальности, невидимого мира, другого измерения, которые мне почему-то дано услышать...»

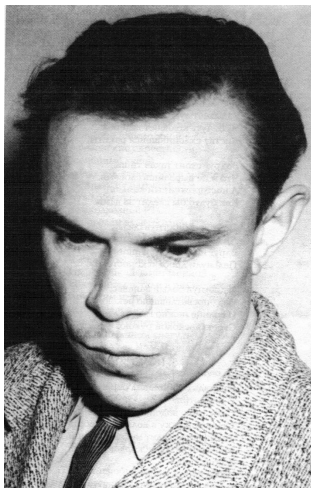
Оглушенная воспоминаниями, Женя шагала по перрону вокзала навстречу цифровому табло, где последовательно сменялись надписи «Добро пожаловать!», «Город-герой», температура воздуха, время, дата... Что-то из цифр мучительно зацепилось за её память, и она замедлила ход, потом остановилась.

Десять лет назад! Ровно десять лет назад именно в этот день умер Петя.

Она, конечно, никогда бы не вспомнила. Если бы он сам — она горько и покаянно заплакала — не позаботился о себе...



ВАЛЕНТИН УРУКОВ



УРУКОВ Валентин Алексеевич (1935–1978) родился в с. Шерагул (по другим данным — в д. Привольное) Нижне-Удинского района Иркутской области в семье коренных сибиряков. Отец — Уруков Алексей Николаевич — работал в сельском совете секретарем. Мать — Урукова Мария Степановна — работала налоговым инспектором. В семье было четверо детей — все сыновья. Валентин был старшим ребенком в семье. В 1953 г. семья переезжает в г. Нижнеудинск, и после окончания вечерней школы в 1954 г. Валентин поступает в Хабаровскую школу милиции, которую успешно заканчивает в 1956 г. В эти студенческие годы Валентин печатает свои стихи в газете «Тихоокеанская звезда», в журнале «Дальний Восток» и других периодических изданиях г. Хабаровска. По просьбе В. Урукова его направляют работать в родные места. С 1956 г. по 1961 г. он на оперативной работе (старшим следователем) в п. Зима Иркутской области. А с октября 1961 г. по январь 1964 г. работает в г. Братске ст. следователем 3-го отделения милиции, что располагалось в районе «Палаток». Затем из органов МВД уволился, поступил работать в УССТР «Братскгэсстрой», в различных подразделениях которого работал до момента переезда из г. Братска, т. е. до июня 1967 года. В эти годы стихи Урукова буквально украшают страницы братской газеты «Красное знамя». Местный композитор Юрий Полиенко пишет музыку на стихи Урукова «Песня о Братске». Служба в милиции дала столько тем, всколыхнула столько чувств в душе поэта, что в этот период родилась целая серия стихов. Стихи В. Урукова постоянно печатаются на страницах газет «Красное знамя», «Огни Ангары», «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», в альманахе «Новая Сибирь». Поэт становится постоянным участником литературного объединения «Истоки» при газете «Красное знамя». Валентина Урукова заметили уже известные в стране писатели-сибиряки: Молчанов-Сибирский, Марк Сергеев, Валерий Алексеев, Виктор Соколов, Иннокентий Новокрещенных и др. Друзья советовали смелее посылать стихи в издательства Москвы, Иркутска, готовить к изданию сборник стихов. Но Валентин не спешил к славе, не спешил с публикациями. Зато спешил работать. Писал много и самозабвенно. Книгу хотел назвать «Затёсы на кедрах». Его стихи принял к публикации московский журнал «Наш современник» в то время, когда главным редактором работал известный русский поэт Сергей Викулов. В 1967 г. Валентин Уруков уезжает в родной Нижнеудинск, работает в геологических партиях в Саянах, Тофаларии. Поэтическое творчество этого периода было самым серьезным и глубоким. Стихи печатались в многочисленных изданиях местной и областной печати. Но жизнь поэта трагически оборвалась, 7 июня 1978 г. Валентин Алексеевич утонул в реке Уда, при не выясненных до конца обстоятельствах. В июне 1999 г., в год 200-летия А. С. Пушкина, председатель Братского Пушкинского общества С. А. Саунин, вручая брату поэта Евгению Урукову награды, адресованные Валентину, сказал: «Валентин Алексеевич Уруков был человеком всесторонне одаренным. Однако по ряду причин и из-за безвременной гибели его творческая судьба не состоялась. Но его литературное наследие может быть востребовано временем». Это время давно настало. Так мало сегодня, в новом тысячелетии, хороших, искренних, душевных поэтов, а в поэзии Валентина Урукова есть живой источник искренности, любви и сострадания к людям, бережное отношение к женщине.

Книги В. Урукова: *Глоток рассвета: стихи* / Иркутск: Вост.—Сиб. кн. изд-во, 1970. — 35 с.: портр. — (Серия: «Бригада. Первая книга поэта»), *Верую: стихи* / Иркутск: Облмашинформ, 2006. — 256 с.

Ни причала, ни пристани

Надо ж было

Я о городе тоскую, Словно тополь о весне... Вот девчонку городскую Целовал опять во сне.	Дверь девчонка затворила Перед носом у меня.
Говорил довольно глупо, Что вовек не надоест Провожать ее из клуба, Заходить в ее подъезд.	Ах ты, девочка-невеста, Повстречайся мне опять У четвертого подъезда, У квартиры сорок пять.
И чего — не знаю — ради, Растерявшийся чуток, Трогал шелковые пряди И голубенький платок.	Я б остался в общежитье, Я б подался на завод, Только как мне быть, скажите, Если отчий край зовет.
Распахнувшуюся дошку Вновь запахивал на ней И горячую ладошку Пожимал еще сильнее.	Если парень из тайги я, И через четыре дня Властно станет ностальгия Звать на родину меня.
Гладил гладкие перила, Самого себя виня, —	Тротуары станут узки, Станут площади тесны. Надо ж было здесь, в Иркутске, Встретить луч своей весны!

Это сказка, утопия

Это сказка, утопия, А не речка Уда. До неправдоподобия В ней прозрачна вода.	Тех, кто шли за изюбрями По отрогам Саян!
Ни причала, ни пристани Нет пока что на ней. Гибнут лодки с туристами Средь зубастых камней.	Не на лодке да катере, Прочитав аналой, Шли сюда приискатели С самодельной кайлой.
Хоть давно старожилами, Да не вся обжита. Драгоценными жилами По бокам обшита.	Шли под вьюжную проповедь — Как без риска прожить! Шли удачу попробовать Или кости сложить.
Как же были иззубрены Топоры россиян,	Было былью, не сказкою. В стародавнюю власть На Уде карагазкою Тофаларка звалась.

Посоветавшись с дедами, Кто по соболу спец, Торговать с самоедами Шел иркутский купец.	Он зажаренный хариус Запивал первачом. Тоф за речку былинную Шел, по-прежнему бос, Чтоб меха соболиные Сдать в купецкий обоз.
И ухмылку сдув в хари ус, Властно двинув плечом,	

Утро 22 июня 1941 года

Сиреневое, росное и тихое
Вставало утро в это воскресенье.
И солнце рыжехвостом лисихою
На сеновале разлеглось на сене.

Играло солнце. Щеки щекотало.
Сочилось через сомкнутое веко
И пахло не бензином, не металлом —
Травой и речкой, детством человека.

Картофель цвёл на жирном огороде.
Полуторка на ферме тарахтела.
Не слышал человек, как куры бродят,
В сухом песке купаясь то и дело.

Как молока звенят тугие струи,
В подойнике жестяном бьются в донце.
Ещё здесь пахло дёгтем, старой сбруей,
Сосновой смолкой, и опять же — солнцем.

И мягким был кулак под головою,
С него не приподняться, не скатиться.
И плавал недочитанной главою
Отрадный сон, где ты паришь, как птица.

Где ты лишен земного притяженья,
Где всё — тепло, лишь губ её прохлада...
А мир стоял на берегу крушенья,
В плечо фашистов оперев приклады.

Катилось солнце. Время торопило.
Сквозь щёки кровли лучики сновали,
И золотились пыльные стропила...
Последний сон на мирном сеновале!..

Сороковые

Не по рассказам вас я знаю,
Как житель города иной, —
Брусника, ягода лесная,
И запах сосен смоляной,

И над озёрами туманы,
И комариный звон в ночи,
И бор, в котором рано-рано
Весной токуют косачи.

Там за околицею волки
Зимою выли на луну.
Но одностволки и двустволки
Изъяты были в ту войну.

Видала крайняя избёнка
Да равнодушная луна,
Как волки съели жеребёнка,
Отбив его от табуна.

Я помню, как недетской злостью
В ребячьем сердце кровь кипит,
Когда глядишь на эти кости
Среди разбросанных копыт.

В глухих болотах обитая
На деревенскую беду,
Гуляла вольно волчья стая
В том сорок... памятном году.

И шёл крестьянский харч на убыль,
Как ветер сквозь худой плетень,
И ничего не стоил рубль,
Как и колхозный трудодень.

Росли железные мозоли
На нежной девичьей руке.
В рубашках было больше соли,
Чем в потребиловском ларьке.

По колоскам собирать пшеницу
Пришлось девчатам по весне.
И предлагали им жениться
Ребята разве что... во сне.

И проходил по сердцу шваброй
Тот неутешный бабий крик,
Когда бумажку «смертью храбрых...»
Вносил в избу почтарь-старик.

А почтальона звали Титом.
И, откровенно говоря,
Вся ребятня была сердита
В тот год на деда почтаря.

Он, к нашим каверзам готовый,
Нёс молчаливо тяжкий крест.
Кричали матери и вдовы,
Невесты плакали окрест...

Ах, сорок пятый, сорок пятый!
И ты в душе оставил след.
Нужда вручала нам лопаты,
Нам, ребятишкам в десять лет.

Что ж больше? — Отдано иль взято?
Крутой прослеживая путь,
Твержу себе: в семидесятих
Сороковые не забудь!

Военным летом

Июль медовый был на склоне
В тумане, на исходе дня,
Паслись невидимые кони,
Далёким боталом звеня.
Подол ракиты узколистой
Купала тёплая река,
И полон был печали чистой
Вечерний посвист кулика.

Тучнели росы и густели,
Трава от них белым-бела.
Скрипели где-то коростели,
И фыркали перепела.
Рыбачить было мне отрадно! —
Потом среди родных полей,
Не торопясь, идти обратно
Со свясном пёстрых пескарей.

Идти босым, русоголовым,
Девятилетним мужичком,
С самостоятельным уловом
Шагать уверенным шажком.
Шагать и слышать в сердце трепет,
Что, может, девочка одна,
Пусть на улице не встретит,
Так хоть посмотрит из окна.
Иду к избушке на горушке,
К родному крову моему,
И удивляюсь, что старушки
Вперёд меня спешат к нему.

И сразу — горем незнакомым
Крик из распахнутых дверей,
И встали слёзы в горле комом,
И уронил я пескарей...
Неужто что на фронте с папкой?
А может, с дядькой что с моим?
Обнявшись, плачут мамка с бабкой,
И ничего не нужно им.
Стою потерянно в сторонке,
А в этом плаче, в полумгле
Белеет листик похоронки
Перед родными на столе.

Баллада о моряке

Был разнесён блиндаж снарядом,
Накат бревенчатый — взброс.
Горел с крестами танк, а рядом
Глазами в синь лежал матрос.

Какие мысли оросили
На той черте, где жизнь и прах,
Где лишь тобою от России
И отгорожен смертный враг?..

Лежал мертво, хоть мёртвым не был.
Горячим весь бушлат набряк,
А взгляд был слит с высоким небом,
Как с морем слит душой моряк.

Как выжил он? — спросите сами.
Он жив, моряк! Который год
Он под родными небесами
По морю водит теплоход.

Палило грудь нещадной сушью,
Как будто вышел жизни срок,
А на запястье синей тушью
Был нарисован якорёк.

Когда случится вам добаться
До моря-синь, что из реки,
Что от Иркутска и до Братска
Соорудили земляки,

Ещё светловская «Гренада»
Жила в простреленной душе
И сердце билось: «Выжить надо
На этом страшном рубеже».

Его вы можете там встретить
На капитанском на посту
И расспросить про сорок третий,
Про битву памятную ту.

Солдатское письмо

Учусь довольствоваться малым —
Такой закон походный наш.
Шинель мне служит одеялом,
Матрацем с простынью — она ж.

Я и не думал на гражданке,
Что удосужусь хоть разок,
Как грозный вихрь, промчаться в танке,
Свершить далёкий марш-бросок.

О том, что раньше был наивен,
Мои промашки говорят,
Теперь в мишень, как в десять гривен,
Умею всаживать заряд!

Когда усталость бьёт кругами
Из глаз, на землю пасть веля,
Ох, как гудит под сапогами
Огнём прожитая земля!

Трава пехотою помята,
Мне так сегодня горячо,
Литая тяжесть автомата
Надёжно впаяна в плечо.

По ковылям, по пашне чёрной,
По озеру среди осок,
По местности пересечённой
Бросает к цели марш-бросок.

Валюсь от усталости, но сам-то
Не дам товарищу упасть:
На ликвидацию «десанта»
рванулась войсковая часть.

А поверху, надсадно воя,
Пошёл на цель ракетный шквал —

Идёт ученье боевое
Тех, кто ещё не воевал.

Бескровен бой. Но в каплях пота,
Что падают на рубежи,
Подспудно видится работа
По становлению души.

Вы слабых в роте не ищите.
И я пишу друзьям своим:
Мол, вот теперь готов к защите
Отечества. На том стоим!

Я знаю, чем врага мы встретим,
Но сожалею о другом:
Зачем не я в том сорок третьем,
А дед мой был политруком.

Бессонница

Пружинка ль лопнула в заводе,
Завод ли выдохся к шести?..
Древесный червь часы заводит
И всё не может завести.

Его упорство впрямь воловье —
Он точит, точит без конца.
Всю ночь снежком на изголовье
Летит древесная пыльца.

Ему к утру насыпать горку,
Видать, не стоит ничего.
И жрёт бессонница махорку
Из портсигара моего.

Через окно пробила тропку
Луна в избушке на полу.
И вижу я, как сон мой робко
Стоит на цыпочках в углу.

На постое

Хариусы осторожные,
Пойманные старичком,
Малосольные,
Мороженые —
На тарелочке с лучком,
Строганинка
Подперчённая
В виде медно-красных блях
И картошка, испечённая
На берёзовых углях.
И лежат с ледком из бочки
Огурцы, поджав бока.
Приземлились вертолётчики
За столом у рыбака.

Приземлились не намеренно:
Подкузьмил непрочный лёд.
А кругом — тайга немеряная,
И на брюхе вертолёт.
— Дак погода виноватая?
Дед бутылочку берёт, —
Извиняйте, мутноватая,
А хлебнешь — того, дерёт..
Дружно кружки поднимаются.
Дед кивает бородой.
И ребятам понимается:
Он доволен их бедой.
Что готов он хоть полмесяца
Для гостей солить-варить.

За окном — лишь вьюга бесится.
 С кем ему поговорить?
 — Ешьте, граждане-товарищи,
 Пейте, милые друзья!
 И ушица щас доварится —
 Окуньки да харюзья.
 А вертушка... Что ж, наладитца,
 Подмогнём, когда чего...
 А за шторой гладит платице
 Дочка младшая его.
 На отца она не сердится,
 Хоть в душе идёт борьба:

То — не верится,
 То — верится:
 То ль — случайность,
 То ль — судьба...
 Вон какие три молодчика
 Залетели на постой!
 Может, кто из вертолётчиков
 И взавправду холостой?
 От погоды лес ломается,
 От пурги гудит труба.
 А в груди не унимается —
 Что, случайность иль судьба?..

Муза

Не помню я ни дня, ни даты,
 Ни календарного числа,
 Когда пришла ты, и когда ты
 Мне первый трепет принесла.

И не дала уже отсрочки,
 Подняв на зыбких два крыла,
 От первой боли к первой строчке
 Сквозь муки сладкие вела.

И мир предстал в особом свете,
 Особым пламенем цвели

Слова мучительные эти
 Со вкусом неба и земли.

С военным голодом и мором,
 С лучами, пьющими зарю,
 С людьми хорошими, которым
 Я все стихи мои дарю.

Спасибо, Муза! Свет твой вечен.
 Спасибо твоему лучу.
 Коль человек тобой освечен —
 Ему любое по плечу.

В лесной купальне

Как только девушки разденутся
 И станут мыться у ключа,
 Я тоже брошу полотенце
 На угол смутлого плеча.

И, опьянённый мыслью грешной
 Нагую видеть красоту,
 Пройдусь походкою небрежной
 Через запретную черту.

Вот подниму и шум, и брызги
 В купальне девственной, лесной...
 Мне нравится в девичьем визге
 Услышать ужас показной.

А может статься, убегая
 За баррикаду из камней,
 Одна из девушек, нагая,
 Вдруг повернётся вся — ко мне

И встанет, будто бы богиня,
 И руки сделает в бока,
 И взглядом так меня окинёт,
 Что я и сам рванусь в бега.

Но нет! В таком, пожалуй, разе
 Паду коленями на мхи
 И в поэтическом экстазе
 Прочту ей лучшие стихи!

Глухарина жена

На ножах чутья и слуха,
Грации не лишена,
Ходит бором копалуха,
Глухарина жена.

Где родник в камнях упрятан,
Где смородина в цвету —
Всё покажет глухарятam,
Не бывавшим на лету.

Вводит в ведомство лесное
От Уды до Бирюсы,
Укрывает их от зноя,
Сберегает от росы.

С осторожностью особой
Огибает те места,

Где ночами рыщут соболь,
Филин, хорь и горноста́й.

И шныряют карапузы,
И ныряют под сучки,
Полосаты, как арбузы
Или как бурундучки,

Опрокидывая с веток
И легко, и тяжело,
Мать обучит малых деток
Подниматься на крыло.

А подскажет осень глухо,
Что любовь завершена —
Их оставит копалуха,
Глухарина жена.

Былое

Обочь просёлочного тракта
У полувысохших берёз
Людьми забытый старый трактор
Тяжёлой глыбой в землю врос.

За пашней, вздыбленной бугристо,
Сияет золотом стерня,
А дядю Тиму — тракториста
Снесла на кладбище родня.

И председатель тётя Даша
Сказала у могилы речь:
«Был Тимофей — наде́жа наша,
Да не сумели уберечь.

Вот уж беда! На фронте кабы,
Как мой иль, Аграфена, твой...
Кто ж нам пахать-то станет, бабы?
Самим придётся — вой, не вой».

Память

На божничке, где икона
Встала накосо, врасшат,
Вместе с письмами погоны
С сорок третьего лежат.

А в сторонке от иконы,
На простенке меж окон —
Сам хозяин их законный
В гимнастёрке без погон.

Чуб навывпуск, бровь в изломе,
Синева в глазах густа.

На матерчатом шеломе
Пятипалая звезда.

В озорных глазах и добрых,
Напоённых синевой,
Отразился сам фотограф
У землянки фронтовой.

Мы нигде его не встретим —
Мужа, брата и отца.
Он остался в сорок третьем
По-над берегом Донца.

Он остался, распластался,
Не прикрыв усталых глаз,
И навек таким остался,
Как на карточке у нас.

Пусть живём не в ту эпоху,
Я икону не сниму —
Бабка молится не Богу,
А солдату своему.

Завещание

Не ставьте на могилу камень,
Когда иссякнет мой сосуд,
Когда меня вперёд ногами
На место скорбное снесут.

Не надо ни поминок громких,
Ни похоронных трубачей.
Пусть только кто-нибудь на хромке
Сыграет тихо, без речей.

И будет пухом мне сырая
Полынной горечи земля...
Пусть только кто-нибудь сыграет,
Едва мехами шевеля.

И пусть одна — из дальней дали —
Сто лет не будет умирать.
Ещё прошу вас, чтоб издали
Мою последнюю тетрадь.

Как будут птицы на отлёте,
Поля осенние тихи, —
Тогда вы ей и перешлите
Мои прощальные стихи.

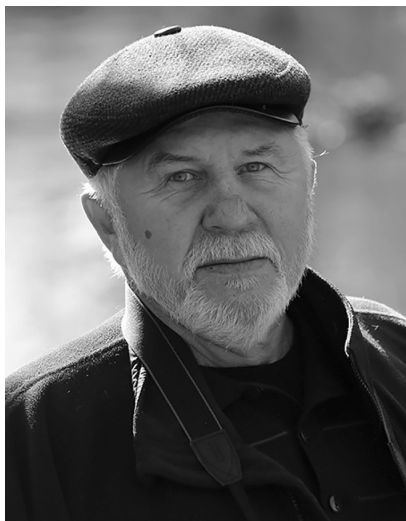
Пусть ей расскажут строки эти,
Что вышло всё — не как хотел:
Любил всегда одну на свете,
Но и до той не долетел...



Мемориальная доска Валентину Урукову, установленная в городе Нижнеудинске



АЛЕКСАНДР СМЫШЛЯЕВ



Кони

РАССКАЗ

Второй пилот легонько толкнул командира вертолѐта в плечо и показал рукой, коснувшись стекла:

— Петрович, лоси!

На белом слепащем снегу равнинной тундры вычерчивались тенями от низкого утреннего солнца глубокие траншеи. В конце каждой стояло животное.

— Раз, два, три, четыре, — громко считал второй пилот, сняв тѐмные очки. — Похоже, целая семья!

Командир подал левой ногой педаль, и вертолет пошѐл на круг, одновременно снижаясь. Вскоре стало видно, что это не лоси, а кони.

— Осенью у геологов отбилосъ четыре лошади, — сказал командир. — Их так и не нашли, оставили. Скорее всего, это они — район тот самый.

— Бедолаги, чем только питаются в таком снегу? Кусты, как лоси, обгладывают? — с неподдельным сочувствием заметил бортмеханик. — Погибнут, зиму не переживут.

СМЫШЛЯЕВ Александр Александрович родился в 1952 году в горняцком посѐлке Темир-Тау в Горной Шории (Кемеровская область). По образованию геолог и телевизионный режиссѐр. Работал в геологоразведочных экспедициях: Томь-Усинской, Янской, Северо-Камчатской и Пенжинской, затем в журналистике на Камчатке, собкором «Российской газеты» на Дальнем Востоке. В 1996 г. вышла первая книга. Член Союза писателей России с 2006 года. Автор нескольких книг и телефильмов о Камчатке, Курильских островах, Чукотке. Живѐт в Петропавловске-Камчатском.

— Наверняка, — откликнулся второй. — Помните, в прошлом году охотников вывозили, они рассказывали, что нашли два лошадиных трупа? Такая же история...

Петрович выправил вертолет, поставил на прежний курс и согласно кивнул второму.

— Сами не погибнут, так волки задерут, — подытожил он грустно.

День разгорался морозный и ясный. Белая тундра, искрящаяся свежим снегом, ещё не успевшим подмёрзнуть, расстилалась до горизонта, слепила глаза даже через очки. Если бы не редкие березняки и стланиковые куртины, земля слилась бы в ровное, без видимых морщин, белое покрывало.

Шли высоко, курсом на буровую вышку нефтегазовой экспедиции. Салон был заставлен бочками с техническим маслом.

Молчали, каждый думал о своём. Петрович — об оставшихся в тундре конях. Он же их и завозил весной. Второй пилот тогда был другой, потому что его Юрка отпросился в отгулы, жена рожала. Вспомнилось, как заводили животных в вертолёт. Кони боялись пахнувшей керосином машины, упирались, не шли. Молодые ребята геологи, бросив поводья, гладили коней, пытались уговаривать, заманивали морковкой и клочками старого сена. Завхоз партии бегал вокруг, матерился, но от этого становилось только хуже. Кони косили налитыми страхом глазами, фыркали, перебирали ногами и не шли.

Петрович не выдержал, вмешался.

— Так, ребяташки, все отошли от коней! — крикнул он, указывая рукой на край взлётной площадки. — Дайте их мне! Я заведу!

Ему это видеть приходилось не раз, но сам этого никогда не делал. А тут подумалось, что сможет.

Геологи послушались, отошли в сторону. Кони без крикливых понукальщиков начали успокаиваться. Петрович некоторое время не подходил к ним, выжидал.

Животные приходили в себя, уже не фыркали, стояли молча.

— Мамедыч, — обратился он к бортмеханику. — Где-то в баулах у нас хлеб, дай мне булку.

Мамедыч принёс буханку ржаного хлеба. Петрович осторожно пошёл к коням, на ходу отламывая от булки ломоть. Крайний мерин скосил на него глаз, а затем потянулся мордой к протянутой руке с хлебом.

— На, дорогой, ешь, — тихо и как можно ласковее произнес Петрович, поднося ладонь с хлебом к мягким губам мерина.

Тот взял хлеб, начал жевать. Петрович легонько погладил его по морде, затем крепко ухватился за уздечку и потянул к вертолету. И конь пошёл. Споткнулся на дощатом трапе, но это его не остановило, и вскоре копыта громко застучали о дюралевый пол машины. Подоспевший Мамедыч перехватил повод и быстро привязал его к тросу под потолком.

С остальными конями уже справились легче. Один за другим они послушно зашли в вертолёт. И в полёте вели себя спокойно. В тот день пришлось делать ещё два рейса, чтобы завезти в тундру всех лошадей. И вот четыре из них остались в глубоких снегах, теперь их ждала неминуемая гибель.

— Мда-а, — задумчиво произнёс командир. — Надо что-то предпринимать...

Юрка повернулся к нему:

— Ты о чём, Петрович?

— Да вот, думаю, как коней спасти.

— Да ты что, мы ж там не сядем.

— Потому и думаю, прикидываю. Мамедыч, ты как считаешь?

Механик не торопился с ответом. Затем, поглаживая густую кавказскую бороду, стал вслух размышлять:

— Если зависнем, кони шума машины испугаются и убегут. Если подальше зависнем, то вихрем засыплем выбитые ими в снегу траншеи и сами же не добредём до коней. К тому же, на них, наверное, никакой узды нет — как поведём к машине? Даже и не знаю, что мы сможем сделать, командир.

Петрович молчал, вглядываясь в ослепительно белую тундру. Затем обратился к Юрке:

— Сколько градусов снаружи?

— На нашей высоте минус тридцать один, — ответил второй.

— Видите, позёмки нет, — показал вниз Петрович. — Снег смерзается. А мы его ещё и брюхом уплотним, придавим. Думаю, сядем! Мамедыч прыгнет, глубину пощупает. А мы попробуем зависнуть и, возможно, даже выключиться.

— Опасно, Петрович, — засомневался Юрка, заёрзав в кресле.

— Тогда давай голосовать, — неожиданно повеселев, предложил механик. — Я за то, чтобы попробовать! Где наша с Петровичем не пропадала!

— Ну, и я за это же, — заулыбался командир. — Юрку, если он против, оставим у нефтяников, чтобы оказался ни при чём и собой не рисковал. Скажем, отстал от поезда, увлекся геологиней, там она молодая, красивая, я её видел!

— Но-но! — тут же наигранно возмутился Юрка. — Ещё чего! У меня и своя жена красавица! А потом, без штурмана вы и коней не найдёте.

— Тоже правильно, — окончательно развеселившись, подхватил командир. — Опять же коней ловить Мамедычу одному не с руки будет. Оба пойдёте! Лады?

— Лады, командир!

— Договорились, Петрович! Но, однако...

— Чего «но»?

Юрка не ответил, только махнул рукой: ладно!

Нефтяники вертолёт ждали, быстро скатали бочки с маслом на утоптаный снег площадки. Петрович тем временем сходил в конторку к начальнику буровой. Тот оказался молодым, весёлым и гостеприимным парнем, встретил пилота душевно, предложил чаю. Петрович отказываться не стал, снял куртку, уселся за стол.

— Меня зовут Петрович, — представился он. — Командир Ми-8.

— Василий, — протянул руку начальник буровой и добавил: — Я наслышан, люди называют вас асом.

— Кое-что можем, — не стал скромничать Петрович. — Вашу буровую тоже называют лучшей у нефтеразведчиков.

— И мы кое-что можем, — засмеялся Василий, тут же берясь за телефонную трубку. Зачем-то дунул в неё, как в микрофон рации, и ласково, растягивая слова, проговорил: — Нинок, принеси мне в контору два чая и чего-нибудь сдобного, зашёл хороший гость. Да поторопись, пожалуйста.

— У меня к вам просьба, Василий, — подождав, пока начальник положит трубку, сказал Петрович. — На обратном пути будем забирать из тундры заблудившихся коней, нужны четыре-пять крепких досок для трапа, кусок верёвки метра три и несколько булок хлеба, можно побольше по возможности, кони голодные, их четверо. Поможете?

— Да ради Бога! — с чувством воскликнул Василий. — Благое дело животин спасать. А я, к тому же, из казаков, с Кубани, мне кони — настоящие братья!

— Тогда нормально, — обрадовался Петрович. — Заберём лошадок, иначе погибнут.

Раздался лёгкий стук в дверь, и вместе с клубами холодного воздуха в помещение вошла молодая женщина в валенках, белом овчинном полушубке и цветастой шали, с плетёной корзинкой в руках.

— Василий Игнатьич, принесла чаёк, — пропела она тонким голоском и стрельнула глазами на Петровича. — Кто это у нас? Никак командир вертолёта! Здравствуйте!

— Здравствуй, милая, — отозвался Петрович. — Спасибо за чай.

— Может, отобедаете у нас? — доставая из корзинки небольшой термос, чашки и что-то завернутое в газетный кулёк, предложила женщина. — Гуляшик сегодня знатный, мужчины наши любят. Рис, компот.

— И правда, — встрепнулся Василий. — Всем экипажем и отобедайте. Время-то уже, — он глянул на часы, — пора!

— Спасибо, с удовольствием, — ответил Петрович. — Нам ещё с конями возиться...

— Нинок, найди пилотов, позови в столовую, — напутствовал уходящую женщину начальник. — Скажи, что командир тоже придёт. А пока мы здесь чаю попьем.

Он взялся за термос, налил в чашки густой, ароматный чай. В кулёке оказались свежие пышные оладушки.

— Угощайтесь, Петрович, — предложил он. — У нас поварихи хорошие, всё сами умеют делать. Народ доволен.

Петрович взял оладушек, отхлебнул чай. Для поддержания разговора спросил: давно ли Василий работает на буровой?

— Я геологоразведочный институт закончил, — с готовностью отозвался Василий, — технология нефтяного бурения. И сразу — в нашу контору. Сначала бурильщиком работал, затем мастером. На эту буровую уже начальником смены поставили.

— Смена — это вахта?

— Да, вахта, один месяц. Затем вывозят, залетают другие. Работа интересная, глубина скважины большая, но идём без аварий, тьфу, тьфу, тьфу! Ребята довольны, премиальные светят. В вышку не хотите зайти, посмотреть, как бурим?

— Вообще-то некогда, — отказался Петрович. — Кони ждут. Не знаю, сколько с ними провозимся, день-то короткий. — И заторопился, отставляя пустую чашку: — Пойду к своим ребятам, пообедаю, да и в путь.

— А я насчёт вашего заказа распоряжусь, — поднялся из-за стола Василий. — Столовая — вот она, сразу за конторой, не заблудитесь, у крыльца собак увидите, тоже обеда ждут.

Мамедыч с Юркой уже сидели в столовой за длинным столом, накрытым чистой клеёнкой.

— А вот и ваш командир, — радостно пропела повариха Нинок, как назвал её начальник. — Проходите, командир, садитесь. Я вам для начала супчику налью. Суп-лапша с тушёной, вкусный! Будете?

— Давайте! — весело ответил Петрович, пристраивая снятую куртку рядом с собой на скамье. Затем обратился к своим: — Всё нормально?

— Порядок, — ответил Мамедыч. — К вылету готовы.

Юрка молча дохлёбывал суп. Затем тихо сказал:

— И всё-таки это авантюра с конями...

— Юра, ты как всегда, — рассердился командир. — Уж определись, за белых ты или за красных.

— При чём здесь белые или красные! — Юрка резко отодвинул от себя пустую миску из-под супа. — Рискованно это, вот что. Считаю, что надо сообщить о незапланированной посадке диспетчеру.

— Хорошо, сообщим, — уже спокойней ответил Петрович. — Но ты-то знаешь, что получим отказ. А как же кони?

— Что кони! А если угробим и вертолёт, и себя!

— Но-но, Юра! — остановил второго пилота Мамедич. — Ты уж сразу в крайности. Типун тебе на язык!

Нина расставляла перед пилотами тарелки с гуляшом и рисом, с интересом прислушивалась к сердитому разговору гостей.

— Коней я не оставляю, — придвинув к себе гуляш и низко склонившись над тарелкой, проговорил Петрович. — Никто не гробанётся! Я повторяю: никто не гробанётся! Беру ответственность на себя, как командир воздушного судна. — И добавил, подняв голову и глядя на Юрку: — Да, не рысаки, не скакуны, простые работяжки, вьючные лошади. И геологи их, поди, давно списали, не числятся они в живых. А мы не спешим, вернём их к жизни! Разве мы сами не такие же вьючные лошади? Поглядите на нас: элита общества, пилоты гражданской авиации, белая кость! Куда уж там! Я после работы падаю в сон, будто под землёй уголёк рубил всю смену — так устаю. И каждый день так! И жена ушла, не выдержала жизни с «элитой», надоело ей одной в театр да по магазинам ходить, ведь меня же никогда нет дома. Ладно, закончили, — неожиданно остыл Петрович. — А с диспетчером я сам разберусь. Ваше дело быть предельно внимательными, не оплошать даже в мелочах. Нельзя животных на погибель бросать, не по-божески это. Потом ночами будут сниться. Это ж кони! Они почти как люди.

Юрка молчал, сосредоточенно доедал гуляш. Молчал и Мамедич. Петрович оделся, поблагодарил Нину за обед и вышел из столовой первым.

Мороз крепчал, давило под тридцать. На буровой постукивали трубы, тарахтел дизель. Посёлок нефтяников, состоящий из нескольких жилых и производственных балков, казался пустым, лишь к вертолётной площадке шёл трактор с санями, везли доски и мешок с хлебом. «Молодец, Василий, не подвёл», — мысленно поблагодарил начальника смены Петрович.

Сам Василий уже был возле вертолёта. Петрович отвёл его в сторону:

— Ещё одно дело у меня, Василий, — тихо сказал он. — Твоим никому не надо в город? А то бы подвезли.

— Нет, — мотнул головой Василий. — У меня все на месте, каждый человек на счету, нельзя.

— Дело вот в чём, — продолжал Петрович. — Я должен своему начальству объяснить незапланированную посадку. Скажем так: твой человек пошёл на лыжах в ближайший посёлок, в Ичу. Зуб разболелся, сил у него уж не осталось. И ты попросил меня догнать его и забрать. Но он, когда мы догнали его, отказался — спортсмен, любитель лыж, сам захотел добежать. Зато объявил нам, что встретил коней, голодных, замерзающих. И мы решили их взять на борт, коли уж сели. Понимаешь меня?

— Понял. Но я-то при чём?

— Если вдруг дело до проверки дойдёт, ты подтвердишь. Вот и всё. Хотя, не думаю, что проверять будут. Это на всякий случай.

— Хорошо, Петрович! Благородному делу всегда готов помочь. Хлеба мы вам выделили, верёвка есть, доски ребята мои загружают. Пять штук, тридцатка, толще нет.

— Тридцатка пойдёт! Спасибо тебе, Василий! — Петрович с чувством пожал ему руку. — До следующей встречи!

Взлетели нормально. Снизу махали им Василий и двое рабочих. Выглядывала из приоткрытой двери столовой повариха Нина.

Юрка первым не выдержал, заговорил:

— Петрович, не обижайся, я с вами душой и телом.

— Не обижаюсь я, Юра, — ответил командир. — Это хорошо, что ты меня понял. Значит мы — настоящий экипаж. А, Мамедыч?

— Против лома нет приёма, — развёл руками бортмеханик, весело поблёскивая чёрными глазами.

— Тоже мне, нашли лом, — шутливо проворчал Петрович. — Да я мягок и сентиментален, как девушка.

Он связался с диспетчером, объяснил ситуацию с рабочим нефтеразведчиков, ушедшим на лыжах. Тот дал добро на посадку и добавил:

— Только осторожней там, Петрович. Надеюсь на твой опыт в подборе площадки. Мамедыч хохотнул:

— Вот за что люблю тебя, командир, так это за романтику!

— Ага, пират Петрович! — повеселел и Юрка. — Весёлый Роджер!

Вскоре вышли к тому месту, где видели коней.

— Вон они, — сказал Юрка. — Там же и стоят, никуда не ушли.

Петрович сосредоточился на управлении машиной, начал снижаться, делая большой круг, чтобы оглядеть местность.

— Мне кажется, у них и сил не осталось, чтобы убежать, — предположил Мамедыч. — Подходи ближе. На приборах всё в норме, можешь начинать режим висения.

Правая рука Петровича крепко держала рычаг управления, слегка отводя его влево, приближая машину всё ближе и ближе к коням. Левой рукояткой он регулировал подъёмную силу, удерживая вертолёт на весу.

— Юра, внимательно смотри, сдуваю снег, — предупредил командир. — Мамедыч, приготовься к выходу. Как там кони?

— Повернулись к нам, но стоят смирно, — ответил Юрка.

— Теперь вижу их. Снижаюсь ещё.

Под вертолётom поднялся снежный вихрь. Дворники отчаянно заработали, очищая стёкла. Петрович то приподнимал машину, то опускал снова. Постепенно вихрь ослабел. Вертолёт осторожно коснулся колёсами снега, чуть углубился в него. И тотчас Мамедыч открыл дверь, вставил в пазы и сбросил металлическую лестницу-приступок и вслед за ней выпрыгнул из машины сам, провалившись в снег почти по пояс.

Петрович через стекло внимательно наблюдал за ним. Вот Мамедыч проткнул шупом снег, вынул его, показал командиру: восемьдесят сантиметров. Затем забарахтался в снегу, приминая его ногами, отступая подальше от вертолётa, оглядываясь, осматривая место приземления, оценивая его. Кони смирно стояли метрах в пятидесяти, прижимали уши и перебирали ногами, но не уходили.

Лопасты продолжали со свистом рассекать морозный воздух, опять поднялся снежный вихрь, но уже не такой силы. Вскоре колёса полностью скрылись в снегу,

а там и днище тяжёлой машины стало в него углубляться. Наконец Мамедыч снял рукавицу и поднял вверх большой палец: нормально!

— Юра, иди, помогай Мамедычу, забирайте коней! — скомандовал громко Петрович, крепко удерживая рычаги управления.

Мамедыч тем временем уже раскрывал створки задней двери, отбрасывая руками снег. Юра схватился за доски, начал сооружать трап.

— Бери верёвку и булку хлеба, пошли! — крикнул ему Мамедыч, когда трап был готов.

Командир смотрел, как они пробились через снежный целик к траншее, вытоптанной конями, подошли к крайней лошади.

— Дождались людей, милые! — заговорил с конями бортмеханик. — Теперь домой поедem, собирайтесь!

Кони смотрели на них с отрешённым безразличием. Похоже, они уже подчинились судьбе. Их худоба, проступавшая через гладкую шерсть на крупах, покрытых снежной пылью, говорила сама за себя: вдоволь наголодались и намаялись животные за минувшие полтора месяца.

Мамедыч протянул крайнему коню хлеб, но тот даже нюхать его не попытался. Стоял и просто смотрел на человека, не мигая.

— Досталось вам, бедные, — бортмеханик смёл рукавицей с морды и шеи коня снег, а затем накинul на него верёвку и легонько дернул на себя. Конь сначала упёрся, но, похоже, сообразил, что от него требуют, и, медленно перебирая подрагивающими от слабости ногами, послушно пошёл за человеком. Его не испугали ни шум крутящихся лопастей, ни запах вертолётa. Доски трапа прогнулись под ним, но выдержали.

Заведя коня в вертолёт, Мамедыч вернулся за следующим. И тот смиpно пошёл за ним. Оставались две кобылки. Одна стояла с закрытыми глазами, ни на что не реагируя. Юрка нежно гладил ей морду, почёсывал за ухом. Наконец она открыла глаза, внимательно посмотрела на человека. Но ни радости, ни печали взгляд не выражал.

— Не замерзай, просыпайся! — громко крикнул Юрка в самое ухо кобылы. — Скорая помощь приехала!

С трудом, но удалось сдёрнуть её с места, и она пошла, понуро опустив голову, а перед самым трапом вдруг упала. Подбежал Мамедыч. Вдвоём с Юркой они попытались помочь кобыле подняться, но та, подёргавшись и посучив обледевшими ногами, встать не смогла, затихла и опять закрыла глаза.

— Не умирай, подруга, — начал гладить её по впалому животу бортмеханик. — Спасение пришло, надо жить! Юра, затаскиваем её на трап.

Они, прилагая большие усилия, начали толкать её в круп к трапу. Но двух человеческих сил на это не хватало. Тогда взялись за задние ноги, развернули и стали затаскивать лошадку на доски. Когда подтянули к самому верху, Мамедыч вспомнил, что в одном из карманов задней двери лежит кусок брезента.

— Подстели брезент, пол холодный!

Он быстро растянул брезент по полу, и они затащили на него неподвижную кобылу.

— Она не сдохла? — с тревогой спросил Юрка.

— Смотри, слабо, но дышит, — показал Мамедыч на бок лошади, который слегка вздымался при вдохах.

Последнюю лошадь завели без особого труда. Юрка поспешил в кабину, за

рычаги, а Мамедыч закрыл обе двери, осмотрел коней, погладил лежащую кобылу, и тогда только сел на место.

— Командир, можно взлетать, — сказал он устало. — Пассажиры рассажены согласно купленных билетов. Налицо все четверо, одна совсем больная, довезти бы её ещё.

— Хлеб не взяли, — начал рассказывать Юрка. — Унылые, замёрзшие, больные. Плохо у них с борьбой за жизнь.

— Ничего, сейчас немного их растрясём, согреем, аппетит придёт, — откликнулся Петрович, поднимая вертолёт. — Но сразу много им нельзя, желудки атрофированы. Мамедыч, позже предложи им скромный обед. Скромный!

— Есть, командир!

— И всё-таки мы это сделали! — набрав крейсерскую скорость, весело сказал Петрович. — Надо доложить диспетчеру, подсказать, чтобы хозяева приехали за конями, забрали их.

— Ты ж сказал, что они списанные, а я как раз возмечтал конеферму к пенсии заводить, — шутливо возмутился бортмеханик.

— Насчёт этого ты с геологами договоришься, — ответил Петрович, — они тебе в качестве награды мерина отдадут. Им всё равно, сколько коней опять на баланс принимать.

— Мерина мне не надо, приплода не будет.

— Тогда заберёшь больную кобылу, — поддержал разговор Юрка. — Выходишь её, и она тебе много жеребят нарожает.

— А давайте споем! — предложил командир. — У меня дед вот эту любил, и я люблю.

И он тихо запел, постепенно усиливая голос. Нестройно, неумело ему начали подпевать Мамедыч и Юрка:

*Выйду ночью в поле с конём,
Ночью тёмной тихо пойдём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём...*

Под вертолётom проплывала белоснежная, замёрзшая северная тундра. Короткий зимний день начал клониться к вечеру. Кони стояли смирно, им не впервой было летать. То ли от тепла, то ли от звуков разудалой песни, а возможно, от запаха свежего хлеба, который лежал в мешке там же, в салоне, они оживились, зафыркали и запрядали ушами. И даже лежащая кобылка открыла глаза и задышала ровнее. До авиабазы оставалось лёту чуть больше часа.

1–2 января 2019 г.

ПОЭЗИЯ



60 лет со дня рождения

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ



Так смешно и напрасно...

* * *

Волшебный маршрут променада
петлял по дивным аллеям.
Она любовалась садом,
а я любовался ею.

В волнение душном и зябком
по-детски мы целовались;
на ней не держалась шляпка,
и волосы рассыпались.

Боясь показаться грубым,
но также и слишком робким,
к губам я приблизил губы,
обжёгшись взором коротким.

Потом, победив неловкость,
мы дали дорогу страсти,
и полетели в пропасть —
разбиться о камни счастья.

ЗМИЕВСКИЙ Анатолий Борисович родился 17 марта 1959 года в Иркутске. После окончания средней школы № 7 служил в рядах Советской Армии (Воздушно-десантные войска, Ферганская дивизия). Учился в ИГУ, работал монтировщиком сцены, плотником-бетонщиком, грузчиком, экспедитором, кочегаром, сторожем. В 1991 году стал лауреатом 12-й областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Стихи печатались в коллективных сборниках и книгах, изданных в Иркутске и Москве. Иркутский композитор Ольга Горбовская написала на стихи Змиевского вокальный цикл «Драгоценные слёзы». Автор книг: *Среди божественного хлама* (1996), *Лагерная Русь* (1998), *Звезда Вифлеема* (2001), *Я пришёл из осени* (2005), *Любовные письма* (2010), *В полушаге от звезды* (2012). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Утратили стыд объятья,
и под цветочным кровом
грудь разрывала платье,
и шляпка падала снова.

Кренясь, маршрут променада
увлѣк нас в тайное место;
звучало её «не надо»
притворно, но так прелестно...

В сетях из любовной лески
мне пелась сладкая ода

богиней с античной фрески,
русалкой с озера мѣда.

Обратно — родной с родною —
мы шли, друг от друга млея.

Она любовалась мною,
а я — ещё больше — ею...

Висок бархатистой лапкой
мне гладит память-зараза:
и платье шуршит, и шляпка
падает раз за разом.

* * *

Неслышно, но ощутимо
дыханьем обдав висок,
пройдя сквозь меня, как мимо,
ваш дух меня пересѣк.

Не зная, не помня, кто вы,
я знаю, я помню вас,
и это так странно — словно
слезится мой третий глаз.

Вы, видимо, мне приснились,
когда-то, очень давно,
или мне в детстве явились
в каком-то взрослом кино.

В догадках снова и снова
теряюсь — ответа нет.
По вам, не ведая, кто вы,
тоскую я столько лет...

Вы, вроде, яблоко грызли,
и брызгал на щѣки сок.
А может, в грядущей жизни
грызѣте его, дружок?

И, может, моей невестой
сияете там, храня
с собою рядышком место
для будущего меня?

Туда, где меня вы ждѣте,
я пулей готов лететь.
Но выживу ли в полѣте?
Ведь это полѣт сквозь смерть.

Неслышно, но ощутимо
дыханьем обдав висок,
неведомо чем гонимый,
ваш дух меня пересѣк...

* * *

Как Гималаи, были высоки
все помыслы мои и устремленья.
Я пил с оленем воду из реки
и глупый вид имел от умиленья.

Но что-то не сошлось и не срослось,
не умница судьба — судьбина-дура
досталась мне, и псу пошла под хвост
вся жизнь; и кто я? Так, макулатура.

Как прежде, млеют кошки во дворе,
ласкаемые солнышком весенним,
а я уже в морщинах, в серебре
седин, в недугах, свойственных старенью.

Я здесь ещё, и я ещё поэт,
но всё ясней в расплывчатой оправе
мне лодочника виден силуэт,
что в мир иной поэта переправит.

Кем буду там и буду ль вообще,
не в силах подсказать воображенье,
лишь для земных пригодное вещей
и их в стихотвореньях отраженье.

* * *

Я родился возле храма
на окраине Иркутска,
оглушённой птичьим гамом,
в уголке типично русском.
Всюду верб светились лица,
звоны в небо отлетали!
Несомненно, ту больницу
херувимы опекали.
Потому что гибли в родах
мать и сын, и, однозначно,
лишь по воле небосвода
всё закончилось удачно.
Я рождался двое суток,
просто чудо, что не сдался,
что за этот промежуток
мамин пульс не оборвался.
Мама, выйдя из роддома,
чуть откинув одеяло,
херувимам и воронам
гордо сына показала.
Бабка, сдержанная в ласке,
удивлялась при осмотре:
«У него глаза, не глазки —
видят что-то, а не смотрят».
Солнцем мартовским пригреты,
умилённые берёзы
над грудным своим поэтом
нежно свешивали косы...
Был крещён я в том же храме,
возле коего родился,
рос и сросся с тополями,

и с собаками сроднился.
А в тринадцать вирус гриппа
сердце мне едва не выжег,
но, хоть я не Лев, а Рыба,
и отбился я, и выжил.
Сорвалась с крючка у смерти
рыбка, раненая горькой
мыслью, что на этой тверди
не бессмертны мы нисколько.
Не случилось катастрофы,
но я с детством разлучился:
диктовать мне начал строфы
страх, что в мальчика вселился.
Жизнь как некая абсурдность
стала мной восприниматься...
Но вскружила душу юность!
Ерундой не заниматься
юность властно повелела,
одарив любовью первой —
первой в смысле телом тела
сладкой пробы с дрожью нервной...
Пасторальные пастушки,
побросав своих овечек,
на малиновой опушке
пережгли немало свечек
надо мною и над тою,
вновь которую не встретить,
надо мной и красотой,
затмевавшей всё на свете!
И подглядывали б дальше
глазки круглые за нами,

но пастушки стали старше
и сбежали с пастухами...
Мир звенел и цвёл безбрежно,
сердца бабочки касались,
все мечтания и надежды
не напрасными казались!
Не имел конца и края
летний день с лицом пригожим,
и в тайге, подобной раю,
голубичным соком в кожу
счастье впитывалось! Льдинки
в лужах к белой зимней части
год склоняли, но снежинки
тоже пахли райским счастьем!
О звонок последний школьный
в упоенье слух расшибся:
ты теперь, как ветер, вольный!
Боже, как же я ошибся...
Как же я ошибся в людях,
и в себе, и в государстве,
разуверился и в чуде,
и в грядущем Божьем царстве.
Отслужив в десантном войске,
отсидев в тюрьме безвинно,
я ушёл в загул геройский

и с родной смешался глиной.
И в душе — одна усталость,
и в руке стакан — не факел.
Что ж, земной, как оказалось,
слишком слаб и хлипок ангел...
Вспыхнув коротко в тумане,
радость в нём же растворилась,
и, в придачу к старой ране,
рана новая открылась.
И всему, и всем я сдался.
Потеряв себя на свете,
за перо я снова взялся,
во Вселенной, на планете
с населением, склонным к росту,
ощутив себя навечно
одиноким, но не просто
одиноким — бесконечно,
бесконечно одиноким.
Больше трагик, чем романтик,
я с тех пор сиротским боком
со звездой вне галактик
стал сравним. Погибель чужа
каждой клеткой крови в жилах,
в гроб ложиться не хочу я,
но и жить уже не в силах.

* * *

Всё сердце, как крыса из ада,
изгрыз мне уныния грех...
Полнейший успешной засадой
меня подстерёг неуспех
в посёлке, в стране, на планете,
где был я рождён, и порой
прожитое мною на свете
мне мнится прожитым не мной.
Мне сон лучезарный приснился,
приснился и аспидный сон,
но сон лучезарный не сбылся,
а аспидный — сбылся во всём.
Во всём. Опуская детали,
отмечу лишь главное: мне
металл не под ногти вгоняли,
а в душу в родимой стране.
Железом гремя на параде,
то время, в котором я жил,
в меня развлечения ради
прицельно метало ножи.

Их лезвия хлётко вонзались
в подобие Божье, как в столб.
Опилки над мозгом смеялись,
смеялся над крыльями горб.
И радостно взвизгивал дьявол
при каждом втыканье ножа,
выкрикивал «бис!» после «браво!»,
и вновь становилась душа
мишенью, и время, от крови
незримой пьянея, всё злей
пускало ей кровь, как корове,
себя веселя и чертей.
Пронзая то грудь мне, то спину,
не знало пощады оно,
и месяца серп над равниной
был с временем тем заодно.
Чем дальше, тем ярче мытарства
на мне полыхало клеймо,
ведь время, меняя пространство,
никак не менялось само.

Посредством добра отвязаться
от зла я, конечно, не смог,
не смог на ногах удержаться
от боли, сбивающей с ног.
В стальную ловушку во мраке,
предсказанном в аспидном сне,
загнали меня вурдалаки
верхом на чугунной свинье.
Мне ран от безжалостных лезвий
уже не сумеь зализать.
Бежит иноходец мой резвый
по сну лучезарному вспять.
Сгорайте, мечты мои, в зорях,
как ведьмы в церковных кострах!
Здесь нет ничего, кроме горя,
здесь всё только горе и крах!
Опять я напьюсь до упаду,
мне легче лишь пьяному вдрызг;

всё сердце, как крыса из ада,
уныния грех мне изгрыз.
Ничем, даже ядом крысиным,
сего грызуна не возьмёшь,
покуда, облившись бензином,
себя вместе с ним не сожжёшь.
И, словно доску гробовую,
тоску обнимая в ночи,
на помощь врачей не зову я —
душе не помогут врачи.
Для ангелов я вроде смога,
и крест мой — похмельный синдром.
О многом просил я у Бога,
теперь не прошу ни о чём.
Хоть век мой не весь ещё прожит,
нет смысла агонию длить,
и, как изнемогшую лошадь,
меня надлежит пристрелить.

* * *

Ничтожество, ну что я стою?
Созвучья смеха истребив,
я исторгаю звуки воя,
лицо к Вселенной обратив.
Земных вещей земной порядок
стоит мне горла поперёк!
Я безнадёжен. Я не смог
взять напрокат чужие взгляды.
К рукам приставшие чернила —
вот всё, чем их я замарал.
Винюсь и каюсь перед миром:
я Лирой имя запятнал.
И Музы в платьице цветочном
на сеновал зовущий взор
меня к себе приклеил прочно,
и в этом вечный мой позор.
Я был нечист, как ветра свисты,
как дождь, луна и листопад,
и потому средь прочих — чистых,
под чьей стерильностью — распад,

чураясь хитростей рисовки,
за кресло или пьедестал
я во всеобщей потасовке
участия не принимал.
Я только пел. И мной пропето
жестокой Родине моей:
мечтал я стать твоим поэтом,
а стал блевотиной твоей.
Я пью, курю, ругаюсь матом,
распутных дамочек люблю,
и, улыбаясь виновато,
людские подлости терплю.
Я глуп и жалок. Смехотворен
весь пафос мой и весь лиризм.
Смешно на соль потратить море,
ещё смешней — на горе жизнь.
Я разошёлся в главном с веком —
в трактовке темы «Человек»,
ни червем и ни человеком
я не вписался в этот век.

* * *

Страна, где всё не так, всё косо, криво,
край горьких забулдыг, сирот и вдов,
я на тоску твою гляжу тоскливо
и от тоски повеситься готов...

Правители, народ считая быдлом,
творят с народом всё, что захотят,
и выдают горчицу за повидло,
и со стыда вовеки не сгорят.

Власть изумляет алчностью и ложью,
и родины всё меньше с каждым днём.
Здесь жить, по сути дела, невозможно,
а мы каким-то образом живём.

Терпенье русских просто бесподобно,
они любой покорно тащат крест,
и с горя пить и вешаться способны,
но не способны с горя на протест.

В краю, где все приметы только к худу,
в юдоли бедных дураков и дур,

державшихся на вере в чудо, в чудо
и я когда-то верил чересчур...

Подобна ты, со всех сторон больная,
гниющему на суше кораблю,
и не за что тебя, страна родная,
любить до слёз. Но я тебя люблю.

Страна о светлом будущем, о счастье
извечно не сбывающихся снов,
я, кровною твоей являясь частью,
с тобою вместе умереть готов.

* * *

Среди осин стою с верёвкой,
ворона иволгой поёт,
и веник месяца с издёвкой
в лицо мне тычет небосвод.

В себе безжалостно копаясь,
державный сравнивая гимн
с державой, горько улыбаюсь
я мыслям горестным своим.

Туземец, клюнувший на бусы,
не ждал беды от парусов.
Я до костей людьми искусан,
поскольку в них не видел псов.

Ища не ангела за дверью,
не чистоты исток в грязи,
а правду, я лишь пух и перья
нашёл от правды на Руси.

Всё потерял я в тех исканьях,
печаль умножив заодно.
Мой конь пропал в степи бескрайней,
кораблик мой ушёл на дно.

Осыпал пылью тупиковой
меня со всех сторон тупик,
к стене которого прикован
огромный русский материк.

Верней, железными руками
зажатый намертво в тиски,
он весь окован тупиками
и весь закован в тупики.

О чём свидетельствуют ясно
мои отбитые бока,
но в стену бился я напрасно —
не вышел я из тупика.

Мой поезд грохнулся с откоса,
в болото рухнул самолёт.
Бутылка, рюмка, папирота —
глушняк полнейший и пролёт.

Кранты полнейшие, короче,
как шея, свёрнута судьба.
Короче, дело к вечной ночи,
ну, в общем, вилы и труба.

Исчиркав годы, словно спички,
не спрятав козыря в рукав,
стою у чёрта на куличках,
игру навывлет проиграв.

Далёким, словно хвост кометный,
вчера казавшийся финал
ко мне подкрался незаметно
и жадно в лоб поцеловал.

Что тут сказать? В подлунной жизни
неотвратим конец всему,
но евшим репу он обидней,
чем жравшим сёмгу и хурму.

Пустой как бубен, льну к осине
с верёвкой, мокрой от вина.
Я о судьбе мечтал красивой,
но мне не выпала она.

* * *

Моя чудесная звезда,
лик за сиреневою мглою
скрывая, ты вертела мною,
предполагаемой красою
дразня и взор мой, и уста.

Жизнь шла и шла себе, и вдруг
прошла, и в небыль превратилась,
а ты мне так и не открылась,
и эта странная немилость
тебе сошла, конечно, с рук.

Не говоря ни «да», ни «нет»,
суля златые горы света,
играла в прятки ты с поэтом,
в иных мирах резвясь при этом,
и тщетно свет искал поэт.

Звезду незримую любить,
томясь в плену самообмана, —
смешней не выдумать романа.
В него лишь сдурю или спьяну
возможно было угодить.

Ни «нет», ни «да» не говоря,
ты превращала прятки в жмурки,
вернувшись в рай с земной прогулки,
и тень искристую в проулке
поймать надеялся я зря.

Не умер в молодости я,
теперь умру как долгожитель.
Уже обрезаны все нити,
зияет вечная обитель
передо мной... Звезда моя,

То смехом в облачке звеня,
то оклика с крыши ближней,
даря мне запах райской вишни,
на протяжении всей жизни
ты ускользала от меня.

зажгись хотя б в конце пути
и озари его остаток
за всё, в чём ты не виновата!
Уход не терпит провожатых,
но ты меня всё ж проводи.

Вином залитый календарь
тоска листала, и, тоскуя,
с тобою путал в ночь глухую
я в небесах звезду другую
иль на краю земли фонарь...

И у черты, где все огни
во мраке тонут, за мгновенье
до моего исчезновенья
и полного потом забвенья
слезой прощальной проблесни.

* * *

Не пришедшийся здесь ко двору
той стране, в которой родился,
как и этой, в которой умру,
я по-волчьему с луной сроднился.
Вынес я выносимую боль,
боль иную я бы не вынес,
только с возрастом стал не столь
умудрён, сколько стал морщинист.

Не увенчанный лавром, но и
не поставленный с матом к стенке,
на закат пялю zenки свои
и на кладбище пялю zenки,
представляя, как лягу там...
Всё прошло, всё стремглав промчалось!
Счёт заканчивается годам —
их совсем немного осталось.

Чувств невольник на сих берегах,
узник рифм в кандалах таланта,
рисовал я звезду в стихах
чудной девочкой с синим бантом.
Ненароком дожив до седин,
пережив ненароком многих,
я по-лермонтовски один
на пустынной застыл дороге.

Стикс всё ближе, и скоро Харон
повезёт меня мёртвым грузом
в мир теней из мира ворон.
Ёжась, вечно юная Муза
подалась, ускоряя шаг,
от меня к молодому телу:
антрацит превратился в шлак,
а до шлака ей нету дела.

Всё ль, что должен был сделать, сказать,
я сказал и сделал, — не знаю,
но, оглядываясь назад,
своё прошлое не пинаю.
Подслащён в горле горький комок
тем, что я, средь бесовских игрищ,
всё сказал, что сказать я мог,
ну, а выше себя не прыгнешь.

И, подобно осенним цветам,
в увядание облачённый,
подношу я осень к губам —
саксофон тоски золочёной.
Кто б ты ни был — атлет иль атлант,
ты в итоге станешь скелетом.
Звёздной девочки синий бант
напоследок снится поэту.

Облетает, как дерево, жизнь,
облетит — и рухнет, и быстро
чёрный ангел спикирует вниз,
чтобы сделать контрольный выстрел.
Всё слышнее скрипя поутру,
я, проживший неожиданно долго,
в мысль о том, что вот-вот умру,
мозгом тыкаюсь, как в иголку.

Хруст песочный и пепел седин,
хвори, тщетное их лечение...
Старость, в общем-то, — срам один,
слёзный апофеоз мучений.
Не увенчанный лавром, но и
не казнённый за дерзость слога,
о закат раню очи свои,
разглядеть в нём пытаюсь Бога.



ВЯЧЕСЛАВ АР-СЕРГИ



Нить

РАССКАЗЫ

Бабкины памятки

С детства привычкой маюсь: все бы мне за работой насвистывать. Что вилы в руках, что топор — свистать бы мне да посвистывать, и на поди.

— Эх-ма, маленький негодник. Всю удачу свою да талан и высвистнешь, — журила бабушка. — Дело-то, оно ведь, соловушко, заботой, а не свистом ставится...

— Ну, бабуль... Мне ведь мою работу делать, что со свистом, что без него! И у всех так-то: абы справился, а то почему кому какое дело, кто помог, лешак или бог, — ерепенился я.

— Не юродствуй, неслух! Не нами обычаи заведены, деды-прадеды нас не глупее были, всякой весточке знали местичко...

АР-СЕРГИ Вячеслав (Сергеев Вячеслав Витальевич) родился в 1962 году в д. Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртской Республики. Окончил филологический факультет Удмуртского госуниверситета в г. Ижевске. Работал в журналистике, в том числе главным редактором журнала «Кизили» («Звёздочка»). Учился на Высших Литературных курсах Московского Литературного института имени М. Горького. Работал сценаристом киностудии «Кайрос» (Фонд Ролана Быкова). Автор более сорока книг поэзии, прозы, пьес, опубликованных в Удмуртии, России и ряде зарубежных стран. Пишет на удмуртском и русском языках. Член Союза писателей СССР и РФ. Народный писатель Удмуртии (2003 г.). Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики (1998 г.). Лауреат литературных премий: республиканской премии Комсомола Удмуртии им. Флора Васильева (1991 г.), Российской премии СП Москвы им. А.П.Чехова (2009 г.), Всероссийской премии «Золотой Дельвиг» (2013 г.), премии «Сестра таланта» III Международного интернет-конкурса короткого рассказа (Петрозаводск, 2014 г.), Международной премии «Югра» (2014 г.), Всероссийской премии «Словес связующая нить» (2015 г.), премии Правительства Удмуртской Республики (2016 г.). Живёт в Ижевске.

Добро бы, если бы она все это мне только в уши пела. Нет, она и за уши не против. Гнал я как-то скотину с луга да и, заслышав жаворонка, серебряную капелюшку, и сам: фюить-фю-ить! Тьох-тьох-тьох! — руладами-то да переливами... Душа поет! Вот, кажись, тронь кто рядом баян лихими переборами, либо гитарой зазвени — не плоше того высвищу...

Словом, хоть некому было, кроме ярок да коров, мой дар божий оценить, увлекся я. Утратил бдительность. А бабка-то, едва вошел я во двор с самодельной своей музыкой, — цоп меня за ухо! Пошла мотать моей головой из стороны в сторону, слезы у меня брызнули, а она приговаривает:

— Дак, ты что, дитенок? Да это кто же скотину свистом погоняет, над живой душой ее изгаляется? А что старики говорят? А надо их слушаться или нет? Будет этому конец, будет, будет, будет!?

— Бу-у... — в голос залился я, и бабкины пальцы разжались.

— Смертней смертного грех этот, — объяснила она мне позже, когда я, упрямая со слезами и блюдцем выставленного на мировую медку, ощупал вспухнувшие свои «лопухи». — Посвисти около скотины — и ослабнет она, от чужого сглазу пропадет. Настырный ты... Ну, ладно, вороти по-своему, да только тогда, как старших, как предков наших, умом-разумом превзойдешь! А разве это возможно, сообрази-ка сам, чтоб больше самого Шудзя, основателя древнего нашего рода, знать да ведать... То-то, мол!

Оценив в буквальном смысле ушами бабкину науку, скотину я больше свистом не погонял. Но, видать, и бабка о святотатстве моем помнила крепко и все время поджидала рецидива, не спуская теперь воспитательного своего ока с меня повсюду, где только могла меня им достичь. В том числе и на сенокосе.

Дело это в деревне самое общественное: стар и млад на лугу. Без моей бабки куда ж? С литовкой-то уже тяжеленько ей, а ворошить траву в самый раз. Я ж со старшими стог мечу, и уж доволен да горд — слов нет! Штука тонкая, не всякий гож, а мне вот доверили... Жаль, бабка издали бдит. Так и целит глазом, как курица на червяка. Думает, невдомек, что она там себе про меня соображает. Х-ха! Да то и соображает: ах, испортит, шайтаненок, всю кашу, забудет, что говорено: не сви-сти, разбудишь большую грозовую тучу, что спит за Утар-лесом...

Этой самой тучей она мне вчера вечером просто дыхнуть не давала: прима-нишь да разбудишь, не свисти да не свисти... Больно надо! Гляди лучше, бабуль, какое сено славное, цветком да листком перевито, да суховито, да духовито... Фиу-лиу-лиу... Да как работа спорится... — тьох-тьох-тьох... Как душа поет... Фью-фью-фью... Тьфу ты, леший! Это ж надо: все-таки не удержался я, засвистел втихомолку, для самого себя неожиданно.

А скирда-то на глазах пухнет, прет из-под земли, как тулово здоровеннущего гриба, выше и выше. Теперь односельчане вокруг нее мурашами снуют. И все бы любо-дорого, только небо с чего-то притуманилось, тенью подернулось, и дохнуло из-за Утар-леса пронзительным холодком. А потом сухо так зашуршало, словно две ржавые железяки друг о друга потерлись. А вот и глухо охнуло, вот и прогремело вдали. И словно пошла пыхтеть в огромном котле спеющая каша: бултыр-бул-тыр, плюм-плюм... Вот она, туча-то, выставила из-за леса голову свою тяжелую и литую, словно из горячей смолы только что отлитую. Бычья голова эта устала на нас сухие свои, кровью налитые глаза и взревела: «Му-у... Мне спать не давать? Со-кру-шу-шу».

— Соседи, поворачивайся! Не хватить бы нам дождя в сенцо, — Лепон, бри-

гадир наш однорукий, машет рукой, сам вилы, словно ружье, наперевес схватил. Бога и мать пречистую вспоминает, торопит, а туча-бык уже тащится, прет на стог: тра-та-тах!

И повлажневший воздух принялся уже пошвыривать комья сена, свинцовую рябь, а за ней и волну белоголовую по Позими покатыл. И песню однотонную запел-затянул в камышах речных, бродяга...

Стог мы все же дометать успели. И едва бросили на него последние навильники травы, как будто лопнул над нами темный войлок низкого неба. Дождь сыпнул крупно и отвесно. Все кто куда так и порскнули: под телегу, в гущину кустов, под стог... Хохочут, кое-кто одежду мокрую отжимает. Бабка, понятно, рядышком со мной от дождя таится...

— Ну, сделал свое дело, шалапут... Доволен ли? — тычет она в загривок своим когтистым кулачком. Тонкие губы сведены в ниточку. В сердцах выжимает айшет-передник.

— Да, бабуль, ты что, в самом деле? Дались тебе эти байки-рассказни! — обидно мне, тошнехонько. — Неужто я посвистал малость, да такую тучищу этим сюда и приманил?

— А кто же еще-то? Ты черов¹ взбудил, а они большую тучу под бока растолкали, из-за Утар-леса сюда спровадили.

— Здрасьте, объяснила... Ты, бабусь, меня, как маленького, до сих пор сказками потчуешь. Не они ли и помогли нам так споро со стогом управиться, побасенки твои?

— Не смей! — Бабка жарче молнии опалила меня глазами, молодыми и темными: — Какие еще тебе сказки?! За ними люди, предки наши, удмурты за ними, навсегда по реке жизни ушедшие...² Ботало ты, ботало, — обругала меня бабка и шагнула в плотную пелену дождя.

— Бабусь! Ну, прости, бабусенька! Не хотел я... не так сказалось, — я ринулся за нею и тут же промок до нитки. Благо, дождь был теплый и какой-то ласково-мохнатый. Слова не ответив, бабка шла впереди, молчком мы и добрались до дому.

Долго, неделю целую, учила и мучила меня своим молчанием моя бабка. И костерил же я себя за дурь мою: чего, спрашиваю, вздумал над старенькой потешаться? Ни обычаем, ни по честной совести в народе нашем такое не ведется. Но после нашел подход и искупление: наладил ее старенькую прялку, отшлифовал стеклом, лаком покрыл... Оттаяла бабуля моя. Но слово крепкое и зарок взяла: не смей мне больше впредь над старыми обычаями потешаться. Чтобы навек заказал себе собственную удачу и настоящую цену всякого дела свистом по ветру да по свету без толку рассеивать. Ну, и дал я ей такое слово. Зарекся, в общем...

* * *

...Вот и годы мои на осень поворотило. И того дальше. Пали на виски мои небольшие белые снега, да так и не стояли. И студено стало им, вискам моим, от этого неталого снега времени...

Бабка же стала тяжело и долго не домогать. Сдали силы, надломленные вечным немилосердным трудом. И в войну кипяткухватила, и после горячего досыта при-

¹Черы — бесы, мелкая нечисть (удм.)

²Древние удмурты верили, что души умерших уходили вниз по рекам, оттого хоронили мертвых ногами к реке

шлось. Вот и приглядела местечко на печи, редко спускаясь теперь по приступам, недостатку тепла в дремлющей крови стала у кирпичей на лежанке попрашивать. Сама говаривала: подо мной-де теперь и скамейка не согреется...

«Время человеку цыплят кормить», — называют эту пору жизни в нашем народе. Только, дескать, сил и осталось, чтобы справлять это нехитрое дело. А у бабули моей даже и на него мочи не стало, сидела в избе. Частенько теперь кутал я ее потеплее, словно младенца, и выносил на руках подышать свежим воздухом. Она стеснялась и охала, крепко обнимала мою шею иссохшими, туго обвитыми венами ручками, неприметно поплакивала, но на вольную волю тянулась. И сегодня вот, едва тронуло первым теплом снега,дохнула на окрестности молодым задорным дыханием весна, одел я бабусю поосновательнее, вынес во двор... Да, на глазах иссохло и таяло ее тщедушное тельце, все меньше клокотало в нем жизни. Кусая губы, пряча глаза, усадил я бабулю в вынесенное из горенки кресло...

— Пошли тебе, господи, детонька, — торопливо, втягивая воздух, благодарила она. Бабка, ты бабуля моя... Натянулась на острых скулах кожа, глаза поблекли, словно зола на погасшем костре...

— Ты, детонька, не гляди на меня, старую, ты работу свою работай...

— Хорошо, бабуля.

Взял я топор да калитку, что в огород ведет, чинить принялся. Худо затворяется, надо боковины пообтесать. Ну, и досточку эту вот не минешь менять... И эту... и вот эту тоже... Словом, вник в дело, озаботился, а бабулю, похоже, поговорить потянуло.

— Дитенок, слышь-ка чего скажу?

— Ну-ка, ну-ка...

— Это вот с таких, как я людей, раньше, наверное, алангасаров³ понапридумывали. Излом, да вывих, гляннуть страшно. Единым днем все в жизни меняется, — конфузливо и виновато усмехается она и — меня ли, себя ли самое? — спрашивает:

— Это сколько же раз калитку ту самую мне отворять да закрывать пришлось? Скрип-скрип, стук-стук...

— Много, бабуль... Несчетно раз. И впредь отворять-затворять будешь, — успокоительно заверяю я.

— Да уж нет, видать, дитенок... Годы не уроды, их, как вон досточки-то твои, не переменишь...

— Что с тобою сегодня, бабушка? Сейчас только жить да радоваться. Ну, и ученые, знаешь, сейчас всем миром бьются, как жизнь человеческую продлить. Ученые головы, сообразят что-нибудь...

— Пуцай продлевают. Во здравие. Не мне уж. Устала.. Ох, притомилась я, дитенок!

— Все ладно будет, бабуля! — я с маху воткнул топор в столб.

— На днях вот в город поедem, в больницу. Это не наш райздрав, врачи хорошие, во всех хворостях разберутся. Гляди, плясать еще пойдешь!

— Отплясала я свое, дитенок... — тихо усмехается бабушка. — Мои дороги домерены, видать. Тело тут еще, а душа.. она, миленький, уж к рекам тронулась, к рекам...

— Фершал, чо ли, позавчера сказал? — паникую я.

— Да уж он-то... Он, может, и знает, да не скажет. Ты мне сказал, ты, детонька!

³Алангасары — великаны, отрицательные силы в фольклоре удмуртского народа, видом не очень привлекательные

— Я-а?! Когда? Бабуль, с тобой ладно ли? — я тороплюсь к ней, уязвленный ее словами в самое сердце.

— А сейчас вот сию минуточку и сказал... И твоё ведь, дитенок, времечко бежит, катится. Свистать-то во время работы забыл, а? — тихо и лукаво смеется она. — Канула твоя песенная пора, время соловьиное. А твоя канула — что уж о моей говорить? Ты слышь-ко, вот бы чего... Ты бы, дитенок, сегодня прекословить не стану я, не стану, ты бы посвистал маленько, а? Ну, хоть нашу «Ялыке»? Не пообидь, потешь напоследок...

...Бабка ты, бабуля моя.. Оно и посвистать бы, потешить — да отчего-то язык присох к гортани?..

Нить

Сидел он рано поутру у изголовья матери, умирающей, уходящей по вечному пути — вниз по реке жизни. Свеча её жизни еле колебалась на ветру.

А ветра не было в глухой больничной палате. А были вдохи и выдохи ее — хриплые и безнадежные. Натруженные пальцы рук старой женщины судорожно теребили конец простыни на груди, будто бы отщипывали шерсть с веретена.

Может, ей хотелось и дольше пряхть свою жизненную нить. А может, просто закончить начатое дело.

А нить судьбы её уже обрывалась, хоть не такой уж длинной она и была.

— А домовину мне сколотите сами. Обратись к Ондырьяну — плотнику. Руки у него золотые. Сделает гроб мне, как лодочку. Лёгкую и сухую. Без сучков. А за труды отдай ему пенжак отцовский... Царствие ему небесное — Поликарпушке... Путевому. Умнее его — дурака, и не было у нас в деревне. И на работе, и на пирушке — везде был первый.

Он слушал материнскую речь сгорбившись. Будто брёвна падали на его спину, слова матери — тяжёлые и неподъёмные.

Слёзы застилали глаза. Но сухи были его щёки, обветренные на полях и на реках. Сквозь марево он будто видел свою мать на лугу. Вжич! Вжич! Пела острая коса в ее руках. Тонких, но сильных. Твердых и теплых.

Цветы луговые со вздохом падают к её расставленным ногам, каждым пальцем своим вбирающим силу земную.

А солнце почему-то зелёное, небо — розовое. Лишь река голубела вдали вороненой сталью.

И слышал он сейчас на голове своей седоватой все пять пальцев ладони материнской шершавой — большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Слышал, а понять о чем говорят — не мог.

— В землю положите с бабушкой твоей рядышком. Авось, и встретимся там с маманей. И настелите хороших полатев, чтобы земля не сразу осела. Боязно ведь... Копать позови мужиков: Микола, Очя и Юбера. Хваткие они. И роду нашего ж — Шудзя. Сразу им не наливай. Это уж потом угости, одари и даром памятным. Не-то и как-то... Рушничок там аль платочек носовой...

Большая муха покружила и лениво села на его руку. Откуда она здесь взялась?

Но руку свою он не отдернул. Хотелось, чтобы эта муха была пчелой и ужалила его.

И тогда он побежал бы к матери. Пожаловаться на боль. И подула бы она нежно на ужаленную руку, намазала бы настоем клея того же пчелиного, разведя его в капле мутного первача. И стало бы легче.

— А саван пусть сошьет мне Дыдык апай — раскроем нашим, удмуртским... Имя и руки ее — голубиные, легкие и добрые. За работу же отдай ей платок оренбургский, что ты мне с армии привез. Не жалея. Не повязать уж мне его на голову. А Дыдык апай долго ещё будет носить... Хоть она и старше меня, но жилка в ней крепче. Сердце у неё сильное, не в пример моему — корявому...

Теперь он видел платок тот оренбургский. Тёплый и добрый. На сэкономленные его солдатские деньги им и купленный. Давно, в золотые его времена. И потому — неимоверно дорогой.

— А на сороковины всех собери. Никого не обдели, слышь? Каждому что-то в памятку отдай, мелочь какую. А то не по-людски будет. Сам не пей. Коль не умеешь... Это уж как поминальщики уйдут — тогда можно. Денег возьми у кума Микты. Я ему оставляла на похороны. Должно хватить. Скромно. И на церкву тоже. Сынок, связала я тебе носок один, второй вот не успела. А куда же я заготовку вторую девала? Первый носок — в сундуке. А где же недовязанный?

И снова теребила пальцами по простыне. Будто пряла нить шерстяную.

Но уж с громом захлопнулись крышки древних сундуков — упали веки умирающей. И замерли руки её.

Как у Матери Божьей, образ чей лежал на груди материнской, считай, уж с неделю. Крохотный такой, с детскую ладошку.

Он встал и посмотрел на неё — построжавшую. Хотелось залпом заплеснуть в себя стакан белой и тут же занюхать её хлебной коркой.

Но матушка ведь не разрешила... И тут он услышал шёпот. Откуда?

— Семью свою береги. А обо мне не тужи, бедный ты мой. Сирота ты теперь круглая... Обо мне не убивайся шибко, от этого тяжело мне будет уходить... Отпусти меня хорошо... Не я — первая, не ты будешь — последним... А нить останется... Святый Боже...

А за окном, как усталый мерин, понуро стоял ранний октябрьский день. В больнице пахло палыми яблоками. Как ладаном.

Приторная сладость разливалась по казенным углам и обволакивала их и его, как матушка в детстве — в пелёнки. Из ткани белой. Вытканной из нити шерстяной.

И не разорвать уж объятий той ткани вовек.

Яблоки падали где-то в прелые листья. Яблоки падали в прелые листья и рядом. Тук! Тук! Тук! Так... так... так...

Чужой

Пришлого человека деревенский народ с первых же дней всесторонне исследует, не слаб ли насчет этого — самодельного или купленного за красненькую, характером не гордец ли, на работу сноровист или нет, да и в кармане хрустит ли. Смотрят люди на него и друг с дружкой мыслями делятся. А сам приезжий ни одного, конечно, слова пока о себе не услышит, до поры...

Ну, а если он держится особняком, и всю ночь горит у него свет в окне — ему сначала удивляются, потом перемигиваются друг с дружкой, а потом недолго и до насмешек. По-деревенски хлестких и не одним автором продуманных.

Именно таким человеком стал Георгий. Имя его узнали, когда он писал в конторе заявление о приеме в колхоз. Георгий-то Георгий — да больно уж честь велика! Ибо добиться новичку в старинной деревне, со своим укладом, права ношения имени — не так-то и легко. И для начала пускай попользуется прозвищем — Тури, Журавль. А там видно будет. А прозвище, между прочим, не случайное, так как он журавль и есть: длинный, голенастый, а при ходьбе руками машет, как крыльями — видали, да? В общем, Тури есть Тури, другого имени ему нет — пока. А там уж как себя покажет...

Поместили Тури на квартиру к разбитной вдовушке — Анисье. Была она резва на язык, недурна собой. Но не повезло Анисье на мужа. Золотые руки имел, да сгубила горькая. Вот уж третий год вдовствует Анисья. Несладко, конечно, ей. И дров запасти, и сена накопить, и животину держать... Какое же хозяйство без мужичьих рук? Бригадир подумал над этим и с дальним прицелом определил агронома именно к Анисье.

«Ну, — решили деревенские кумушки, — раздобреет теперь Анисья-то». А мужики поглядывали с хитрецей. Но прошла неделя, и Анисья все хорошие и нехорошие подозрения разом развеяла.

— Э-э, бабоньки, че и подумать-то, в голову нейдет! — выдала она разок у магазина самое сокровенное. — Да чего это за мужик-то? Одно слово — Тури! Вроде бы с виду-то ничо он... Да ладно, не воду пить. И не пьет, и не курит, ну? А на меня — ноль внимания. Все только по батюшке — «Анисья Павловна, Анисья Павловна, тыры-пыры, тыры-пыры». И краснеет, как девка. И чего-то все пишет. Пишет, пишет, потом вскочит — туда-сюда по избе, и все порвет. Что за человек?

«Хм...» — многозначительно посмотрели тогда домовитые хозяйственные мужики друг на друга. Взгляды деревенские обкатаны многими водами многих жизненных рек — нет, не понравился деревне новый агроном. Во-первых, семьи у него нет, что за справный мужик будет, раз четвертый уже десяток разменивать начал, а ни кола ни двора, ни жены, ни детей. Да и с Анисьей, посчитали деревенские, во-вторых, можно было бы и почеловечней. Не шалава ведь какая... Не-ет, вроде бы и работает новый агроном нормально, и с человеком поздоровается вежливо, но взгляд у него какой-то нездешний.

В общем, не понравился Тури деревне, и все.

А тут и Новый год подоспел, а за ним — ряжения. Мы, деревенская молодежь, обрядившись во что попало — на одном вывернутая шуба, у другого рога, третий и так на черта похож, никого не узнаешь, — весь вечер ходили из дома в дом, желали хозяевам доброго урожая. Бесилась гармонь. Бесился ветер, пиная проплешины сугробов — но разве до него по такому веселью? Да и месяц нам весело подмигивает, то и дело выбегая из-за рваных туч...

А настрояние самое отменное!

Под валенками задорно скрипит снег.

А девушки — одна другой красивее. Всех бы обнять — да убегают!

Наверно, по всем домам прошлись. От лихих плясок уже и ноги дрожат — устали.

С шутками, песнями, прибаутками вышли к околице. Огляделись. Лишь в одном доме горел свет — у Анисьи.

— Парни, девчонки, айда и к Тури зайдем! — предложил кто-то.

— А что? В нашей деревне живет — пусть уважает! Пошли! — поддержали дружно.

И вот человек десять, громыхая по лестнице, зашли мы к Тури. Дверь широко распахнулась, сглотнув клубы пара. Тури сидел за столом, сгорбившись, и что-то писал.

— Славьтесь, хозяева! Как живете — хлеб едите? — хором поздоровались мы. Тури удивленно привстал. Наверно, перепугался.

— Заходите, заходите, — неуверенно промолвил он.

— Славим хозяев, счастья желаем, пусть хлеба ваши до пояса поднимутся, а стога чтобы бесчисленными были!

— Спасибо, спасибо... — Потом спохватился: — Да что же я расслаживаюсь-то тут! Я сейчас, сейчас же, — устремился он в кухню и начал там чем-то греметь.

А я подошел к столу и присмотрелся: н-да! да это же стихи! Значит, Тури стихи пишет. Упадешь — не встанешь! И не подумаешь ведь! Хотя — кто его знает, этого сундука...

*Белый, как птичье перо,
Волос нашел я у себя —
Первый в моей жизни...
Перо к перу — будет крыло,
Годы идут — куда мне лететь?
С кем мне лететь?
...Вырастают крылья...*

— Фи-и-уть, — длинно присвистнул стоящий рядом товарищ. Рукой в несмываемом тракторном мазуте тронул он исписанные листы. — Значит, наш Тури — Пушкин...

Тури выбежал из кухни, в руках — разные тарелки, кружки.

— Садитесь, садитесь, ребята, ешьте, пейте! Вот соленые огурцы, грибы, — суетился он, может, и радуясь. — А Анисья Павловна в гостях...

Рванул мехи гармонист. И полилась плясовая.

— Эх, парни-девки! Спляшем-споем нашенскую!

Все ринулись в узкий круг. Эх, и топочут-щелкают! Но вот кто-то задел этажерку — все книги бухнулись на пол. Кто-то толкнул тарелки на столе — они звякнули, посыпались, звонко разлетелись в осколки. Эх, не до тарелок гармонисту! Быстро бегают его упругие пальцы по кнопочкам.

*Эх, красивы ж мы, красивы.
Эх, красиво пляшем мы!
Как лягушки с бережка —
Дрыгаем мы ножками. И — эх!*

И Тури застыл в удивлении. Молчит.

Молчи! Вот тебе, на тебе, рифмоплет ты агрономический! Уважай! Уважай нас! Смотри и учись, коль без году неделя...

И вдруг гармонист смолк. Все смотрят на Тури. Обреченным влажным блеском моргают его глаза.

А потом, отшатнувшись, как от удара в грудь, он закрыл лицо руками и выбежал из дома. Без пальто. На улицу. В январь.

— Тури, да ты чего, не дури!

— Мы же пошутили только! Эй, поэт, вернись!..

— Ай, да чего с ним будет! Остынет — зайдет. Не пьяный ведь... — отмахнулся кто-то.

Но веселье испортилось. Настроение подсело, потихоньку, вполголоса переговариваясь, пошли по домам...

Да и месяц спрятался куда-то. А ветер стал еще крепче, теперь уже холодный и злой, пронизывающий.

...Назавтра я повстречал Тури в колхозной конторе. Мне нужно было сдать путевые листы. «А Тури заявление об уходе пишет», — пояснила мне молодая девушка-бухгалтер. Аккуратно поставив точку на своем заявлении, Тури встал и тяжело шагнул к двери.

Прямо перед выходом он быстро обернулся и проговорил хриплым голосом:

— Это сегодня вы ряженные. А вчера, вчера... вы были в истинном обличи! Прощайте...

И тогда я застыл. Надолго. Тури уехал из деревни неизвестно куда.

Многие вовсе забыли незадачливого пришлого человека. А некоторые вспоминали — со смехом или с равнодушным удивлением. А у меня по сей день горит лицо со стыда. Где ты сейчас, Георгий? Слушай, ты не сердись на меня... А годы идут. Вот и в моих волосах появляются белые перья. А крылья...



МАКСИМ ОРЛОВ



Былого перевёрнута страница...

Уроки черчения

Вижу тебя, золотое сечение —
мытарств моих поперечный разрез.
Вся моя жизнь — обстоятельств стечение
и обязательств надуманных пресс.

Строгим весьма был Учитель Черчения,
не беспричинно меня попрекал...
Знать, оттого моей жизни течение —
контур по граням шаблонных лекал.

Мной нарушались каноны черчения —
Линч над собою чиню до сих пор...
Пустопорожни о прошлом речения,
как и банален о нынешнем ор.

Жить на Земле, несомненно, фантастика!
И не беда, что грешил транспортир.
Мне не найти подходящего ластика —
ватман судьбы поистёрся до дыр.

ОРЛОВ Максим Томасович родился в 1956 г. в Улан-Баторе. Автор трёх поэтических сборников. Подборки стихотворений публиковались в журналах «Юность», «Сибирь», антологии «Бег времени», в «Литературной газете» и др. Опубликовал ряд литературно-публицистических статей о творчестве Леонида Мартынова и несколько критических статей. Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

Этюд № 4

Опять не получается закат,
очередной испорчен подмалёвок.
Набросок без страстей — из недомолвок —
не поэтичен, а аляповат.

Быть может, про закат писать не след,
Сарьян не стал слепым от солнцепёка...
Взывать к сочувствию — банальна подоплёка
псевдомытарств, а не жестоких бед.

А может в пику, обессмертить ночь,
подобно академику Куинджи...
Но туба с охрой оказалась ближе,
на время сажу убираю прочь.

Этюд № 5

Настал октябрь... Светла Покрова гжель,
хотя не вся земля покрыта снегом.
Повсюду — серо-грязная пастель,
и паберега не белá, а пега.

Местами смачно чавкает мокреть —
зима пришла, но злобствует вполсилы.
Ещё не срок России околеть,
не тот мороз, чтоб околеть России.

Пользителен мне тутошний мороз,
ведь я чалдон кержацкого подмеса...
До мая не услышу грозных гроз.
Опустошённо, серо и белесо.

Хотя я жизнь обворовал как тать —
в сухом остатке ямбы да хореи,
но на душе — покой и благодать,
до Братска не дошли ещё бореи.

Мгновение хочу запечатлеть
без вычура ненатуральных красок,
не будоража колокола медь,
не надрывая беспричинно связок.

Сиюминутность эту сохранить,
не расчленять на «будет» и на «было».
Сучить словес рифмованную нить...
Я не звонарь, а мой язык — не било.

Озноб

Устав от гнёта городских хвороб,
вхожу с моста в посёлок Постоянный,
и его облик, в целом деревянный,
ввергает в неожиданный озноб.

Топчу трещиноватый тротуар,
о гачи бьются стебли иван-чая.
Знакомые приметы привечаю
и открываю старый портсигар.

С крыльца взирает местный рыжий кот —
он служит понятым у лукоморья.
Преодолев посёлочное взгорье,
ищу полузабытый поворот.

Ещё чуть-чуть — и вот он, отчий дом...
Заменена на новую ограда...
А облик незабвенного фасада
такой же, как и в семьдесят шестом.

Транжира времени и юношества мот
не разорвал с двадцатым веком звенья:
реальным показалось наважденье —
на ужин меня матушка зовёт.

Хозяев нет. В дверях другой замок.
Из-под стрехи вспорхнула ввысь синица.
Былого перевернута страница,
заученная мною назубок.

Разность потенциалов

Ах ты, совесть моя, диссидентка!
Слышу твой протестующий глас —
вопиешь из сердечных застенков.
Чем тебя огорчил в этот раз?

Укоряешь меня и перечишь:
то не эдак и это не так.
О свободе не может быть речи,
жизнь моя — настоящий ГУЛАГ.

Велика разность потенциалов
между лъзя и полярным нельзя.
Как бы совесть не унижжала,
с ней, похоже, ровнее стезя.

Но пока не причислены к ретро,
не настиг нас последний недуг,
пусть зашкалят все разом вольтметры
от накала тех вольтовых дуг.

* * *

Настало времечко итожить...
Влюблялся чаще, чем любил.
То без причин себя треножил,
то истощался сердца пыл.

Не сожалею ни на йоту,
себя не буду яро клясть —
любовь не превращал в работу,
когда повелевала страсть.

Как будто собраны все камни
и белых нет в шкафу одежд,
но не закрыты ещё ставни
для всех несбывшихся надежд.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



Русь моя с её раздольем

* * *

О, как прекрасен зимний лес,
Одетый в иней!
Над ним струится свет небес
Прозрачно-синий.
И синим звоном тишина
Над головою,
И слух напрягся, как струна,
На всё живое.
...Лишь дятел где-то в вышине
Над сонной Обью

Стрельнёт по этой тишине
Короткой дробью...
Да пламя рыжего хвоста,
Как след кометы,
Мелькнёт в заснеженных кустах,
Мелькнёт — и нету.
...И луч сквозь кружево вершин,
Пробившись с неба,
Коснется сумерек души
Мерцаньем снега.

КОРНИЛОВ Владимир Васильевич родился в 1947 г. в Октябрьском районе Челябинской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. В.В. Корнилов — дважды лауреат Международного конкурса «Звезда полей» им. Николая Рубцова; Международных фестивалей культуры и литературы «Славянские традиции» (Крым, 2010, 2012); литературных премий им. В. Даля и им. Ю. Каплана; II Международного фестиваля «Звезда Рождества-2014» (Украина, г. Запорожье); Международного конкурса «Лучшая книга года-2014» (Берлин); обладатель международной Гомеровской премии, а также премий им. А.В. Кольцова и Н.А. Некрасова на фестивалях «Зов Нимфея» (Крым, 2012–2015); обладатель «Золотого диплома» и медали за лучшую книгу избранных стихотворений «Исповедь» среди европейских издательств (г. Лейпциг, 2015); Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша-2018» им. Н.С. Лескова. Автор многих книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

* * *

Русь моя с её раздольем,	В запорошенных беседках —
Хрусткий наст январским днем.	Смех серебряный звенит...
И горит... горит по вздолям	Сам мороз, крутой по-русски, —
Снег малиновым огнем...	Людам взбадривает кровь.
Кружева на снежных ветках.	...И глядит на мир без грусти
В блёстках солнечный зенит.	Светлым праздником Любовь.

В крещенское утро

Владимиру Скифу

Кто этот наездник, что в желтом седле
По небу рискнул прокатиться?
И вместе с конем растворился во мгле —
Лишь облако следом клубится...

Как будто востока незримый огонь
Он видел сквозь сумрак морозный.
От быстрого бега заиндевел конь.
Хрустят под копытами звезды.

...А здесь, на земле, в этот утренний час
От стужи стонали деревья...
Да всадник, на жарком коне горячась,
Промчался стремглав по деревне.

На Рождество Христово

1

Мглистый день, продрогнув к вечеру,
Будит зябко тишину.
Но вселенского диспетчера
В январе я не кляню...
Хоть в прогнозах стал он путаться, —
К ним относится с ленцой, —
Не впервой нам в шубы кутаться
И скакать весь день трусцой...
На его промашки зимние
Нам укажет божий перст.
...Глянь! — И впрямь в искристом инее
Рождество царит окрест!

2

Воздух хрустящ и по-зимнему сладок, —
Как карамель.

Вновь закружил нас и внёс беспорядок
Праздничный хмель...
Весело, людно в такие минуты —
Сердце поёт.
Бог, разорвав наши тяжкие путы,
Крылья даёт...
Души светлеют в морозную роздымь
От волшебства.
Небо становится гулким и звёздным
В дни Рождества...
Теплятся свечи на горних иконах —
Мир и покой.
...Кается исповедально в поклонах
Грех наш людской.

В Сибири

Словно сказка живая	Коль метель, — то до неба,
В расписных теремах, —	В рост медвежий снега́.
Так Сибирь вековая	Здесь не меряно хлеба
Нынче вся в кружевах	И богата тайга.
...Зимний утренний мóрок	Здесь вином и закуской
Всюду мглист и тягуч.	В праздник вас угостят.
За окном минус сорок —	Коли пир, — так по-русски,
Даже воздух колюч.	А обиду простят.
А мороз — аж дымитесь...	Если горе без меры —
В белых шубах дома́...	Боль разделят и грусть.
Но в сибирской столице	...Не живут здесь без веры
Мне по нраву зима.	В Православную Русь.

Медовый Спас

Вновь на пасеке, в беседке,	Крепок русским самоваром,
Нынче празднуют у нас.	Банькой русской с жарким паром
На столе в цветной розетке	Да медовым ремеслом.
Свежий мёд... Медовый Спас.	У гостей зарделись лица —
Тут же — всякие закуски:	В них прибавилось страстей.
Грузди, лещ, мясной отвар.	Пожурили всласть столицу.
И над всем царит по-русски —	Депутатов всех мастей...
Правит Тульский самовар.	И зашвыркали из блюдец,
Он попыхивает жаром —	Осенив себя перстом.
Вьётся струйка над столом.	...В Спас Медовый да сольются
Русский дух у нас недаром	Души праведных с Христом!

Разливанное счастье

Любимой Тонечке

Радуюсь я родовому гнездовью:	Данной мне Богом и неистребимой
Дочери с сыном, внучатам своим.	Верой в гармонию жизни самой...
Этот очаг создавал я с любовью —	Радуюсь я затяжному ненастью,
И на любви мы его сохраним...	Зыбким и призрачным дням за окном.
Радуюсь долгому счастью с любимой	...Льётся с небес разливанное счастье,
Женщиной, вместе живущей со мной, —	Душу томя мне осенним вином.

Праздник лета

Свежей зеленью как-то сразу
Лето брызнуло нам в глаза.
Море синее, небо синее,
Зорь веселые паруса.
...Нынче май был подобен осени:
Он метелил, дождил и дул.
Лето вновь опоило росами
Солнца рыжего тамаду.
И пошли они, и поехали
Прямо в гору на всех рысях.
Им загикали вслед, заехали,
В этом празднике все и всяк.
...Эх, Расеюшка, леший за ногу,
Вздуй поярче для них рассвет!
Видишь, мчатся хмельные заново
Куролеса на «красный» свет!..
Всё ликует, поёт и светится.
В бубен яростно лупит гром.
Этот праздник, длиной в три месяца,
Нам оплачивать серебром.
Серебром да червонным золотом —
Осень строгий предъявит счёт.
...Но пирует светло и молодо
Лето красное — дни не в счёт!

Овдовела земля

Владимиру Ивановичу Смирнову

Неужели земля	Ни семян, ни идей
Стала нынче вдовою?	Не взрастили при этом...
Зарастают поля	Словно нечисть сама
Сорной злыдень-травой...	Поощряет беспечных.
Сколько праздных людей	Умирают дома
Прохлаждаются летом?!	В деревеньках заречных.

...Прежде славили здесь	И свихнулась страна,
Православные будни.	Воспевая Иуду.
В фарисейскую лесть	...Овдовела земля
Вдруг поверили люди.	Без хозяина-мужа,
Всем сулили сполна	Страстно Бога моля,
Жизнь, подобную чуду, —	Впредь чтоб не было хуже.

Малиновый закат

Печаль земных утрат	Малиновый закат
И всё, что есть — под Богом...	Пронизан лёгкой дрожью...
В малиновый закат	Ему, как другу, рад —
Мне вспомнилось о многом...	И тем душа согрета.
В нём звонкий гимн цикад	Малиновый закат
И пенье птах над рожью.	Сúлит нам щедрость лета.

Ода гармонии

Памяти Геннадия Заволокина

Народной песней, Заволокин,
 Сумев Россию разбудить,
 Ты не носил при жизни смокинг:
 Стеснялся барином ходить.
 ...Презревший в музах верхоглядство,
 Ты и гармонии не жалел,
 Вокруг себя рождая братство
 Веселых праздничных капелл...
 Гармонь-подруга запевала,
 Раскрыв серебряны уста,
 В руках умелых ликовала,
 Российским голосом чиста...
 Душа была еще в полёте,
 А в горле стыл уже комок,
 Когда на самой звонкой ноте
 Твой голос трепетный умолк.
 ...О, как гармонь твоя умела
 Нас песней русскою сроднить!
 И вот она осиротела...
 Оборвалась живая нить.

Горожанки

В дни страды на празднике земном,
 Свято чтя её обычай древний,
 На току, заваленном зерном,

Горожанки трудятся в деревне.
Непривычен им крестьянский труд.
Тяжелы шершавые лопаты.
Только от мозолей не ревут —
Уж такие русские девчата...
Соберутся в клубе вечером.
День в степи погаснет за стогами.
Выйдет в пляс иная с пареньком, —
Брызнет дробь под звонким каблуком,
Дрогнут половицы под ногами...
Сколько страсти в танце озорном?!
На Руси танцуют так издрёвле.
...На току, заваленном зерном,
Горожанки трудятся в деревне.

Судьба поэта

Памяти Юрия Черных

Судьба поэта не щадила
И от невзгод не берегла.
Она в него тоской входила —
И безысходностью ожгла...
А он еще горел и грезил,
Души не чувствуя озноб.
К друзьям на чашку чая ездил,
Писал стихи и жил взахлёб...
Но путь земной уж был отмерен
Ему жестокою судьбой.
Поэт вздохнул и хлопнул дверью,
Увидев вечность пред собой...
Последний вскрик души разбитой
Донёс нам неземной привет.
...Он в жизни был не именитый,
Но удивительный поэт.

ЮРИЙ РОЗОВСКИЙ



Как коротко и ёмко слово Русь...

Великоросс

Купает конь свои копыта
В траве, омытой влагой рос.
На нем сидит, кольчугой скрытый,
Могучий муж — великий Росс.

Он до сих пор на ратной страже,
Он Русь свою готов спасти.
И тать любой побитым ляжет,
Когда надумает прийти,

Корыстью движим, на просторы
И в веси русские извне.
Он встретит всадника, который,
С мечом, в доспехах, на коне,

Корыстолюбца озадачит,
Да не шутейно, а всерьёз.
И будет мир, куда скачет
Землёй своей ВЕЛИКОРОСС.

РОЗОВСКИЙ Юрий Витальевич родился в 1963 году в пос. Чистоозёрное Новосибирской области. Автор поэтических сборников «Не опаздывайте жить» (Иркутск, 2000), «Совсем немного до рассвета» (Иркутск, 2001), «Медовый ветер» (Иркутск, 2006), «Царь — бобыль и волшебные грибы» (Братск, 2009), «С любовью» (Иркутск, 2013), «Забавные истории» (Братск, 2014), «Стихи на балконе» (Братск, 2017). Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского, в номинации поэзия «За верность русской поэтической школе» (2015), серебряный лауреат премии «Золотое перо Руси» (2012). Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

Совесть

Совесть — такое слово.	Сила добра и света,
Или такая участь?	Сила прямого взгляда,
Что заставляет снова	
Душу сомнением мучать	И не удара в спину
	И обращения к вере.
И задавать вопросы,	Чтоб не наполовину
С логикой часто ссорясь?	Верить, а в полной мере.
Может быть, это просто	
Слабость людская — совесть?	Что же такое совесть?
	Миф, что из сказок выжат?
Или же сила это,	Или спасенье, то есть
Сила, в которой правда,	То, без чего не выжить.

Я русский по праву

Я русский и всю жизнь живу в России,
Среди ромашек русских и берёз.
Средь русских трав, что под росой скосили
Среди веселья русского и слёз.

Я русский и всю жизнь в Россию верю,
И в Бога верую, что Русь мою спасёт,
Застолью русскому и русскому похмелью.
Я свято верю в русское во всё.

Я русский, и язык мне мой по нраву,
Он мне милее прочих языков.
Я русский по рождению, по праву,
По месту написания стихов.

Парк у вокзала

Парк у вокзала — место для свиданий
В любом провинциальном городке,
Стоял у окон зала ожиданий
Метатель с диском в гипсовой руке.

Пружину дверь входная отрывала,
Работая со скрипом, на излом.
Неподалёку девушка стояла
В купальнике и с гипсовым веслом.

Давно тех статуй нет, исчезли все,
Уж не встречают каждый эшелон.
Но память их как символы рисует
Советских приснопамятных времён.

Я так люблю свой дом

Я так люблю свой дом, с цветами у балкона,
Где ветер тянет тюль в распахнутый проём.
С божницей у окна, где каждая икона
О Боге говорит и слушает о Нём.

Я так люблю свой дом, с картинами по стенам,
Которые мой друг когда-то написал.
Люблю диван в углу и в возрасте почтенном,
Люблю гостей, на нём сидящих, голоса.

Я так люблю уют, наполненный любовью,
Где звук твоих шагов пока ещё не стих.
Где смотрят на меня, то радостно, то с болью
Уставшие глаза родителей моих.

Я здесь порой люблю побыть с самим собою,
С собой поговорить об этом и о том.
Люблю, когда стихи весёлою гурьбою,
А то по одному ко мне приходят в дом.

Люблю, что тополя шумят со мною рядом,
Что с ними двор один уж много лет делю.
И тополиный пух люблю, летящий на́ дом.
Я так люблю свой дом, я так его люблю!

Осенний ресторанчик

Мне как-то веселее стало, что ли.
Пенёк с декором высохшей коры,
Как будто бы заказанный мной столик,
Осенний ветер листьями накрыл.

Опята, словно свежие салфетки.
Дресс-код проводит сгорбленный канюк¹.
А на краю пенька кусок газетки
Улёгся предлагаемым меню.

Меня здесь ждут всегда и рады очень.
Осиновые листья вместо роз
Я подарю тебе. И если хочешь,
Я попрошу, чтоб спел нам песню дрозд.

Официанты — белочка в манишке
И шустрый полосатый бурундук

¹Канюк — хищная птица

Предложат нам с тобой грибы и шишки
И прочую осеннюю еду.

И принесут нам ягоды с тобою
И много ещё разного всего.
Я расплачусь листвою золотою,
Мне для тебя не жалко ничего.

Пусть тёплый воздух осени обманчив,
Но мы с тобой сюда пришли не зря.
И не забудем этот ресторанчик,
Осенний ресторанчик сентября.

На покосе

Солнце лба ещё не греет.
Росы в отблесках зари.
Утро, роща, а за нею
Точат косы косари.

Пара штук в лицо вопьётся,
Заворчит в сердцах мужик.
И косою размахнётся,
Да как даст с оттяжкой «вж-ж-ик».

Точат, жала отбивают.
Глазу их труды любви.
А иначе не бывает
И сноровистой косьбы.

Слева «вж-ж-ик», и тут же справа.
Сзади, эхом средь берёз,
Дружно вжикает дубрава,
Начинается покос.

Дело сделано, ложится
В руку длинное косьё².
Шаг в росу, и вверх взроится
Звонкой стаей комарьё.

И тогда пьянящий, тонкий
Разнесут вокруг ветра
Запах срезанных литовкой,
Только что стоявших трав.

Буря

Везли людей таксомоторы,
В осенних куртках и пальто.
Сливался в щёлканье затворов
Звук открываемых зонтов.

И с крыш плевались водостоки
На выходящих из машин.
В дождя потоках шли потоки
Осенних женщин и мужчин.

А небо словно полыхало,
Гремя, рассерженно тряслось,

И ветром зонтики ломало,
На них свою срывая злость.

Оно пронзительно свистело,
И даже показалось мне,
Что это демон Азazelло
Верхом на угольном коне

Промчался вкупе с малой свитой,
Желаньем Воланда гоним,
Что это Мастер с Маргаритой
Неслись во весь опор за ним.

²Косьё — рукоять косы

Проводы зимы

Крыша вздыбилась вздохом весенним,
Одеяло из снега задрал.
Март. Прощённое — всех — воскресенье
Извинить его просит с утра.

Всё сегодня прощается, даже
Не прощённому раньше врагу.
И блины испечённые мажут
Люди маслом, и чучело жгут.

Столб ошкуренный парни штурмуют,
Смех и крик заглушают слова:
— Эй! Рябую снимайте, рябую!
— Самовар забирай! Самовар!

Клетку с курицей ветром колышет,
Самовар на верёвке повис.
Сделал вид, что насмешек не слышит
Неудачник, сползающий вниз.

Тут поют, там танцуют вприсядку,
Забывая про всё впопыхах.
Мужичок разухабил трёхрядку
Так, что чуть не порвались меха.

Ребятня, как в снегу облепиха,
Угрождалась у горки гурьбой
И снежками кидается лихо,
И хохочет сама над собой.

Что ж такому веселью виною?
В чём причина такой кутерьмы?
Это новая встреча с весною,
Это проводы русской зимы.

* * *

Как коротко, как ёмко слово Русь,
Как радостно-легкопроизносимо!
Как будто, заплутавшее в бору,
Девичье-неспокойное «Ау!»,
Призывно пролетающее мимо.

Мило мне православие твоё
И долгое твоё многотерпенье,
Погосты, над крестами вороньё,
В мышиных норах жёлтое жнивье
И жаворонка радостное пенье.

Как движимые ветром ковыли,
Как небо над родимыми местами,
В котором горько плачут журавли,
Как хлебный дух, идущий от земли,
И церкви с золочеными крестами.

Живу тобой, дышу тобой, горжусь,
Другой судьбы себе не выбирая.
Твоей землёй когда-то уберусь.
Как коротко, как ёмко слово Русь,
И как в восторге сердце замирает!

Скрижали истории



АЛЕКСАНДР ШАРУНОВ

Подвижник

*Памяти архиепископа Иркутского, Читинского,
всего Дальнего Востока Вениамина III (Новицкого) 1900–1976*

*Печатается по благословению
Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима*



Владыка Вениамин

В студенческие годы многое казалось интересным: я изучал физику, электронику, радиотехнику. Увлечение было плодотворным — телевизор купить в нашей стране было сложно, и я собрал аппарат самостоятельно, вручную. С удовольствием ремонтировал телевизоры знакомым и незнакомым. Меня интересовала фотография. Я учился в политехническом институте и работал лаборантом кафедры физики. Прослушал сотни часов лекций по физике у лучших преподавателей Иркутска того времени.

Однажды, во время дежурства, секретарь кафедры пригласила меня к телефону и удивленно сказала: «Тебя вызывают из... епархиального управления!». И передала трубку. Приятный голос сообщил, что архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин просит встретиться с ним. Звонок меня весьма удивил, но согласился, из любопытства.

Я был воспитан в семье, в которой в разное время было два священника. Мать была весьма религиозна. С ней по праздникам приходилось бывать в различных храмах, не только в Иркутске. Мама работала на железной дороге, ей полагался бесплатный железнодорожный билет, и мы путешествовали в отпускное время. Подростком вместе с ней побывал в главных городах страны, посещали крупные монастыри, Лавры: Троице-Сергиевскую, Александро-Невскую, Киево-Печерскую, Почаевскую. Я достаточно хорошо знал правила поведения с духовными лицами, обрядность и обычаи православных. Эти путешествия оказали большое просветительское и развивающее влияние.

Чем мог заинтересовать студент епископа, духовное лицо, руководителя церковной общины на громадной территории, включающей Иркутскую и Читинскую области, весь Дальний Восток? В центральный, Знаменский собор Иркутска молодежь, мои сверстники, не ходили даже из интереса: можно было получить не-

приятности от коммунистических организаций и надолго испортить свою биографию. Епископская резиденция была для большинства прихожан неизведанной территорией. Архиепископ, в соответствии со своим статусом, на службе в храме получал максимальное почтение: его встречали, одевали и передевали в особые одежды, умывали руки специальные прислужники, иподьяконы. Во время служб используется особая церковная утварь. Служба торжественна, её сопровождает профессиональный архиерейский хор. О личной жизни владыки прихожанам известно мало, распространялись лишь неопределенные слухи.

И вот, в условленное время прислали автомобиль. Подъехали в Знаменский монастырь, к невысокому двухэтажному зданию — покоям архиепископа. Я прошел в приёмную, где со стен строго смотрели на посетителей большие живописные портреты епископов, святителей Иркутских. О моем появлении доложил секретарь, священник. Из двери вышел невысокий сухонький старичок, очень бледный, в простом черном подряснике, с кожаным поясом, в руках четки.



Владыка Вениамин

Его голова была абсолютно без волос, как-то склонялась к правому плечу. Это и был владыка, архиепископ Вениамин (Новицкий). Он взглянул на меня быстрым оценивающим взглядом удивительно ясных и глубоких глаз. Я подошел под благословление, сложив руки. Перекрестив меня, владыка взял меня за плечи, и мы троекратно поцеловались, точнее, слегка соприкоснулись щеками. Все это было неожиданно и трогательно.

Прошли в кабинет, меня усадили в кресло. Владыка пояснил, что он работает над созданием хора. Для этого используется запись на магнитофон тренировочных спевков хористов. Затем записи прослушиваются. Это позволяет певчим обнаруживать свои ошибки в исполнении, работать над их устранением. Имеются хорошие магнитофоны и человек, который управляет звукозаписью. Но аппаратура требует ухода, технических осмотров. Меня рекомендовали старушки-прихожанки. Предлагается проводить такие осмотры время от времени. Я согласился. Вызванный молодой келейник принёс два тяжелых магнитофона МАГ-59. Они назывались полупрофессиональными. Мы обсудили их достоинства и недостатки, и я совсем забыл, что беседую с епископом, настолько он был обаятелен в общении. Приветливый, вполне доступный хозяин интересовался всем: техническими характеристиками аппарата, типом используемой магнитной пленки, просил посоветовать — какой микрофон выбрать и как его лучше расположить для качественной записи. Беседа затянулась, наступил вечер. Владыка предложил вместе поужинать. Слегка робея, я согласился.

В соседней комнате, маленькой гостиной, был накрыт столик на двоих. Владыка, прочитав молитвы, мягко сказал: «У нас вина не пьют... Извините. Сейчас пост, угощайтесь». Была вареная картошечка, соленые грибы, кусочки рыбы. Тихая женщина принесла горячие котлетки из капусты с гречневым гарниром. Всё было вкусно приготовлено. Заметив, что я не брал рыбу, хозяин сказал: «Это

омуль, пожалуйста, пробуйте!». Замечу, что в то время омуль был в Иркутске необыкновенным дефицитом, его нельзя было купить, только «достать», и гречневую крупу тоже. Владыка Вениамин поинтересовался моей учебой, спросил, как организованы практические занятия в вузе. Я рассказал, почувствовал, что его интерес был искренним, и робость ушла. Мы договорились встретиться снова, уже для работы.

Вернувшись домой, я обсудил события с матерью. Она удивилась возникшей связи. Сказала, что владыка Вениамин необыкновенный человек духовного подвига: он хорошо образован, учился в Польше, магистр богословия, служил в одном из двух главных монастырей Украины — Почаевской лавре, много испытал, прошел лагеря, и сейчас у него сложные отношения с областным руководством и «конторой». Спросила: «Обычно начальство бывает заносчиво, высокомерно, чванливо, будь внимателен, как к тебе относились?». «Я ничего не заметил, владыка был естественно любезен, приветлив, радушен», — ответил я.

На следующей неделе мы встретились вновь. Над аппаратурой пришлось потрудиться несколько часов в кабинете владыки. Он с любопытством интересовался устройством сложного прибора, спрашивал, наблюдал. Вновь мы поужинали вместе. Во время ужина вошел гость, или посетитель, грузный священник. Он, настороженно рассматривая меня, заговорил по-польски. Хозяин мягко успокоил его, усадил за стол. После обсуждения погоды, разговор как-то перешел на церковные дела. Я ужинал, помалкивал, прислушивался к беседе. Владыка Вениамин заговорил о церковной среде. Он немного возбудился, говорил, что в храмах епархии безвкусно украшают иконы кружевом и цветами, свернутыми старушками из креповой бумаги. Сказал, что распорядился всё это убрать и освободить от украшений иконы в Крестовоздвиженском храме. Затем он высказался об облачении священнослужителей.

— Подрясник дьякона и священника должен быть только черного цвета! — сказал он, обращаясь к священнику. — Представляете, я видел какие-то серые подрясники, и даже кремового цвета! Это недопустимо! Существует Церковный Устав! — горячился он. Я вежливо откланялся и, закончив работу, собрался уходить. Однако владыка Вениамин задержал меня, задал неожиданный вопрос:

«А Вы знаете, что такое стереозвучание?» Я немного порассуждал на эту тему, признавшись, что слышал стерео только на выставке. Владыка провел меня вглубь кабинета, открыл картонную крышку стоящего там электропроигрывателя, она разъединялась на два громкоговорителя. Достал и установил долгоиграющую грампластинку. Все помещение заполнили очень реалистично звучащие колокольные звоны. Владыка любовался произведенным впечатлением.

— Это Ростовские звоны, — пояснил он. — В Советском Союзе в 1966 году фирма грамзаписи впервые записала колокольные звоны! Это новая, очень редкая пластинка. Православный колокольный звон на Руси — это духовный призыв. Русские колокола существенно отличаются от рафинированных карильонов западной культуры: в них присутствует определенный диссонанс, что непередаваемо чудесно. В карильоне католиков всё высчитано, нет особого «лица», Вы согласны?

— А вот, послушайте, ещё, — он установил другую пластинку. — Это концерт духовной музыки Ивана Козловского. Тоже редкость. Козловский мой земляк, с раннего детства пел в Киевском монастыре.

— Обратите внимание, какая легкость в верхнем регистре, отточенная дикция! Иван Семенович Козловский — безупречный вокалист. Вот его соло «Разбойника

благоразумного» Павла Григорьевича Чеснокова. — И добавил, как бы для себя, непонятное: — «Ексапостиларий»¹.

Хор пропел зачин, лилась стая легких звуков на славянском, церковном языке: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, *Господи*», довольно монотонно, и вдруг вступил тенор. Голос певца взметнулся высоко, необычно, звук мчался на какую-то неведомую вершину, распускаясь неведомым цветком. В храме на службах так обычно не поют. Но здесь такой взлет был уместен — ведь так и было, разбойник гибнет на кресте, страдает, взывает из последних сил ко Христу драматичной музыкальной фразой: «и мене древом крестным просвети... и спаси мя!». Мозг молящегося подстёгивает глубокая мысль: в душе разбойника произошла великая перемена. Разбойник смог на кресте, в обреченном на смерть человеке увидеть воплотившегося Бога. Несравненная сила веры! — «А вот ещё один вариант исполнения И. Козловским этого же произведения П.Г. Чеснокова».

Помолчав, владыка заметил: «Высшая степень виртуозности!». Мы разговорились о духовной церковной музыке, для меня профанной области. Общение проходило свободно, непринужденно. Я задавал непрофессиональные вопросы, владыка терпеливо отвечал. С моим утверждением: «Владыко, пение многих церковных хоров непонятно для слушателей, воспринимается тяжело», — согласился. Отметил, что это большая проблема Церкви. Среди певчих очень мало профессионалов с музыкальным образованием, трудно подобрать воцерковленных, требуется длительное время для духовного созревания, воспитания ответственного отношения к служебным песнопениям. Православие требует безусловной сознательности молитвы. Церковь никакой расплывчатости, неопределенности в этой области не допускает. В звуках необходимо передавать именно то, что требуется в дополнении к богослужебному слову. Для этого должно снискать благодатного духа церковного, даруемого Господом за глубоко благочестивую жизнь. Тем не менее, мы просим приходить к нам всех усердствующих петь и читать. Позже от келейника я узнал, что владыка прилагает много усилий для формирования слаженной работы хора. Хоровое пение записывается на магнитофон при главных службах, затем фонограмма нелицеприятно анализируется на спевках, отклонения устраняют.

Владыка Вениамин, заговорщицки улыбаясь, попросил меня прийти еще раз. Когда я явился, на письменном столе кабинета стояла большая коробка в необычных иностранных наклейках.

— Здесь самый современный, новый японский стереофонический магнитофон *Aiwa*. Его прислал мне в подарок епископ японский Николай. Давайте вместе разберёмся с инструкцией, она на английском языке. Я могу перевести текст, но не знаю терминологии. Помогите мне.

Мы сели рядом за стол, и работали довольно слаженно. Изучение в институте английского языка, которому уделялось мало внимания как предмету, вдруг пригодились мне.

— Что такое «паразитный ролик, запасной»? Зачем он?

— Что означает фраза «выдержать параметры стереобазы»?

Я пояснял. О чем-то догадались вместе. Провели пробную стереофоническую запись. Я уже освоился, совершенно не замечал разницы в возрасте, его обще-

¹Ексапостиларий; — (греч. ἑξαποστίλαριον; церковнославянское) короткие гимны утрени, 11 воскресных и 5 седмичных гимнов.

ственного положения, инвалидности своего партнера, но всё более ощущал мощное духовное обаяние незаурядной харизматической личности.

И вновь был предложен ужин. На этот раз за столом владыка спросил:

— Александр, расскажите о своей семье, с кем Вы живете?

Я пояснил, что, как и многие мои послевоенные ровесники, воспитывался в неполной, женской семье. Живу с мамой и бабушкой. Единственный мужчина, мой дядя, перед войной был выслан в лагеря Колымы. После освобождения этот прекрасный человек, «мастер золотые руки», спортсмен, прожил недолго. Он никогда не жаловался, для меня был образцовым мужчиной. В семье всегда верили в его невиновность, ждали более тринадцати лет.

Владыка задумался, как-то склонился ещё ниже за столом, затем выпрямился и сказал: «Я тоже провел в Магаданской области, в Севлаге, двенадцать лет. Там мучили многих безвинных людей. Много раз мог лишиться жизни. Но всегда уповал на Господа, верил, что смогу преодолеть все трудности. В лагере встретил и духовных варваров, неисправимых негодяев, духовных капитулянтов, и преследуемых, не теряющих духовной щедрости подвижников».

Он вышел из-за стола, и принес странную книгу. Текст в ней был аккуратно написан очень мелкими буквами от руки, на рыжей некачественной бумаге.

— Мой сокамерник знал Библию наизусть. И написал по памяти для меня Четвероевангелие в подарок на День Ангела. Очень дорожу его даром, пользуюсь на службах. Знаете, Александр, в безнадежных условиях ссылки я не допускал мыслей о поражении и дал обет: если Господь решит сохранить мою жизнь, и я буду освобожден от ссылки, то постараюсь вернуться к месту моей службы — на коленях!

Прерывисто вздохнул и добавил: «И я вернулся... на коленях». Потрясенный услышанным, я верил его словам безусловно, пытался вообразить, где находится Магадан, как можно добраться таким способом до любого места службы из таких мест? Собрался спросить, как это было, но тут секретарь пригласил владыку к телефону, а потом сообщил, что он очень занят. Мы встречались позже ещё, но разговаривать по душам мне с архиепископом больше не пришлось.

В когтях нацистской Сциллы

...знаю твои дела, и что ты живешь там,
где престол сатаны, и что содержишь имя
Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те
дни, в которые у вас, где живет сатана,
умерщвлен верный свидетель Мой ...

Откровение Иоанна Богослова

Встречи с удивительным пастырем, владыкой Вениамином, оставили яркий след в моем сознании. Захотелось узнать как можно больше о судьбе этого человека. Встречи со многими информированными современниками понемногу помогли составить достаточно полное представление о его удивительной судьбе и жизни. В ней можно условно выделить два периода: до посвящения, епископской хиротонии, и трагические события его жизни и борьбы в епископском сане. До недавнего времени события того времени стремились изъять из исторической памяти наро-

да. Сделать это легче всего путем замалчивания, как малоизвестные и малозначительные страницы отечественной истории. Между тем, перед исследователем судеб лиц духовного звания проявляется узел проблем: раскол в среде христиан (православие, униатство, обновленчество), нацистский атеизм, коммунистический атеизм. Становится очевидным Торжество Православия в конечном итоге. Рассматривая вопросы в персонифицированном аспекте, автор сталкивается с необходимостью выверять методологические и нравственные подходы, строить взвешенные оценки, опираться на достоверные источники, скрытые в архивах, и размышляющих в памяти выживших участников событий тех лет. Новейшая история христиан в России и на Украине показывает, что сохранились актуальные нерешенные деликатные проблемы.

Сергей Васильевич Новицкий — имя в миру будущего архиепископа. Он родился в большой семье священника, в самом начале жестокого двадцатого века (4 сентября 1900 г., с. Кривичи Минской губ.). Обучался в духовном училище, духовной семинарии до 1919 г. После революции в России два года работал учителем в Минской губернии. Подписание в 1921 г. Рижского мирного договора изменило политическую географию. Село оказалось на территории Польши. Молодой человек вновь обращается к церковной деятельности, продолжает богословское образование в православной духовной семинарии Вильнюса. В 1925 г. он стал студентом Православного богословского факультета Варшавского университета. По его окончании, в 1928 году, принял монашеский постриг, под именем Вениамин вступил в число братии Свято-Успенской Почаевской Лавры. На следующий год был рукоположен в иеромонахи.

Почаевская Лавра — место, где веками сталкивались границы империй, цивилизаций, мировоззрений, это древний центр духовной жизни православных христиан, начиная с первой половины XIII века. Почаевская Лавра стала западным форпостом православия на Руси. Основана монахами-затворниками Киево-Печерской Лавры, бежавшими на Волынь от ордынского разорения. Древнейшая летопись сохранила сведения о чудесном явлении монахам в 1240 году на скале Почаевской Богородицы, стоящей в огненном окружении. На том месте, где стояла Пресвятая Богородица, остался след Ее Стопы, наполненный чистой и целебной водой. В XX веке Лавра — это комплекс монастырских храмов, очень величественных, окруженных плодоносящими садами. Благодатное, чудотворное место паломничества православных.

История этих мест богата событиями. Почаев, небольшое местечко, постоянно менял свою административную принадлежность: во времена правления Австро-Венгрии относился к Галиции, затем к Польше, России, Беларуси, это Волынь на Западной Украине. Здесь говорили на многих европейских языках: славяне — на русском, белорусском, украинском, литовском, польском. Западные украинцы, прибалты и поляки — на родном и немецком. Здесь жили, не зная погромов, евреи, говорили на идише. Эту землю, проходя на восток, топтали захватчики. Возвращаясь на запад, вытирали ноги тевтонцы, шведы, французы, пруссаки, прочие немцы.

В беспокойные времена Лавра разграблялась, её занимали католики, униаты (греко-католики, католическая Церковь восточного обряда)². Большинство вид-

²И в настоящее время Лавра служит полем жесткого противостояния униатов и националистов с православными

ных украинских националистов принадлежало к католической Церкви. В XX веке в Лавре молились православные христиане, в 30-е годы она входила в юрисдикцию Польской автокефальной православной Церкви.

Отец Вениамин Новицкий с первых дней пребывания в монастыре показал свои исключительные способности и феноменальное прилежание к духовной жизни, вошел в состав духовного Собора Лавры с назначением на должность правителя дел Собора. В 1930 году из соседней советской Белоруссии пришла печальная весть. Родной брат, протоиерей Валериан Новицкий был арестован по доносу местной учительницы. Лишь через много лет родным стало известно, что его расстреляли большевики³.

О. Вениамин в это время нес послушание настоятеля собора в г. Остроге Волынской епархии, затем вернулся в Лавру. В мае 1934 г. возведен в сан архимандрита. В 1936 г. был назначен настоятелем Покровского храма во Львове и благочинным православных храмов Галиции. Совместно с правящим митрополитом усилиями о. Вениамина во Львове была создано миссионерское училище, велась активная миссионерская работа среди униатов Западной Украины. Занимался преподавательской деятельностью в богословской школе. Работу над богословскими проблемами завершил блистательной защитой магистерской диссертации.

В 1939 году произошло драматическое событие — Польша как государство перестала существовать. Восточная часть, включая Западную Украину, отошла к СССР, западная — к фашистской Германии. Почаевская Лавра вышла из юрисдикции Польской автокефальной православной Церкви, воссоединилась с Московской Патриархией, и все епископы Западной Украины перешли из варшавской юрисдикции в московскую. Руководители советского государства открыли одну из самых трагических страниц русской истории — поставили цель совершенно изжить всякую религиозность. Стало известно, что в июле 1937 года по распоря-

жению Сталина был издан приказ о расстреле в течение четырех месяцев всех исповедников, находившихся в тюрьмах и лагерях. Жестокие, яростные гонения коснулись всех уголков страны, всех конфессий. Храмы закрывались и уничтожались, священнослужители подвергались репрессиям вместе с прихожанами. И в это катастрофическое время православных западных районов также ждал неизбежный геноцид. Активисты попытались закрыть Почаевскую Лавру, но прихожане не дали этого сделать, службы продолжались.

За одну неделю до начала наступления германских войск на СССР, 15 июня 1941 г. в кафедральном соборе г. Луцка было проведено торжественное рукоположение, хиротония, архимандрита Вениамина (Новицкого). Он стал



Владыка Вениамин

епископом Пинским и Полесским, викарием Волынской епархии. Его кафедра определена в Почаевской Лавре. Начало служения совпало с тяжелейшим периодом истории Русской Православной Церкви. Предстояло противостояние с цер-

³Новицкий Валериан Васильевич (1897–1930), священник, священномученик. Память 10 февраля, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборе новомучеников Белорусских.

ковным расколом, с влиянием оккупационных, абсолютно безбожных властей. 22 июня, через неделю после рукоположения, в воскресенье, в день Всех Святых в Земле Российской просиявших, произошло вторжение немецких полчищ в СССР. При угрозе оккупации незначительная часть епископов осталась в СССР. Их вообще осталось в стране на свободе очень мало, так что некому было восполнять кадры священнослужителей. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергей (Старгородский) уже 22 июня 1941 г. обратился с посланием к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Первоиерарх призывал православных людей «послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может», дабы «развять в прах фашистскую вражескую силу». Митрополит Сергей осудил всякое сотрудничество Церкви с немцами. Что касается отношения Московской патриархии к Украинской автономной церкви, то оно было сочувственным. Ведь епископам и священникам, оставшимся на отторженной территории со своей паствой, пришлось сделать тяжелый выбор: либо сохранить верность канонической Церкви, либо принять навязываемые оккупационными властями правила. В наше время многие осуждают оставшихся, обвиняя митрополитов, епископов и их клир в коллаборационизме и других грехах. Они не учитывают главный принцип Церкви: пастырь должен быть со своей паствой, нести свой архиерейский труд в сложнейших условиях противостояния.

Религиозная политика Третьего рейха осуществлялась планомерно, продуманно, по заранее отработанным схемам и программам. Оккупанты решили использовать искусственно созданные религиозные противоречия, сложившиеся между противоборствующими сторонами на Западной Украине. Поскольку советская власть настойчиво искореняла религию, то гитлеровцы разрешили службу в церквях, коварно рассчитывая на поддержку населения, его помощь новой власти. Существовал циркуляр Гитлера, в котором указывалось, что это мера временная, после победы вермахта всякая религиозная деятельность будет уничтожена. Исполнение директив курировал Рейхсминистр восточных оккупированных территорий А.Э. Розенберг⁴, один из наиболее влиятельных членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Он уполномочивался фюрером осуществлять контроль над общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. Розенберг познакомил будущего фюрера с «Протоколами сионских мудрецов». Его сотрудники обыскивали библиотеки, жилые помещения и культурные учреждения и изымали церковные реликвии и культурные ценности. А. Розенберг был настроен к христианству враждебно, настороженно, и считал православие лишь «красочным этнографическим ритуалом». Открывая православные храмы, нацистские власти получили указание не поддерживать, не поощрять, не допускать объединения верующих.

Оккупационные власти поддерживали украинский сепаратизм, разжигали соперничество между православными церквями. Одновременно для гитлеровцев важно было в тылу фронта успокоить жителей, погасить возможное сопротивление населения. Была поставлена задача ослабить влияние русских. Католическая миссионерская деятельность на восток от Галиции и Волыни тоже решительно пресекалась. Гитлер был противником всех религий, пытаясь создать свою, нацистскую, арийскую, основанную на оккультных представлениях и отличную от всех существующих конфессий. Гитлер атеист-антихристианин. Он заявлял:

⁴А.Э. Розенберг говорил на русском языке, обучался в Рижском политехническом институте, в МВТУ Москвы, стал инженером-архитектором, хорошо разбирался в религиозной проблематике. Один из главных военных преступников, казнен в 1946 г.

— «...что одна вера, что другая, все равно... ничто не удержит меня от того, чтобы полностью искоренить, истребить христианство в Германии». «Для нашего народа имеет решающее значение, будет ли он следовать жидовскому христианству с его мягкотелой сострадательной моралью — или героической вере в бога природы, бога собственного народа, бога собственной судьбы, собственной крови. Хватит рассуждать. Старый Завет, Новый Завет, или даже просто слова Христовы... все один и тот же жидовский обман, жидовская выдумка». Гитлер, царь зла, обещал:

— «Я освобожу человека от духовности, ставшей самоцелью, от грязных унизительных самоистязаний — химеры, называемой совестью и моралью...».⁵ Национал-социализм объявлялся свободной от еврейского влияния религией. Предусматривался 25-летний период до вступления в силу на занимаемых территориях исторически обновленной свободной от христианства германской религии. Ведомство Розенберга решало «еврейский вопрос» на территории бывшей Польши, именно здесь было построено большинство лагерей смерти, где уничтожались в ходе «акций» евреи, и не только, гибли цыгане, славяне и прочие неарийцы. Никто не гарантировал жизнь священнослужителям, и они вместе с семьями гибли в газовых печах, их расстреливали, вешали, сжигали⁶. Геноцид еврейского населения Галиции правдиво описан в книге А. Рыбакова «Тяжелый песок». Гибли и православные, и католики. Население этих районов к началу войны еще не успело подвергнуться массовой атеистической обработке коммунистами. Власти поддерживали духовный коллаборационизм. В храмах служили, жители оккупированных территорий массово крестили детей, проводились венчания. Нацисты поддерживали религиозное движение исключительно как фактор пропаганды против врага, но стремились на корню пресекать его способность духовно консолидировать нацию.

Еще задолго до начала вторжения в Варшаву, оккупированной польской столицей, кроме правительства для Украины, было создано Церковное управление, состоящее из поставленных там же, в Варшаве, епископов. Заметим, что никто из них не приступил к служению. Расчет был на привлечение симпатии украинского народа к захватчикам.

Националисты Западной Украины незаконно стремились утвердить независимую от московского патриархата Украинскую автокефальную церковь. Руководство Автокефальной церкви поддерживало как полонизацию неукраинских приходов, так и украинизацию украинских приходов. Эта позиция не воспринималась большинством населения, сделала украинскую автокефальную Церковь канонически неприемлемой для всех остальных православных церквей.

Сторонники РПЦ, к которым относился и епископ Вениамин, отстаивали существование Автономной украинской православной церкви, канонически связанной с Московским патриархатом (даже в условиях его притеснения). Все 16 епископов автономной церкви были украинцы, но чужды национализму, приветствовали любого православного христианина, вне зависимости от его национальности. Они вели эту линию и в условиях немецкой оккупации. Владыка Вениамин (Новицкий) в послевоенные годы вспоминал: «Украинская Автономная Церковь,

⁵Герман Раушинг. *Говорит Гитлер. Зверь из бездны.* — М.: Миф, 1993, с.с 51, 173.

⁶Архимандрит Александр (Вешняков), мученик. *Спасал в Киеве евреев, рискуя своей жизнью. Мученически погиб, пытаясь спасти еврейских детей от расстрела в Бабьем Яру, объявляя их крещеными. Его попытались распять на кресте из тонких деревьев, прикрутили к ним колючей проволокой обнаженным, облили бензином и сбросили живым дограть в яму к расстрелянным.*

хотя и оказалась в чрезвычайно стесненных обстоятельствах, но была единственной легальной организацией, вокруг которой могли сплотиться народные силы, и в которой они находили поддержку во время величайших испытаний⁷». В целях «устроения канонически правомерного церковного управления на Украине» состоялся собор 16 епископов Украинской Автономной Церкви. Они были настоящими монахами; и многие из них отличались высокой духовной жизнью и аскетизмом.

Собор проходил в Почаевском монастыре в августе 1941 г. (епископ Вениамин был секретарем), принял постановление: епископы и священники на службах должны поминать своего митрополита Алексия (Громадского), провозглашенного на соборе митрополитом-экзархом, и лишь митрополит возносил имя митрополита Сергия Московского, патриаршего местоблюстителя.

Истерзанная православная церковь маневрировала, стремилась не спешить выполнять требования оккупационных властей, в частности, порывать канонические связи с Московской патриархией. Попытки широкого распространения украинского национализма наткнулись на полное безразличие православного духовенства. Церковь по-прежнему оставалась местом объединения верующих людей. Богоборческая власть не простила руководителю, митрополиту Алексию (Громадскому) его ухищрений.

7 мая 1943 года, когда наступил перелом, немецкие войска потерпели поражение под Сталинградом и в Курской битве, автомобиль митрополита был обстрелян, а экзарх Алексей был убит боевиками-националистами ОУН, позже признан мучеником⁸.

В 1942 году Вениамин Новицкий назначается епископом Полтавским и Лубненским. Будучи по природе деятельным, активным пастырем, владыка восстановил Полтавский Крестовоздвиженский монастырь, организовал пастырские курсы, открыл многие приходы. Власти оккупантов создавали множество ограничений. Запретили кресты на куполах и колокольный звон. Ограничивалось время проведения богослужений — только ранним утром в выходные. В своей публикации владыка Вениамин приводит такой случай: «В одном из приходов на Полтавщине священник в воскресный день, во время уборочной кампании, не успел закончить службу к 6 часам утра, чем нарушил приказ местного немецкого коменданта. Последний с собакой прошел в алтарь через открытые Царские врата и потащил священника по церкви». Подобных случаев было множество. Был убит террористами епископ Владимир-Волынский Мануил (Тарновский), иерарх Автономной Церкви. Убит на улице в г. Ковеле протоиерей Ипатий Червинский. Протоиерей Евгений Коноплянко в г. Владимир-Волынском брошен вместе с семьей в колодец.

В это время фронт неумолимо двигался на запад. За две недели до отхода оккупанты решили вывезти вместе с отступающими войсками в Германию свидетелей бесчинств на захваченной земле. Священнослужителям с родными было прика-

⁷Вениамин Новицкий. *Трагические страницы истории церкви на оккупированной территории*. — М.: Журнал Московской патриархии № 4. 1975, с. 12-13.

⁸Экзарх Украинской автономной церкви митрополит Тернопольско-Галицкий, Алексей (Громадский) много пострадал и от советской власти. В июне 1941 года он был арестован по ст. 54 ч. 1 УК УССР за «активную борьбу с Советской властью». В первые дни войны заключённых Тернопольской тюрьмы гнали этапом на восток, среди них был и архиепископ Алексей. Измождённый допросами и дорогой, он упал без чувств возле села Лопушиного Кременецкого района. Сотрудникам НКВД показалось, что он умер, и это его спасло: крестьяне подобрали архиерея и помогли ему вернуться в Кременец.

зано погрузиться на поезд, принудительно эвакуироваться. Епископ Вениамин (Новицкий) с родственниками и близкими был помещен на открытую платформу, где их охранял часовой. Увозили в неизвестность, может быть в лагерь смерти. Оставалось горячо молиться. Поезд проходил на высокой скорости знакомые места Тернопольщины. При движении состава в гору, на повороте дороги, поезд замедлил ход. Было решено бежать. Быстро договорившись между собой, беглецы спрыгнули с поезда. Часовой дремал, поезд мчался далее. Вскоре беглецы вернулись в ставшую родной Почаевскую Лавру. Отметим, что все⁹ «автокефальные» епископы ушли с немцами на запад, а из 14 выживших «автономных» епископов шесть остались со своей паствой (трое из них подверглись длительному заключению), а седьмой вернулся из Германии после окончания войны.

В круговороте советской Харибды

*...знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою
дверь, и никто не может затворить ее;
ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое,
и не отрекся имени Моего.*

Откровение Иоанна Богослова

*«Колыма — антиминс России.
Здесь вся земля пропитана кровью новомучеников».*
Зосима, епископ Якутский и Ленский

Служение в Почаевской Лавре возобновилось после ухода нацистов. Немногие насельники Лавры принялись восстанавливать порушенное врагами, вновь зазвучали колокола. Советские власти, после освобождения Волынского края от противника, принялись разоблачать коллаборационистов. Стали выявлять порочащие связи духовенства, служившего и проживающего на оккупированных территориях. 18 мая 1944 г. епископ Вениамин (Новицкий) был арестован в Почаеве «за сотрудничество с оккупантами», заключен в тюрьму № 1 УНКГБ по Киевской области. Виновным себя не признал. Через пять месяцев допросов, пыток, издевательств, военным трибуналом УНКГБ по Киевской области он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей, статья 58, пункты 8 (террор) через 17 (устанавливает, что осужденный оружия в руки не брал, но сочувствовал террористам, был их идейным соучастником), 10 (антисоветская агитация), 11 (всякая организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению... контрреволюционных преступлений, приравнивается к совершению таковых).

Исповеднический путь преосвященного продолжался в узах. Единственной точкой опоры, на которую он мог бы опереться и выстоять, были его убеждения, вера во Христа. Стало абсолютно очевидно, что он не может опереться ни на себя, ни на других людей или обстоятельства. Единственной опорой для него мог быть только Бог. Около года владыка находился в застенках НКВД. Известно, что владыка на допросах не сказал ничего предосудительного о сослужащих, слова, порочащего кого-либо, не очернил, не оклеветал. Христос заповедал Своим Апостолам: «Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змеи, и

⁹Кроме престарелого епископа Феофила (Булдовского)

просты, как голуби» (Мф. 10, 16). На следствии владыка Вениамин заявил: «Со всем молодым человеком я дал обещание в душе: никогда не идти против Родины и русского народа, который находится под Покровом Пресвятой Богородицы. Я посвятил свою жизнь Церкви. В руках насельников Лавры никогда не было оружия, мы духовно вооружены. Я разделяю участь Православной Церкви в полной мере, хочу служить Богу и православному народу».

Начался очередной период мученичества. Этапы, пересыльные тюрьмы... Не быстро вращались колеса вагонов-теплушек, очень плотно набитых заключенными. В них можно было только сидеть на нарах, так и спали. Выдавали скудную пищу: грубый хлеб и соленую рыбу, вызывающую мучение жестокой жаждой. В пустынных местах поезд останавливался, выносили умерших и приказывали закопать их в общей яме. Более двух месяцев длился этап из Украины, через Челябинск, Улан-Удэ, Хабаровск. Наконец, пекло, порт Ванино. Здесь осужденные со всей страны сортировались, формировались «этапы». Это зоны транзита. Тысячи людей пребывали длительное время, при любой погоде, на открытом пространстве, на площади «Куликово поле». Сидели кучками у костра, прижавшись тесно друг к другу, ждали решения своей судьбы. Жизнь каждого ничего не стоила. Куликово поле было обнесено проволокой, отсюда людей группами вели в санпропускник в баню, а затем распределяли по зонам: отдельно воры, суки, бандеровцы, власовцы, медведевцы, «красные шапочки» (проштрафившиеся прокурорские и милицмейские сотрудники), подмешивали к ним и 58-ю статью. В отдельных зонах жили пленные японцы. Они строили станции по железнодорожной ветке. Уголовники обворовывали вновь прибывших, отбирая пригодную одежду, сохранившиеся личные вещи. Их сила проявлялась в групповом нападении, противостоять которому способны были очень немногие. Противостоящего могли покалечить, зарезать. Православных и католических священников, архипастырей легко узнавали по сохранившейся одежде, прическе. Верующих клириков, мирян, сектантов, претерпевших заключение, выделяли по поведению и над ними особо изощренно издевались уголовники и охрана, многие приняли мученическую кончину. Чекисты старались задеть, оскорбить заключенных священников. В их присутствии администрация бранилась с особым кощунством. Лишь позже, перед отправкой в лагерь, всех одинаково обрили, одели в лагерную одежду, стало немного легче. Но «Попа и в рогоже узнаешь, а милиционера голого в бане» — говорится в народе.

Наконец, сформировался этап в две тысячи человек, всех загнали в паровоз, оборудованный внутри трехэтажными нарами, и начался мучительный путь по беспокойному морю до бухты Нагаево. Здесь отстраивался Магадан. Этап на автомобилях повезли дальше на север, на Ягоднинский золотодобывающий рудник. Это подразделение Севвостлага, одного из крупнейших лагерных комплексов СССР. Здесь в тяжелейших условиях работали и постепенно умирали более двухсот тысяч заключенных. Колымский лагерь встретил туманом, холодом, солнце поднималось невысоко, почти не грело.

Основная работа заключенных — добыча золота и олова. На отдельных рудниках добывали вольфрам, кобальт, уран, уголь и другие полезные ископаемые. Строились и обслуживались дороги, промпредприятия, геологами проводилась разведка, заготавливался лес и др. Все работы проводились вручную. Инструмент — взрывчатка, вагонетка, кайло, лопата, лом. Рабочий день начинался ранним утром, затемно, при любой погоде длился от 14 до 16 часов. К месту работы добирались

пешком. Люди не высыпались, засыпали в ту самую минуту, когда переставали двигаться, умудрялись спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Зимой изнурял лесоповал, летом — золоторудный забой. Учет работ сопровождали беззастенчивая лживость, узаконенное мошенничество, хамство бригадиров и конвойных, постоянный полуголод, грязь, травмы, непосильный, часто бессмысленный труд. Преосвященный вспоминал, что у него не оставалось возможности для утренней молитвы, он творил её на ходу, добираясь до места работы. Вера в Бога выкорчевывалась из души узников, ведь именно она не позволяла веками выпасть человеку из духовного пространства Божественного притяжения. Естественно, любые виды религиозных служб находились под запретом. Спали в стандартных деревянных бараках, на сплошных двухэтажных нарах. На ночь барак запирали. Здесь правили блатные. От туберкулеза, воспаления лёгких и острых желудочно-кишечных заболеваний умирало примерно по 8% от числа прибывших. Тяжелая работа в забое быстро, примерно за месяц, превращала даже молодых и крепких парней в доходяг-фитилей. Пеллагра (авитаминоз) и дистрофия — причина половины смертей.

Золотой забой начинает работать в мае и заканчивает в октябре. В зимнее время здесь невозможно проводить работы. Тогда заключенных перебрасывают на лесоповал, прокладку дорог, строительство. Администрация справедливо считала заключенных из духовенства лучшими работниками в лагере. Священнослужителей посылали на самые ответственные и тяжелые работы. Известно, что узкоко-



Добыча золота на Колыме

лейку строили только духовные лица.

В летнее время, с 15 мая по 15 сентября, золотодобычу проводят в сопках, разрабатывая забой открытым способом. Чтобы добраться до жилы, докопаться до припая, тонкого золотоносного слоя, нужно углубиться в нетолстый слой породы, а затем разрабатывать слой вечной мерзлоты глубиной 40–50 метров. И здесь, в тысячетлетнем льду, взрывать, грузить вагонетки, откатывать на дальнейшую переработку

ценную золотосодержащую породу. Нормы были убийственные¹⁰. Правят здесь с помощью побоев десятники, старосты из блатарей, конвой. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, ещё в лагере не зимовавших. Прежние работники находят покой на братских кладбищах, в инвалидных городках, где выполняют вспомогательные работы. Часть поступает в больничные «оздоровительные команды».

В осенние дни, на исходе сезона золотодобычи, с владыкой Вениамином произошёл несчастный случай. При работе в забое с хлипкого рельсового полотна сошла вагонетка с породой и упала на стоящего рядом епископа. Она сломала ему позвоночник. Конвой доставил раненого в лагерную больницу. «Не жилец!» —

¹⁰Зеляк В.Г. Заключенные в золотодобывающей промышленности Дальстроя. Трудовые показатели определялись выполнением директивно установленных норм выработки. Так, для разработки мерзлых грунтов вручную в котлованах и рвах при ширине более 1,5 м с рытьем грунта III – IV категорий (гравий, щебень, галька) на глубину 1 м при 8-часовом рабочем дне разработать 5,8 м³; при 10-часовом — 6,96 м³. Перемещение мерзлого грунта I – III категорий (пески, растительный грунт, торф, суглинок) на тачках по катательным доскам с загрузкой и выгрузкой на дальность 50 метров, по 8-часовому нормативу составляло 9 м³, при 10-часовом рабочем дне — 10,8 м³.

сказал, взглянув мельком, санитар-фельдшер, лепком. Справедливости ради следует отметить, что больница, «больничка», как ласково называли её зеки, имела особый статус. Она управлялась отдельно, лагерное начальство не могло вмешиваться в работу врачей. В сохранении жизни заключенных лагеря никто серьезно не был заинтересован, важен был план золотодобычи. Их удел — голод и изнурительный, убийственный труд. Единственная служба в этой системе не является врагом заключенных — медики, при всей ограниченности их прав и возможностей. Больница должна была сохранять контингент работающих заключенных, способствовать производству. Лагерное начальство и конвойные в большинстве своем были малограмотными, малокультурными, грубыми исполнителями. Среди них выделялся «начальник», который в речи своей для обозначения всех возможных жизненных ситуаций использовал всего одно слово: «Давай!». Врачи так не говорили. Они должны защищать заключенного по должности.

Больница была вместительной, на несколько сот мест. Сюда попадали заключенные с самыми разными диагнозами, статьями и сроками, вплоть до двадцатилетников. Лагерные врачи, значительная часть которых зеки, в Севлаге были хорошо подготовлены, обучены. В середине 40-х годов в поселковой больнице Ягоднинского района работала знаменитая на Колыме выпускница Московского мединститута им. Пирогова осетинка Нина Владимировна Савоева¹¹, «Мама Чёрная», такое уважительное прозвище дали ей, главврачу, благодарные заключенные. Она добилась выполнения санитарных и других нормативов при оказании врачебной помощи в государственной больнице. Здесь появились: хирургические столы и инструменты, рентгеновский аппарат, зубо врачебное кресло, металлические отдельные кровати, сменное постельное бельё. Велась борьба с беззастенчивым расхищением выделенных больнице продуктов. Заключенных из священнослужителей стали привлекать к работе в больничном хозяйстве: диаконы стали ведать весами на складе, епископы — месить тесто и печь хлеб, престарелые монахи устроены в сторожа. Кражи прекратились. Во время пребывания владыки в больнице работали уже другие врачи, однако порядки, заведенные Н.В. Савоевой и её мужем, фельдшером и бывшим заключенным Борисом Лесняком, строго соблюдались. Владыка провел полгода на изнурительной растяжке, чудом выжил, благодаря добросовестной заботе врачей, другого медицинского персонала, сочувствующих лагерников. Постоянно повторял про себя: «Я сейчас болен телом, но силен духом. И Бог меня сюда поставил. Здесь я найду людей, которые меня поддержат. Мне надо покориться Богу, страдать, терпеть, любить, прощать. Я твердо решил не сходить с выстраданного мною пути. Бог меня на него поставил. Он и выведет». Он вновь научился двигаться. Однако голова его осталась несколько склонённой.

Владыка был постоянно окружен народом, который видел в волевом, оптимистичном, никогда не унывавшем и твердом архипастыре свою поддержку среди неустройств и тягот жизни. Он нёс солагерникам слова утешения, вселяющие надежду. Отчаявшемуся молодому парню, тяжело повредившему правую руку, внушал: «А как военные, раненные на фронте? Ты молодой, высокий и красивый, обязательно освободишься, встретишь родителей, они ждут тебя, пишут письма, будет хорошая девушка. Ты сможешь отлично жить везде, в Сибири, на Урале, на юге. Тебя ждет любимая рыбалка, в футбол будешь играть! Отчаиваться нет причин. Господь тебе поможет». Теперь перестали смеяться над религиозностью владыки, ему доверяли.

¹¹Савоева Н. В. Я выбрала Колыму. - Магадан: МАОБТИ, 1996. — 48 с.

Епископ вызвался помогать врачам при работе с лекарствами, он владел латынью. Лечинспектор Павел Дмитриевич Васильев избавил его от возвращения на работу в рудник, где он бы долго не протянул, с его слабым здоровьем. Оставили работать в больничной аптеке, даже выделили маленький кабинет.

Владыка изготовил небольшой плакат, призывающий к соблюдению гигиены, с красным крестом. На него и молился. Преосвященный хранил как большую ценность маленькую икону Богородицы, чудесным образом доставшуюся ему, эту ценность он прятал в свернутом виде при обысках между пальцами ног. Его вдохновляла мысль: «Господь пришел в этот мир, как человек, не только для того, чтобы учить людей, но и для того, чтобы разделять их горе и страдания. Он поддерживает верующих христиан, помогает переносить голод и лишения». Его идейным руководством стал 118 псалом.

Работы накопилось много. Лекарственные средства составлялись врачами, без провизоров, из отдельных компонентов, обозначавшихся по латыни. В аптеке был налажен безукоризненный учет поступающих с материка лекарственных средств, инструментов и расходных материалов, организовано правильное их хранение. К этому относились очень строго. Аптека формировала и распределяла поступающие с аптечной базы Магадана необходимые средства и лекарства по лагерным пунктам. Доктора освободились от отнимающей много времени работы. Владыка тепло рассказывал о человеческом, уважительном отношении к себе медиков. За короткое время освоил бухгалтерский учет. Тем не менее, всё могло измениться в любой момент, его могли перевести в иные инвалидные команды — шить, чинить обувь, чистить уборы. Но Бог миловал.

Больные заключенные пребывали на лечении короткое время. Основной поток больных — истощённые, пеллагрики, травмированные. Больничным заключённым должны были давать добавку к пайке: консервированные мясные продукты, натуральный чай (обычным з/к полагался суррогатный), лук (он помогал против цинги), даже стручковый перец и лавровый лист. На практике нормы выполнялись не всегда, но даже добавка картофеля, слегка проваренного сухого горошка, кислой капусты, делали больничный паек роскошью. Подкреплялись, и вновь возвращались в лагерь по решению врача. Зимой поступали обмороженные. Доктор привычно откусывал почерневшие пальцы самодельными «кусачками Люэра», фельдшер зашивал раны. Лечились переломы, травмы производственные, и возникшие в ходе блатных разборок. Инвалидная бригада, хвоеносы, летом направлялась в лес на заготовку хвойных веток. Хвоевары при аптеке заваривали и делали настой. Горький отвар помогал при авитаминозе. Заготавливались и другие лекарственные растения, ягоды. Заготовки требовали учета, наблюдения, исключавшего порчу собранного материала. Этим занимался епископ Вениамин, человек очень ответственный, внимательный, грамотный.

Дело помогало преодолеть большой грех — уныние, вселяло надежду на возможное освобождение, поддерживало веру в правоту своих идеалов, веру в Божье провидение. Появляется стремление сохранить себя для жизни. «Внутренняя сила узника черпается в отыскании некоторой цели в будущем»¹², пояснял австрийский исследователь психологии заключённых в концлагере В. Франкл. Дисциплина, самообладание, сформировавшиеся в течение всей жизни, спасли каторжника-епископа от унижения. Со смиренной грустью провожали православное духовенство, которое с венцом мученическим представляло перед Престолом Того, Которому

¹²Виктор Э. Франкл, австрийский психиатр, психолог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря

служили эти Герои Веры. Тихо проводил владыка исповедь умирающих, используя вместо епитрахили больничное полотенце. Шепотом служили литию: «Иде же несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!.. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих...». Иерей должен предстать перед тем, кому служил, пристойно.

С больничными интеллигентами-заключенными он не сближался, но и не отчуждался. Образованный, казалось бы, культурный каторжник в лагере обычно быстро опускался, находя порой изощренные оправдания. Он напуган, дух его сломлен, такой человек может уговорить себя на что угодно. Апостол Павел учил: «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степень, неповрежденность, слово здоровое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». (Тит 2, 7, 8, 15 8). Владыка был молчалив, в разговоре с ним большинство уголовников, хотя и старались иногда злобно, иногда с грубым добродушием поиздеваться над «блаженным», но не позволяли себе непристойных шуток. И они и охранники никогда не называли епископа ни товарищем, ни попом. Охранники обращались иногда «владыка», но часто нейтрально — «заключенный». Он разговаривал одинаково ровно и с известным профессором математики и со злоупотребляющим матюгами мошенником-картёжником. Однажды в небольшой компании выздоравливающих, которые играли в домино, такой сквернослов спросил: «А почему ты, фраер чистой воды, не говоришь по блатному? С тобой трудно иметь дела!» Владыка мягко пояснил:

«Блатной язык нужен вора́м для того, чтобы скрывать свои намерения, своё ремесло от посторонних. Мне нечего скрывать. Это язык вражды, ненависти. В нем обычные слова заменяются другими, так, чтобы унижить человека. Из всего многообразия одинаковых по значению слов выбираются издевательские, грязные, оскорбительные, словоблудие, выражающее недоверие, определенную вражду, взаимный страх и презрение. Блатной подозрителен и сам насторожен, постоянно ждет опасности. Я, конечно, тоже каторжник, признаю свою участь, это мой крест, который надо нести без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад. Я не должен кого-то ненавидеть».

После десяти лет пребывания в лагере вспыхнула радужным светом Надежда. Решением трибунала от 12 июля 1955 г. срок наказания был сокращен до 10 лет, и 15 августа 1955 г. владыка Вениамин был освобожден, но направлен на жительство в поселок Ат-Урях Ягоднинского района Магаданской области. Еще год работал владыка бухгалтером в гражданском учреждении. Освобожденный из лагеря сразу попадал в очень тяжелое положение. Он должен был самостоятельно решить ряд трудных задач: снять жилье и платить за него; готовить себе еду, купить «гражданскую» одежду; оплатить все транспортные расходы по переезду с Колымы к месту жительства. Требовалось специальное разрешение на выезд с Колымы. Добиться его было трудно. Вернуться на прежнее место жительства не разрешалось. В родных краях его помнили и почитали как исповедника. Обманчивой оказалась «свобода передвижения». Лишь осенью, в сентябре 1956 г. было получено предварительное разрешение «отбыть в распоряжение Московской Патриархии». Загоралась пламенем Вера в промысел Божий. Корабль вернул бывшего каторжника на «материк», в Ванино. Возвращавшихся с Колымы сопровождали до поезда под конвоем. Три недели преодолевал поезд путь до Подмоскovie. Дымили паровозы, долго заправлялись водой и углем, общий вагон был полон сажи. Старушки продавали на станциях варёную картошечку, пирожки. Так и питался. Что ждёт впереди?

Преосвященный владыка Вениамин исполнил свой аскетический обет. На коленях он вернулся в подмосковный Загорск, в Троице-Сергиеву лавру. Вот как описывает его появление молодой инок-насельник, будущий митрополит Варнава.

«Я пришел на братский молебен... увидел в храме бритого мужичка. Он тоже молился с нами. После молебна началась полунощница. Я встал в стасидию¹³, он рядом со мной стоял. Я посматривал на него: какой-то он необычный. Видно, что из мест заключения, но по тому, как он молился, понятно было, что непростой... А потом я его увидел в братской трапезной, в этот же день. Он уже стоял с панагией, и клобук на него надели. И мне ясно стало, кто он». В ноябре 1956 г. владыка Вениамин вновь взял в руки архиерейский жезл, и был назначен архиепископом Омским и Тюменским. Здесь он прослужил всего год, но успел воспрепятствовать разрушению собора и ансамбля архиерейского дома в Тобольске. Инициировал создание архиерейского хора. Здесь местные «органы» попытались вновь спровоцировать уголовное дело. Во время служения в Омске спровоцировали против епархии уголовное дело, руководителю пришлось вновь встретиться со следователями.

21 февраля 1958 года Синод определил назначить епископа Омского Вениамина (Новицкого) на Иркутскую кафедру. Несколькими днями позже постановлением Святейшего Патриарха от 25 февраля 1958 года Иркутский епископ Вениамин III был удостоен сана архиепископа. 11 мая 1963 года Владыка был награжден правом ношения креста на клобуке. Ко дню 25-летия архиерейского служения, в 1966 году, он награжден орденом святого князя Владимира I степени. Будучи архиепископом Иркутским и Читинским, владыка Вениамин временно управлял еще Хабаровской и Владивостокской епархиями. Поставив архиепископа Вениамина на Иркутскую кафедру, власть предрежающие рассчитывали на то, что пожилой епископ, инвалид, не сможет принимать деятельного участия в управлении громадной епархией, включающей Иркутскую, Читинскую области, Бурятию, Якутию, весь Дальний Восток. Деятельный владыка, однако, посетил большинство вверенных ему приходов. По дорогам Иркутской области он перемещался на епархиальном автомобиле с водителем, двумя иподьяконами, регентом хора. В двух чемоданах хранилось облачение. В отдаленные районы добирался на поезде.

Автор встретился с иркутянином, очевидцем встречи владыки Вениамина с клиром и прихожанами во Владивостоке. Геннадий Владимирович Гранин был знаком с владыкой. Преосвященный благословил его при призыве на воинскую службу, при этом сказал странные слова, ставшие пророческими: «Не спеши расставаться со службой!». Действительно, Г.В. Гранин прослужил на флоте четверть века, они встретились вновь во Владивостоке. Офицер так описывает встречу. «Жители Владивостока ждали приезда владыки, украсили храм, приготовили угощение. Владыка вышел из автомобиля, благословил встречающих, но в трапезную не пошел, а направился в пока ещё пустой храм. Он не возвращался длительное время. Тогда староста вошел в храм и увидел епископа, молящегося перед алтарем. Деликатно обратившись к владыке, он напомнил, что клир и прихожане ждут за столом. Преосвященный велел трапезничать без него, и попросил принести коврик, дав понять, что он остается на ночь. А утром владыка провел литургию, произнес проповедь». Всем было непонятно, почему он так поступил.

¹³Стасидия — церковная мебель в виде кресла с высокой спинкой и откидным сидением, на которое можно опираться во время службы.

Здесь архипастырь вёл себя так, как подобает монаху. Духовное обучение личности начинается с таких Христовых слов: «Егда молишися, вниди в клеть твою и, затворив дверь твою, помолися Отцу твоему втайне» (Мф. 6: 6).

Поведение владыки, вызвавшее недоумение клира, автор объясняет так: при пострижении в монашество ему были вручены четки, как символический духовный меч, и завещалось денно-нощное моление Иисусовой «умной молитвой». Епископ, посредник Бога и верующих, апостол-проповедник в их души благодати, образец ангельской жизни, живет беседой с Богом и общением с Ним. Молитвенный личный подвиг труден. Но он позволяет пастырю воодушевиться, возгреть в себе благодать, полученную при хиротонии.

В каждом храме, где бывал архипастырь, его встречали с радостью. Везде владыка проповедовал о значении молитвы, веры и любви, о храме как месте для молитвы. Посещались церковные приходы Хабаровска, Свободного, Благовещенска, Читы. Владыка Вениамин посетил северные приходы Иркутской области и Якутии, где в пустынной местности незадолго перед его приездом проводили наземные ядерные испытания. Население о них не оповещалось, грязный радиационный след протянулся более чем на тысячу километров. Епископ попал под облучение, от лучевой болезни у него выпали все волосы. Современники-иркутяне запомнили его сгорбленным, с наклоненной головой, пронзительными глазами, с кроткой доброй улыбкой.



Владыка Вениамин

В шестидесятых-семидесятых годах активизировалась борьба с религией, преследование верующих. Каждый шаг священнослужителей контролировали осведомители. Уполномоченный по делам религий получал такие отчеты: I полугодие 1958 г. — «Архиепископ Вениамин ежедневно молится в церкви с 9 часов до 12 часов, завтракает, и с 1 часу дня работает в кабинете. Иногда сам служит в качестве священника с диаконом. Много справляет архиерейских церковных служб. Глядя на него, служащие епархиального управления и собора стали посещать церковную службу ежедневно. В соборе установлены микрофон и усилители, возгласы, чтение и пение слышны всюду, во всех уголках собора. Сам молится усердно, любит пение хора, укрепляет хор, подбирает протодиаконов, обставляет службу торжественно...». Действительно, Владыка бывает на всех службах, часто без церемоний, в обыденном черном подряснике, без панагии, встаёт петь в хор, вовлекая и других прислужников. А службу ведет священник. Владыка Вениамин любит молиться вместе с Церковью словами церковных гимнографов и святых подвижников, служит без малейшей поспешности. Враги терзали Владыку, писали против него грязные статьи в газетах. Внешние враги планировали и исполняли опасные провокации. Но были и внутренние враги среди служителей Церкви. Все они терзали сердце архиепископа. Не нравилось многое: его прозорливость, строгость, затяжные, пол-

ные службы, длинные содержательные проповеди, общение с простым народом. Владыка Вениамин внимательно относился к тем, кого пыталась притеснить советская власть. Он расширил штат епархии за счет приема клириков из областей Западной Украины в Иркутской области. Но немало новых священников-сибиряков рукоположил архиепископ Вениамин во время своего служения в г. Иркутске. И кадровые проблемы отражались на его здоровье. Необходимо было эти вопросы согласовывать с Уполномоченными. А это противодействие линии Партии. Тем не менее, в обращении с духовенством и прихожанами он всегда был приветлив. В разговорах избегал осуждения. С его лица не сходила легкая улыбка.

Проповеди владыки отличали широта кругозора, живое проникновение в церковно-богословские истины. Его проповедническая деятельность поражала глубиной и проникновением в суть проблем, опорой на жизненное содержание. Владыка Вениамин как духовный оратор прекрасно владел словом, преображался, обнаруживалась его духовная энергия. Его проповеди производили большое впечатление на прихожан, были развернутыми, длительными, всегда сопровождалась понятными, близкими для слушателей примерами. Владыка говорил негромко, проникновенно, иногда останавливался, собираясь с мыслями, управляя дыханием. Слушатели, затаив дыхание, молчали вместе с ним, ждали, вслушивались, иногда кто-то начинал плакать, осознавая сказанное. Проповеди затем распространялись в звукозаписи.

В кафедральном соборе г. Иркутска, над царскими воротами, владыка установил список чудотворной Почаевской иконы Богоматери в драгоценном окладе и киоте в виде сияющей звезды. Икона опускалась на шелковых шнурах во время Богородичных праздников. Такой обычай существовал в Лавре. Владыка Вениамин, как бывший наместник Почаевской лавры, почитал икону великой святыней и духовной поддержкой в архипастырском служении на краю земли. Икона и сегодня находится на своем месте. Побывать в Лавре он не мог.

В 1960 г. Владыке было видение второго иркутского епископа Иннокентия Неруновича, который просил перенести его захороненное тело из области затопления Братским водохранилищем в Иркутск. По поручению архиепископа благочинный протоиерей Николая Пономарев отправился в Братск на поиски захоронения. 1 октября 1960 года он в обыкновенном дорожном чемодане привез на Иркутскую землю драгоценное духовное сокровище, мощи святителя Иннокентия Неруновича. Это событие выглядело чудом, так как в это время Н.С. Хрущев резко усилил гонения на Православную Церковь. Сегодня тело епископа Иннокентия Неруновича захоронено в освященной земле Иркутского Знаменского монастыря.

Приближенные к Владыке, близкие люди, задали вопрос о перспективах «строительства коммунизма». Ответ преосвященного сегодня расценивается как провидческий: «Что такое коммунизм? — переспрашивал он, — и отвечал: — Это древо, это наука, безо всяких оснований, без родословной, без корней родоначальных, обреченное на забвение. Такая фантазия, измышление нездорового ума. Истина восторжествует и замолчит атеизм».

Во время службы в Иркутской епархии, в 1970 г. архиепископ был членом Комиссии Св. Синода по подготовке Поместного Собора РПЦ. Здесь он поставил вопрос о том, что приходские священники должны иметь право быть избранными в правление церковной общины, принимать активное участие в жизни своего прихода. Руководство Партии не допустило рассмотрения этого предложения.

После 15 лет трудов архиепископа Вениамина на Иркутской кафедре удалось добиться перемещения его к служению в более мягком климате, в Чебоксарской

епархии, где и преставился 14 октября 1976 года, через три года. В 2005 г., спустя почти 30 лет после его кончины, мощи святителя Христова были обретены нетленными и с честью положены в притворе Введенского собора г. Чебоксары.

Подвижнический путь архиепископа Вениамина (Новицкого) заслуживает канонизации его в чине исповедника Христова. В начале 2000 г. РПЦ провела обширную канонизацию мучеников и исповедников. Церковь строго относится к вопросам канонизации, и на этом пути серьезным препятствием встают закрытые архивы в нашей стране. Канонизация лиц, не оставивших свое служение под оккупацией, из-за неполноты информации, которая все еще остается на секретном хранении, становится невозможной. Требуются копии архивно-следственных дел, но получение их в рамках действующего законодательства приостановлено. Тем не менее, согласимся со словами митрополита Климента. «Церковь выдвигает задачу огромной важности: духовные плоды подвига новомучеников и исповедников XX столетия должны быть усвоены нашим обществом. От этого во многом зависит нравственное состояние общества и политическая крепость государства». Имя архиепископа Вениамина (Новицкого) должно сохраняться в благодарной памяти православных среди имен тех иерархов, кто отстоял независимость нашей Церкви в самые тяжелые времена, кто укреплял свою паству в верности Матери-Церкви и Отечеству. Вечная тебе память, добрый архипастырь!

Спасите Верховленский собор Воскресения Христова

Православная вера со времён крещения Руси является основным духовным оплотом нашего государства. Не будет её, веры, русский мир погибнет. Под духовным предводительством Русской Православной Церкви Россия одерживала победы над врагом, осваивала новые земли. При строительстве форпоста на дальних рубежах Российского государства одновременно с бревенчатым тыном и приказной избой внутри крепостцы ставили часовенку, а потом и церковь, которая являлась и Домом молитвы, и символом власти Российского православно-самодержавного государства.

При освоении Восточной Сибири, в 1641 году первая часовня в Верховленском острожке была поставлена в честь святых апостолов Павла и Петра. После переноса Верховленского братского острога вместе с часовней, напротив впадения речки Куленги в Лену, постепенно, по мере притока поселенцев стал расти посад. Население Верховленска увеличивалось. Возникла необходимость в строительстве церкви для удобства обязательных богослужений.

По данным выписок историка Натальи Торшиной, сотрудницы Центра сохранения наследия Иркутской области, хронология возведения церквей, а затем и собора, в Верховленске такова: «... в 1651 году заложена первая деревянная Воскресенская церковь; в 1718 году — холодный Воскресенский храм; в 1796 году — одноимённый тёплый храм, поставленный рядом. В 1872 году вышел Указ Священного синода о переименовании Воскресенской церкви в Верховленский Воскресенский собор. 19 мая 1901 года было освящено место под постройку нового здания собора. В основном строительство закончилось через пять лет. Собор в документах характеризуется как «каменный, одноэтажный, весьма поместительный, тёплый, покрыт железом, пятиглавый, крепкий и благовидный».

За 114 лет существования Верховленского собора, в разное время проводили службы православные священники, впоследствии ставшие известными в нашем государстве. В клировой ведомости Верховленского собора за 1915 год указано: Диакон Зосима Алексеевич Пепенин, 1888 года рождения, служил в соборе со 2 ноября 1912 года по сентябрь 1916 года, затем поступил на учёбу в Иркутскую Духовную семинарию. Впоследствии его духовный жизненный путь прошёл по разным губерниям Российского государства. Тройкой НКВД по Карагандинской области приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 2 ноября 1937 года. Новомученик Зосима Пепенин прославлен Архиерейским Собором Русской православной Церкви в 2000 году.

Другой священник, Анатолий Кузнецов (мирское имя Евгений Власович), архиепископ Керченский, викарий Сурожской епархии, родился в Иркутске 28 мая 1930 года. С 1947 года по 1949 год исполнял обязанности псаломщика в Верховленском соборе. В последующие годы география его служения Церкви велика. От просторов России до кафедрального собора Успения Божьей Матери в Лондоне. С 4 мая 2017 года Анатолий Кузнецов зачислен на покой по состоянию здоровья в Саввино-Сторожский мужской монастырь по личной просьбе.

В связи с богоборческой революцией в России почти весь XX век Православие подвергалось государственному гонению. В связи с этим наш собор неоднократно закрывался, был ограблен большевиками, пришёл в запустение и использовался не по назначению. Внутри собора в разные годы находились склад зерна, гараж для совхозной техники, школьные мастерские и даже сельский клуб. Как бы там ни было, верхоленцы собор не разрушили. Более того, в тридцатых годах прошлого века, при попытке эмиссарами большевиков взорвать собор, верхоленцы отстояли его всем миром. Но шурф, выкопанный для закладки взрывчатки под главный придел Воскресения Христова, ослабил фундамент собора. С тех трагических времён и до сей поры собор постепенно разрушается.

Шёл 1989 год, заканчивался май, когда я, впервые проходя по улице Федосеева, увидел Верхоленский собор Воскресения Христова. На фоне тайги, хоть и поблекший, но в позолоте восьмиконечных крестов на синих куполах, пятиглавый собор смотрелся великолепно. Когда я подошел с северной стороны здания поближе, обратил внимание на мемориальную плиту из серого мрамора, расположенную в простенке между окон. Надпись на плите гласила: «ЭТО ЗДАНИЕ /СОБОР/ ЯВЛЯЕТСЯ АРХИТЕКТУРНЫМ ПАМЯТНИКОМ XIX ВЕКА. ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВА». Кованая решётка, ограждающая парадные двери, была заперта на обычный замок. Над входом в собор, как лозунг, белым по кумачу красовалось: «Сельский Дом культуры». Большая трещина в стене змеилась от карниза главного придела Воскресения Христова до земли. Снаружи собор был не ухожен. Водосточных труб не было. Понизу во многих местах штукатурка отпала, уцелевшая была размыта дождями. В строгой сетке белых швов кладка из кирпича сырца цвета охры поражала совершенством чётких линий одинаковой толщины. Карнизы и верхние овальные проёмы окон были зубчато отделаны торцами кирпичей. Там, где штукатурка и побелка сохранились, тело собора ещё дышало молочным цветом. Долго я ходил и молча разглядывал здание. Хотел посмотреть изнутри, но никто не приходил, чтобы открыть замок на решётке.

В том же году, оформив арендный подряд, мы в две семьи поселились неподалёку от Верхоленска, в деревне Козлово. По разным причинам мне часто приходилось бывать в селе. В первую же поездку, закупив продукты в магазине напротив понтонного моста, я направился к собору, познакомиться ближе.

От перекрёстка улиц Федосеева и Пуляевского шла тропинка, ведущая на взгорок к собору. Между двух палисадников, по тропинке я поднялся к нему. Открыв дверь, впервые переступил порог собора Воскресения Христова и попал в северный придел, наречённый в честь святых угодников Николая Мирликийского, Тихона Задонского и Григория Богослова. В правом углу придела, в коридорчике, виднелась лестница наверх и скромная табличка «Библиотека». Поднявшись по лестнице на второй этаж, где раньше располагались хоры, я зашёл в библиотеку. В то время работали в ней заведующая Любовь Пуляевская и библиотекарь Марина Шелковникова. В тот раз осмотра здания изнутри не получилось, время поджимало. Я решил это важное дело осуществить в следующий приезд.

Вскоре такой случай представился. Как обычно, для пополнения запасов продовольствия для общины я снова приехал в село поутру. В магазине мне сказали, что машина с грузом будет только после полудня. Я, не мешкая, отправился продолжить экскурсию внутри собора. В то утро, судя по распахнутой решётке перед дверями, сельский клуб был открыт, но увеселительные мероприятия обычно проводятся вечером, значит, мешать мне никто не будет. Войдя в северный придел,

на этот раз я внимательно стал его осматривать. Сквозь пыльные стёкла зарешеченных рам пробивался утренний свет. В приделе царила пустота. Заметно выделялась перепланировка здания для светских нужд. Место алтаря закрывала стенка с дверью. Как позже выяснилось, там была комната для артистов художественной самодеятельности. Арочный проём между приделами был закрыт оштукатуренной стеной с дверью посередине. Дверь была приоткрыта, и я зашёл в главный придел Воскресения Христова. Судя по сцене на месте иконостаса и алтаря, по креслам в зрительном зале стало понятно, это и есть сельский клуб. Обходя по периметру зрительный зал, я обнаружил ещё одну не закрытую дверь и прошёл в придел иконы Казанской Божьей Матери. Похоже, и здесь совершалось святотатство. В восточной части придела возвышалась незамысловатая эстрада для музыкантов, как на обычной танцплощадке. В центре придела красовался бильярдный стол. Арочный проём для перехода верующих в главный придел был заложен кирпичной стеной. Внутренний вид здания разительно отличался от внешнего вида. Стены не так давно покрашены. Полы во всех приделах помыты. Горели дежурные электролампы. Под окнами во всех приделах висели батареи водяного отопления. Как позже выяснилось, клуб находился на содержании районного Отдела культуры, только отопление было подключено к системе теплоснабжения Верхотенской средней школы. Как бы там не было, здание содержалось нормально, хотя и не по главному назначению. Уж больно кощунственны светские увеселения в православном соборе. С другой стороны, если бы не клуб и библиотека, здание бы ещё раньше пришло в упадок.

В 1991 году весной, перед празднованием 350-летия Верхотенска, благодаря стараниям Александра Горбунова, заведующего Отделом культуры Качугского района, собор обнесли строительными лесами, обшили крышу новым кровельным железом, покрасили кресты, купола, и установили водосточные трубы. Строительные леса после ремонта крыши простояли в бездействии тринадцать лет, поскольку средств для дальнейшей реставрации не было.

В 1996 году летом произошла судьбоносная для меня встреча с молодым человеком в междугородном автобусе по маршруту «Жигалово — Иркутск». Свободным оказалось место рядом с ним. Мы познакомились, разговорились о житье-бытье в нашем многострадальном государстве. В беседе выяснилось, Вячеслав Ильин — православный, глубоко верующий в Господа нашего Иисуса Христа. Уже тогда мой собеседник высказал мысль о выселении сельского клуба из собора, дабы можно было проводить богослужения и думать о реставрации разрушающегося здания.

Основное движение по восстановлению церковных служб в селе Верхотенске началось в 1998 году, после посещения наших мест талантливым поэтом и прозаиком, членом Союза писателей России Валентиной Сидоренко, в то время исполнявшей обязанности советника владыки Вадима, митрополита Иркутского и Ангарского.

Осенью 2001 года, в связи с назревшей необходимостью переноса светских учреждений из православного собора, Александр Горбунов, заведующий Отделом культуры Качугского района, принял решение: разрушенный дом купца Харитона Соловьёва, жившего в Верхотенске до революции 1917 года, отреставрировать и переместить в него библиотеку. После восстановительных работ в октябре 2003 года библиотека сменила адрес. С переносом сельского клуба оказалось сложнее. Руководивший тогда администрацией Верхотенского сельского поселения Дми-

трий Дмитриев по согласованию с мэром Качутского района Андреем Калашниковым решил задействовать пустующую половину детского сада «Тополёк» под сельский клуб. После всех необходимых изменений в планировке пустующей половины детского сада, для использования её в другом качестве, всё было готово. Верховенский сельский клуб переехал на новое место в том же году. В связи с выселением светских учреждений из собора были отключены электроэнергия и отопление. Собор обезлюдел и, как следствие, стал ещё быстрее разрушаться. Подгнившие строительные леса, на которых повадились играть сельские ребята, пришлось убрать во избежание несчастных случаев.

В 2004 году встал вопрос о возвращении собора в Иркутскую Епархию. В Администрации села сочинили акт передачи и отправили в районный центр. Побродив по бюрократическим кабинетам светской власти, акт прибыл в Иркутскую Епархию.

Между тем, во время летних школьных каникул с 2005 по 2007 годы, протоиерей Дионисий Садовников, настоятель храма Успения Святой Богородицы в поселке Жилкино города Иркутска, приезжал в наше село с группой подростков. Под его руководством ребята занимались уборкой в соборе и в церковной ограде. 10 августа 2009 года внезапная смерть оборвала жизнь молодого священника, Царство Небесное рабу Божию и светлая память православных Верховенска!

В июне 2007 года Иркутская епархия направила в Верховенск на служение молодого иерея Олега Данилова с матушкой Марией и детишками. Стараниями тогдашнего главы нашего села Виктора Полушина, долгожданных приезжих временно поселили по улице Пуляевского в доме № 47. Молодая семья священника понравилась верховенцам за её усердие в духовном окормлении прихожан. Придел Иконы Казанской Божьей Матери стал преображаться. Появились царские врата, иконостас, алтарь. На стенах расположились иконы святых. На входе в придел была оборудована свечная лавка. Ежедневно проводились службы. Матушка Мария помогала мужу на клиросе. Нередко после служб организовывались субботники. Под руководством отца Олега, там, где это было материально возможно, проводился ремонт придела. Количество прихожан становилось всё больше и больше. Община набирала силы.

В том же году, одновременно с прибытием иерея Олега Данилова, Иркутская епархия прислала предпринимателя Александра Савченко для ремонта здания собора и прилегающей к нему территории. После обильных обещаний о восстановлении собора, Александра Савченко на общем собрании выбрали старостой прихода. Усердно участвуя во всех богослужениях, он укрепил свой авторитет. В начале деятельность старосты была бурной. Вызывали уважение закупка нового трансформатора для обеспечения собора электроэнергией, приобретение строевого леса для постройки колокольни. Он сумел наладить связь с владыкой Анатолием Кузнецовым. Владыка помнил о службе в Верховенске. На просьбу тотчас откликнулся и прислал перевод на 200 тысяч рублей. Полный набор именных колоколов был заказан и вскоре прибыл в Верховенск. Начали строить колокольню, одновременно обносить территорию храма дощатым забором. Закупили у селян избу под трапезную. Бурная деятельность Александра Савченко на этом закончилась.

Неожиданно для прихожан 25 февраля 2009 года на смену иерею Олегу Данилову, по распоряжению Иркутской Епархии, на служение в приход собора Воскресения Христова прибыл другой иерей, Евгений Семяков, с многочисленным семейством. По приезде в наше село, семья Семяковых из 11 человек, родители

и 9 ребятишек разного возраста, временно поселились в доме, освободившемся от семьи прежнего иерея. Но дом был чужой, и Семяковы были вынуждены найти другое место жительства. Таковым стала деревня Хабардина, находящаяся относительно недалеко от Верхоленска. В 2011 году состоялось переселение семейства.

А ежедневные службы в храме продолжились. Матушка Фотиния (светское имя — Светлана Семякова), дочери Юлия и Настя помогали батюшке на клиросе. У сыновей иерея тоже были свои обязанности во время богослужений. Обладая музыкальным образованием и поставленным голосом, матушка Фотиния восхищала прихожан своим пением, создавая благодостное восприятие молитв. Кроме того, её можно было видеть на сцене нашего нового сельского клуба. По возможности, она активно участвовала в культурной жизни села как солистка музыкальных номеров. Тяжело заболев, Светлана Семякова, Царство Небесное ей, ушла из жизни 19 сентября 2015 года, оставив о себе светлую память не только прихожан, но и многих жителей Верхоленска. Могила Светланы находится у стен собора, в котором прошли последние годы её жизни.

Теперь о старостах Верхоленского храма. Бурная деятельность Александра Савченко внезапно закончилась. Осенью 2014 года он, даже не выписавшись в паспортном столе, срочно выехал из Верхоленска. Прихожане были вынуждены определить нового руководителя хозяйственных забот прихода. На собрании 2 июля 2015 года выбор пал на прихожанку Веру Лапанову, но в 2017 году она уехала из Верхоленска в Качуг. 11 марта 2018 года прихожане выбрали старостой пенсионерку Екатерину Гутикову. Благодаря многолетнему педагогическому опыту организаторской работы в средней образовательной школе Верхоленска, новые заботы ей пришлось по силам. Немаловажным фактором явилась её активная жизненная позиция. Приход ожил. Стали проводиться субботники. На скудные средства прихожан произведён малый ремонт придела иконы Казанской Божьей Матери, закуплена современная печь и необходимый запас дров.

3 декабря 2018 года в здании Верхоленской Средней образовательной школы собрался актив села, чтобы обсудить реставрацию собора. Присутствующая депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по социальному и культурному законодательству Ирина Синцова рекомендовала отправить делегацию от Верхоленска для участия в работе «круглого стола» в Доме Правительства Иркутской области, поскольку вопрос о реставрации Верхоленского собора тоже значился в повестке обсуждения.

7 декабря в администрации села Верхоленск, под руководством мэра Муниципального образования «Качугский район» Татьяны Кирилловой, состоялась встреча с жителями села, заинтересованными в реставрации собора. Определился состав делегации в Иркутск для участия в работе «круглого стола». В неё вошли: глава Муниципального образования «Верхоленское» Александр Жданов, староста прихода Екатерина Гутикова и автор данной статьи.

10 декабря в районной администрации Качуга прошло обсуждение и корректировка видеоматериалов делегации, подготовленных к обсуждению на заседании «круглого стола» в Иркутском Доме правительства. После окончания реставрации Верхоленского собора планировалось составить туристический маршрут: Иркутск – село Анга, родина святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Сибири, – исторический комплекс наскальных изображений Шишкинская писаница – собор Воскресения Христова в селе Верхоленск.

13 декабря делегация во главе с мэром Качугского района Татьяной Кирилловой приняла участие в работе «круглого стола» в Доме правительства Иркутской области. По ходу совещания выяснилось, что акт о передаче, составленный Верховенской администрацией в 2004 году, непригоден. Не было указано само здание собора. По этой причине акт в план финансирования реставрационных работ на 2019–2020 годы не будет включен, пока мы не представим грамотно составленный акт. Учтя все замечания, акт был переписан после совещания и отправлен в Иркутскую епархию.

26 января 2019 года в Верховенске на осмотре собора работала комиссия. В её состав вошли: представитель Иркутской епархии протоиерей Алексей Середин, благочинный 2-го Иркутского округа; профессор кафедры «строительное производство» Иркутского научно-исследовательского университета Александр Петров; инженер ООО «Предприятие Иркут-Инвест» Иван Петров; глава Качугского района Татьяна Кириллова; депутат Качугской районной Думы Андрей Саидов, а также представители: глава села Верховенское Александр Жданов и староста прихода Екатерина Гутикова.

При осмотре собора для будущей реставрации были проведены фото- и видеосъёмка, замер трещин, исследовано общее состояние собора. Вывод комиссии неутешителен: здание собора находится в плачевном состоянии, для приведения в надлежащий вид требуются большие финансовые вложения.

В заключение, обращаюсь ко всем заинтересованным в реставрации собора. Хотя и не всё зависит от нас, но вместе мы сильны и сможем сдвинуть дело с мёртвой точки. Необходимо приложить все усилия Иркутской епархии и областному министерству культуры, чтобы спасти собор, шедевр каменного зодчества. Собор нужен не только верующим, ибо Православная вера являлась и является духовной скрепой русского мира. Опасность его разрушения велика, и пример тому — трагическая судьба Верховенского собора.



АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ

Я — русский, и устал извиняться



Я русский! Я устал! Устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор! За что?

За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй? За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле? За то, что, обороняя Порт-Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев? За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский в

1854 году, около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трёхкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников, и за то, что их командующий-англосакс застрелился?

Я русский, и мне надоело за это извиняться.

Я русский, и устал извиняться. За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок? За то, что не дали уничтожить сербов? За то, что, выполняя миротворческий долг, в Афганистане обменяли 15 тыс. на 200 тыс.? За то, что 90 десантников не дали прорваться 2500 боевиков через высоту 776? За то, что променяли 84 человека на 400? За то, что два батальона наёмников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады? За то, что советская армия освободила Европу от фашизма?

Может, мне извиниться за Баязет? За Брестскую крепость? За «атаку мертвецов»? За эсминец «Новик» или лидер «Ташкент»? А может, пред монголами — за то, что мы его сбросили? Или за Александра Невского, за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилок и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? А может, извиниться за девятую парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане?

За что я как русский должен здесь извиниться?!

За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие? За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали? За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев?

Я русский и устал извиняться!..

Я должен извиниться за то, что «немая, забитая и необразованная» Россия

дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва и Циолковского!

Да. Я устал. Я русский, и я устал извиняться за то, что я русский. За то, что во мне течёт кровь тех, кто прибивал щит на врата Царьграда, тех, кто разрушил Римскую империю, кто освоил 1/6 земной суши, тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов, тех, кто проехал по улицам Парижа, тех, кто на кораблях спасал будущие США от Британии (да, да, и это тоже!).

Почему только Россия и русские должны стесняться своей истории и посыпать голову пеплом?

Можно много перечислять, но... У каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться, но почему-то только Россия и русские должны стесняться своей истории и посыпать голову пеплом! И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство!

Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, «униженные» нами, нас простили? Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне? Лично я устал извиняться! Пора научиться гордиться тем, кто ты есть! Я русский, и хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились!

Пора научиться гордиться тем, кто ты есть!

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

«Доверять никому не буду...»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ РУДОЛЬФА БЕРЕСТЕНЁВА
«ВАКХАНАЛИЯ КРАСНОЙ ИНКВИЗИЦИИ»

В аннотации к книге Рудольфа Берестенёва «Вакханалия красной инквизиции» сообщается, что в неё вошли воспоминания очевидцев, рассекреченные документы, публикации из иркутской периодической печати, редкие фотографии начала XX века. Иногда документальные факты и фотографии, свидетели массовых расстрелов ударяют в сознание ярче, чем «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына или рассказы Шаламова: там литература, а здесь — документ.

Особенно поразили меня две фотографии из архива РУ ФСБ: на первой — военный в сапогах, галифе, фирменной фуражке с вытянутой вперёд рукой с пистолетом, а перед ним — спиной к нему, лицом к дереву — два парня на коленях со связанными руками, раздетые до трусов. Пистолет палача в тридцати сантиметрах от затылка одного из них. Через несколько секунд грянет выстрел.

Сцена явно постановочная: за кадром остаётся фотограф, участник исполнения приговора, он профессионально припал глазом к видоискателю и тоже ждёт выстрела, может быть, ещё с большим нетерпением, чем жертва. А может быть, хладнокровно и спокойно, профессионально — уже привык. Если жизнь — копейка, то и человек полушки не стоит.

В чём повинны эти белокожие юноши, может и не достигшие совершеннолетия, неужели настолько тяжки их преступления перед властью, что их надо непременно казнить, без суда и следствия, вывезти в лес и пристрелить как паршивых щенят у первой попавшейся сосны, а может быть, перед тем ещё и заставить выкопать для себя вечное пристанище (известный уголовный сюжет). Как перенесли известие о смерти их отцы и матери, а может быть, они были расстреляны ранее как враги народа, как будто сами не являлись этим же самым народом? А дети ответили за своих родителей? Нет нам полного ответа и никогда не будет.

На втором снимке, в ограде тюрьмы, нагруженный трупами грузовик, из кузова торчат голые ноги, свисают окоченевшие руки, между ними запрокинутая голова, лежащая на деревянном ребре борта. А рядом в длиннополом пальто и гражданской кепке, глядя на груды тел, безразлично дымит папироской, руки в карманах, чекист. «Поработали» — можно перекурить. Какое-то сатанинское спокойствие, как будто действие происходит не среди людей, а на скотобойне во время эпидемии сибирской язвы. Или это вершится страшный суд преступников над жертвами беззакония?

Вспоминается из другого времени, которое ещё не наступило, но грядёт, грядёт оно, когда бывшие палачи и новые жертвы окажутся равны перед нашествием европейских варваров:

*Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Мальчишеской жизнью твоей.*

*Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!*

*Не пряча от гневных сполохов
Сведённого болью лица,
Во всём открывалась эпоха
Нам — детям её — до конца.*

*...Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.¹*

1937 год в общественном сознании назван главным символом большевистского террора. Либералы-шестидесятники возвели этот год в некий знаковый символ, большинство обвинений Советской власти выводили из этого зловещего числа, для них не было другого символа, а то, что красный террор начался сразу после захвата власти, что с первых шагов новая власть устремилась на уничтожение основ традиционной русской жизни, об этом они предпочитают умалчивать. Как и о том, что принципы уголовщины исповедовались вождями всемирного беззакония ещё задолго до октябрьского переворота. В тридцатые годы «карающий меч революции» повернулся и против тех, кто видел своей целью уничтожение исторической России.

* * *

100 лет назад, 23 января (5 февраля) 1918 года, был официально опубликован декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Это стало началом беспощадных погромов Русской православной церкви.

Но ещё до публикации декрета, 14 января 1918 года, заместитель наркома государственных имуществ Ю.Н. Флаксерман подписал постановление об упразднении института придворного духовенства и конфискации помещений и имущества придворных храмов.

За день до этого, 13 января 1918 года, власти потребовали от братии Александрово-Невской лавры оставить монастырь и освободить его помещения под лазарет. Лаврское начальство согласилось разместить в обители раненых, но отказалось выполнить распоряжение об оставлении монахами монастыря.

Протоиерей Владислав Цыпин пишет: «Шесть дней спустя, 19 января, в Лавру прибыл отряд матросов и красногвардейцев с распоряжением о конфискации имущества, подписанным комиссаром А. Коллонтай. Но раздавшийся набат и призывы спасти церкви привлекли множество народа, и красногвардейцы вынуждены были бежать из Лавры. Однако вскоре они вернулись и, грозя открыть огонь, попытались выгнать монахов из обители. Народ не расходился, а престарелый протоиерей Петр Скипетров, настоятель церкви святых страстотерпцев Бориса и Глеба, обратился к насильникам с мольбой остановиться и не осквернять святыни. В ответ раздались выстрелы, и священник был смертельно ранен. 21 января со-

¹ Стихотворение русского поэта Алексея Прасолова (1930–1972)

стоялся всенародный крестный ход из всех питерских церквей в Александро-Невскую Лавру и затем по Невскому проспекту к Казанскому собору. Митрополит Вениамин обратился к народу с призывом к умиротворению и отслужил панихиду по погибшему защитнику святыни протоиерею Петру. На следующий день при большом стечении народа сонм иереев во главе со святителем Вениамином, епископами Прокопием и Артемием отпевал священномученика Петра Скипетрова в храме, где он настоятельствовал».

19 января (1 февраля) 1918 года Святейший патриарх Тихон издал «Воззвание», в котором анафематствовал «безумцев» — участников кровавых расправ над невинными людьми, поднявших руки на церковные святыни и на служителей Божиих:

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову... Святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы, содержавшиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа... И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми, и в частности — над святою Церковью Православной».

Заканчивается воззвание так:

«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной».

Расстрел в 1918 году царской семьи без суда и следствия в подвале Ипатьевского дома без пощады детей и прислуги открыл дорогу террору по всей стране. В этом преступлении не было даже формальных признаков законности. Власть перешагнула через заповедь «Не убий», и кровь захлестнула страну.

* * *

Брошюра Рудольфа Берестенёва «Вакханалия красной инквизиции» начинается цитированием «Постановления Иркутского Губернского Съезда Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, состоявшегося 24 января 1921 года» о вскрытии мощей святителя Иннокентия Кульичицкого, одного из самых почитаемых русских святых, известного не только в Сибири и России, но во всём православном мире.

Совершая паломничество в Палестину, я останавливался в монастыре св. Герасима на границе Иордании и Израиля, там находится храм, возведённый в честь святого преподобного Герасима Иорданского, иконостас подарен монастырю Русской Духовной Миссией, находящейся в Иерусалиме. Так вот на левой стене в ряду других икон находится особо почитаемый образ св. Иннокентия Иркутского.

Святыню ни оскорбить, ни унижить невозможно.

Уничтожение Православной церкви велось по всей стране целенаправленно и жестоко. Удалось разрушить тысячи храмов, но православный дух в народе уничтожить не удалось. И сегодня тысячи верующих приходят в Знаменский монастырь, чтобы поклониться мощам Святителя Иннокентия, который и в годы гонений не оставлял русских людей, помогая им выстоять.

Рудольф Берестенёв пишет:

«3 апреля 1933 года в Иркутске арестованы священник Владимирской церкви Фёдор Фёдорович Верномудров, священник Иннокентий Петрович Образцов, священник Преображенской церкви Иннокентий Иннокентьевич Попов и другие.

В обвинительном заключении И.И. Анисимову, И.Н. Шабалину, В.П. Лареву, Г.В. Стрекочинскому, Я.П. Тараненко, В.А. Богданову, Дионисию (Прозоровскому), Ф.Ф. Верномудрову, И.П. Образцову, С.И. Телятьеву, П.И. Колодезникову предъявлялись обвинения: «...используя религиозные предрассудки, указанная группа через организованные ею при церквях нелегальные группы «сестричеств» и «кликуш-мироносиц» распространяли по городу разные провокационные слухи, возбуждая верующих против мероприятий Сов. власти, и подрывали авторитет последней».

Вот что сказал на допросе иркутский протоиерей Фёдор Фёдорович Верномудров:

«Воспитан я был в религиозном духе, в любви к Отечеству, Государю и русскому народу; и в своей общественно-политической деятельности я до последних дней внушал эту любовь к Отечеству, Государю и всему русскому народу. Я до последнего времени считаю, что виновниками гибели Великой Руси, упадка нравственности, междоусобной вражды являются революция и те люди, которым чужды вековые устои Великой Руси и русского народа. Советская власть как власть антихристианская чужда запросам русского народа. Насилие с её стороны в отношении коллективизации, преследование религии, разрушение церквей, ликвидация кулачества ведёт не к величию страны, а к её обнищанию и гибели.

Свои убеждения я выражал на общественных собраниях, в церквях, во время произношения проповедей».

Гонения на православие не прекращались пять десятилетий, взрывы храмов возобновились в шестидесятые годы. И какой-то зловеющий смысл видится в том, что часть интеллигенции, обозначенной «шестидесятниками», назвала это возвращение к уничтожению святынь хрущёвской оттепелью.

* * *

Столетие Октябрьской революции отмечалось в стране без энтузиазма и воодушевления широких народных масс. Не является ли это знаком примирения? Кровавый отсвет кумачовых знамён ещё не рассеялся на лицах окончательно, но он потускнел. Минул век, самый жестокий и кровавый век России, много крови утекло с тех пор, а кажется, только вчера всех живущих опалило огненными языками «красной инквизиции».

* * *

Моя матушка родилась в июле 1918 года, когда был убит император Николай II и царская семья с прислугой.

Она была тринадцатым, самым младшим ребёнком в семье. Мой дед по материнской линии Пётр был хорошим портным, обшивал знатных людей небольшого уездного городка Кромы Орловского наместничества, позднее — области. После революции состоятельные кромчане стали покидать город, и дед лишился заказов. Он, как говорила мать, «сдвинулся умом», ходил по дворам и рассказывал, что нашёл клад на кладбище, под огромным валуном, и звал с собой выкапывать сокровища. Вскоре он умер. Семья имела большой дом с мезонином, сад. Со смертью кормильца семья обнищала.

Основание Кром датировано 1147 годом, тем же, что и основание Москвы. В 1924 году Кромы переведены в статус села. На гербе изображена крепость с сидящим на ней орлом, на голове орла — корона.

По переписи 1897 года в Кромах проживало 5586, в 1939 году — 2190 человек, наибольшая убыль населения пришлась на годы репрессий. Это, конечно, не значит, что недостающее население было репрессировано, но цифры — вещь упрямая. К 1959 году население увеличилось до 3176, уровень XIX века был восстановлен только к 1979 году — 5834, то есть понадобилось сорок лет.

После массовых репрессий и войны в маминой семье в живых осталось три сестры: Олимпиада, Мария, Ольга, и брат Григорий, танкист, прошедший войну с первых дней до Победы. Пять братьев погибли на полях сражений. Самый старший брат, Иван, принявший революцию и деятельно участвовавший в ней, погиб в Иркутской тюрьме в 1939 году.

Наверное, нет ни одной семьи в нашей огромной стране, которой не коснулись бы кровавые гонения в большой или малой доле.

Когда стало возможно, я обратился в КГБ СССР по Иркутской области, хотел узнать о своём дяде, о котором ничего не известно с тридцатых годов. Получил выписку из дела, сообщавшую, что Козлов Иван Петрович «...был арестован органами НКВД 23 ноября 1937 года по сфальсифицированному обвинению в том, что якобы являлся участником «право-троцкистской контрреволюционной организации».

В деле имеется справка о послужном списке Козлова И.П. из архива ЦК КПСС: «Член ВКП(б) с 1919 года. В 1919–1920 гг. военком полка, помощник командира полка по политработе, участник гражданской войны. С 1921 г. на руководящей партийной работе. Решением оргбюро ВКП(б) от 29.12.36 утверждён в должности заведующего отделом агитации и пропаганды Восточно-Сибирского крайисполкома ВКП(б). Решением оргбюро ЦК ВКП(б) от 17.12.37 снят с работы (мотивы указаны).

Каких-либо данных о принадлежности Козлова И.П. к оппозиции не имеется. В деле имеются только положительные характеристики».

По документам, имеющимся в деле, удалось установить, что Козлов Иван Петрович поступил в больницу Иркутской тюрьмы 17.12.38 с диагнозом «туберкулёз лёгких».

Умер в тюремной больнице 29 мая 1939 года от туберкулёза лёгких.

Место захоронения неизвестно.

Козлов Иван Петрович посмертно реабилитирован.

Кошунственно и неуместно звучит: «В деле имеются только положительные характеристики»...

* * *

Иногда можно услышать, что не надо ворошить прошлое, зачем вспоминать трагические события нашей недавней истории, зачем разжигать рознь между людьми, надо забыть и жить дальше. Наверно, так и нужно было бы поступить. А если не забывается, если постоянно возвращаешься к проклятым годам, ищешь ответ на вопрос, почему это произошло, почему это стало возможно в моей стране, с моим народом, с моими близкими, ищешь и не находишь, и это не даёт покоя, не даёт ясного, понятного и удовлетворяющего тебя объяснения?

1937 год — это вершина, точка излёта. Карательная машина набрала максимальную скорость, и если бы не упали обороты, инерция разрушения могла оказаться неостановимой, а последствия необратимыми. Приближающаяся война тоже повлияла на ослабление жестокости. Надо помнить и о том, что за четыре года до этого Гитлер пришёл к власти в Германии, и до начала Мировой войны оставалось два года. Понимание руководством СССР неизбежности войны и было причиной временной остановки машины смерти. Для войны нужны были «людские ресурсы».

* * *

Мы, живущие ныне, никогда не сможем представить всеобщей атмосферы подозрительности, страха, предательства и измены, трупным запахом пропитавших все поры человеческого бытия, все ткани одежд. И жертвы и палачи дышали этим тлетворным воздухом, напиваясь им, как наркотическим ядом. Подозрительность, доноительство и снова страх. Причём донос как средство обличения человека имел «универсальный» характер. Доносили не только по идеологическим мотивам, но и по «чисто» человеческим, бытовым и житейским: завладеть освободившейся жилплощадью в коммуналке, имуществом, а были случаи и попроще: завладеть женой ближнего.

Мой добрый знакомый, бывший глава администрации Качугского района Валерий Алексеевич Попов, рассказал мне историю. Она подлинна, но я не называю фамилий, потому что живы ещё родственники тех, о ком идёт речь, и они до сей поры не могут примириться.

«В 90-е годы были открыты списки репрессированных и разосланы по администрациям для выплаты компенсаций за утраченное жильё, тогда это было 15 тыс. руб. Ко мне стали приходить люди по этому вопросу. Пришла одна пожилая женщина и рассказала свою жизненную историю.

Она была замужем за К-вым, у них родилось трое детей. Вместе с мужем работал Г-ов, мужик завистливый и подлый. К-ова жена ему нравилась, он иногда заговаривал с ней об этом, но она не хотела слушать и обрывала его. В 1937 году он написал донос на К-ова, и того арестовали. И расстреляли, что стало известно только в 90-х годах. Женщина осталась с тремя детьми, и Г-ов стал домогаться её и своего добился, одна с тремя детьми она бы просто умерла вместе с ними от голода. Родились ещё двое в этом браке. Была дружная семья. А когда К-овы дети узнали из документов КГБ, как и за что был расстрелян их отец, прочитали донос, они возненавидели Г-ских детей, началась семейная вражда. Их потомки и сейчас живут и, что интересно, если дети расстрелянного упорные, трудолюбивые, прямые, то Г-ские — хитрые, непонятные, мутные. Видимо, кровь такая».

Я не стал называть фамилии ещё и потому, что дело не в конкретных личностях, а в обстоятельствах, в условиях, которые были созданы властью. Но это не освобождает самого человека от ответственности. Страх и подозрительность были не только в народе, но настигали и тех, кто вершил беззаконие по ночам, тайно, как преступники, нанятые в палачи. А значит, подсознательно понимали, что суд их неправый. Средневековая инквизиция была откровенней, хотя уступала по масштабности.

Рудольф Берестенёв приводит фрагмент из статьи А. Александрова и В. Томилова «Два ленских расстрела», опубликованной в газете «Восточно-Сибирская правда» 28 мая 1996 года, в которой приводятся свидетельства сотрудника НКВД, «приводившего приговоры в исполнение»:

«К концу 1937 года Сибирь явно отставала от центральных районов страны по масштабам ликвидации «врагов народа». Преодоление недостатков в работе органов внутренних дел началось с прибытием из центра Бориса Петровича Кульвеца, эмиссара НКВД. Из Иркутска он был командирован в Бодайбо».

Материалы архивного дела содержат рапорта «исполнителя» иркутскому начальству, ответы, показания самого Бориса Петровича Кульвеца, впоследствии арестованного и находившегося под следствием в 1940–1941 годах.

«По приезду в Бодайбо установил, что к операции аппарат не готовился. Кроме учётных списков, других материалов почти не было. Больше приходилось действовать чутьём.

С содержанием арестованных у меня чрезвычайно тяжёлая обстановка. Заполнены здания районного отдела, все коридоры. В каждой комнате по 10–12 человек. Полнейшая профанация следствия: допросы производятся в присутствии посторонних. Занял столовую, помещение милиции, склады районного отдела и пр. Тюрьма рассчитана на 75 человек. Арестовано более тысячи. Скученность, массовые заболевания, почти ежедневные смертные случаи. Уже умерло 9 человек. Ситуация может ухудшиться из-за скверного питания, отсутствия необходимого количества бань, большой вшивости».

Не только за колючей проволокой, но и в «исполнительных органах» ощущалась боязнь за свои дела, потому так тщательно скрывали свои действия каратели. Жестокость и страх ходят рядом. Следы преступлений заматывались основательно, и сегодня не найдены многие места массовых расстрелов.

Вот свидетельство того же исполнителя:

«Меня очень огорчило, что из двух партий в 260 человек по первой категории (т. е. расстрелу. Выделено мной — В.К.) идут только 157 человек... Прошу учесть, что в условиях Бодайбо большой контингент «врагов», которому надо дать почувствовать силу Советской власти. Для этого выделяемая Вами норма первой категории — капля в море, и не даст никаких результатов. Прошу Вас принципиально пересмотреть вопрос о лимите первой категории для Бодайбо.

Только сегодня, 10 марта, получил решение на 157 человек. Вырыли 4 ямы. Пришлось производить взрывные работы в вечной мерзлоте. Для предстоящей операции выделил 6 человек. *Буду приводить исполнение приговоров сам. Доверять никому не буду, и нельзя.* (Выделено мной — В.К.) Ввиду бездорожья можно возить на маленьких 3–4-местных санях. Сами будем стрелять, сами и возить и проч. Придётся сделать 7–8 рейсов. Чрезвычайно много отнимает времени, но больше выделять людей не рискую. Пока всё тихо. О результатах доложу».

«Чтобы не читали машинистки, пишу Вам непечатно. Операцию по решению Тройки провел только на 115 человек, так как ямы приспособлены не более чем

под 100. Операцию провели с большими трудностями. Сообщу более подробно при личном докладе. *Пока всё тихо, и даже об этом не знает тюрьма. Объясняется тем, что перед операцией провёл ряд мероприятий, обезопасивших операцию*» (Выделено мной — В.К.).

Можно подумать, что это был одиночка, народный мститель, желающий выслужиться. В его отчётах — животный страх и патологическая жажда убийства проступают, как кровь на белой рубахе казнённого.

Советская репрессивная система избавлялась и от палачей, знавших слишком много. Б.П. Кульвец был арестован 30 июня 1940 года. После восьмимесячного следствия 14 мая 1941 года он был приговорён к расстрелу Военным трибуналом войск НКВД Забайкальского округа. Однако по жалобе приговорённого высшая мера наказания была заменена 10 годами лагерей. Видимо, была учтена его кровожадность и патологическая ненависть к «врагам народа».

Находясь под следствием, он отметал все обвинения в совершении преступлений и утверждал: «Заявляю ещё раз, и с этим умру, что работал я честно, не жалея себя. Получил туберкулёз. Не гнушался никакой работой вплоть до того, что по приговорам из Иркутска сам же приводил их в исполнение. Приходилось таскать на себе. Возвращался с операции, обмазанный кровью. Моё моральное угнетение я компенсировал тем, что был убеждён, что выполнял нужное и полезное для Родины дело».

Мало кто жив из участников и свидетелей тех событий. Но раскол в обществе сохраняется, он потерял остроту и актуальность, но стоит в какой-то аудитории затронуть годы репрессий — и сразу люди оказываются по разным сторонам расстрельного рва.

Один пример. В центральной библиотеке районного городка прошла презентация книги местного автора. Пили чай, и, как часто бывает (мы не можем не касаться трагических событий нашей истории), кто-то заговорил о репрессиях и процитировал Евтушенко: «Пятнадцать миллионов на войне и миллионы — на войне с народом». Писатель З. взорвался:

— Какие миллионы, я читал серьёзное исследование о репрессиях с приведением данных переписи населения, было расстреляно всего 600 тысяч!

— 600 тысяч всего? Но это же население целого города Иркутска. Представь, что его нет! — взорвался я. — А сколько миллионов сидело по лагерям — и у каждого есть родители, жёны, мужья, сёстры, братья и другие родственники, эта трагедия коснулась миллионов. Да мы что, в конце концов, бездушные цифровые роботы, чтобы судить о масштабе национальной трагедии сложением чисел?! А страдания людей, а изуродованная жизнь детей врагов народа, родственников, нет, пожалуй, ни одной семьи в стране, которой не коснулись бы репрессии.

— Вот только о слезинке младенца мне не надо ничего говорить, — заметил писатель.

Начали доказывать каждый свою правоту. И, как известно, в спорах рождается не истина, а неприязнь друг к другу. И ведь действительно, ничего не закончилось, последствия невозможно обозреть, осмыслить во всей полноте, если мы сегодня, спустя 80 лет, спорим об этом, как будто это случилось вчера, а это значит, что трагедия до сих пор кровоточит, потому что коснулась в разной мере каждого.

Но не в 1937 году началось разрушение традиционного уклада русской жизни, и не закончилось, и закончится ли когда, если и сегодня живы сторонники подобных методов переустройства жизни?

Приведу ещё один рассказ Валерия Алексеевича Попова: «В девяностые годы я был главой администрации Качугского района, тогда вышел закон о компенсации имущественных потерь в годы репрессий. В приёмной каждый день народу было как у мавзолея, каждый со своими бедами. С утра до вечера. Уже к вечеру в кабинет вошла женщина в зелёном пальто, такой же шляпке. Было видно, что она не из местных. Я предложил ей присесть.

— Я вижу, что у вас много просителей каждый день. Знаете, мне ничего не надо, мне просто хотелось поговорить. Я родилась в Качуге, вначале умер отец, потом мать, я совсем маленькой девочкой переселилась к бабушке с дедушкой, ушла к ним пешком в Кистенёво. У деда была мельница на протоке, он был крепким, работающим, держали коров, лошадей, сеяли рожь, пшеницу. В 1933 году мне было десять лет, когда к нам пришли какие-то вооруженные люди, описали всё имущество, забрали со двора жнейку, ещё какие-то механизмы, вынесли из дома шкафы, кровати, сундук, и ещё что-то — словом, всё, остались одни табуретки, стол да скамейка. Деда посадили на телегу, сидит он спиной вперёд, свесив ноги с телеги, я запомнила его лицо: окаменевшее, белое, как обмороженное, молча смотрит, по щекам слёзы ползут.

Когда уполномоченные уехали, стали приходить соседи, кистенёвцы, молча заходили, брали из того, что осталось, утварь домашнюю, топоры, лопаты, серп, косу, вещи какие-то.

Был в Кистенёво некий человек, ходил, дёргаясь, кривой на левый бок, лицо перекошенное. Смотрит на меня, а на мне кофта была шерстяная, бабушка сама пряла шерсть, сама вязала. Подошёл, потрогал возле плеча, снимай, говорит. Я плачу, а что делать, мне страшно — сняла, отдала ему. Он ушёл. Потом ещё приходили соседи.

Бабушка сидела за столом, как каменная. Я ночью на лавку ложилась, на голую, стелить было нечего. На третий день бабушка умерла, не проронив ни слова, так и не встав из-за стола.

В Шишкиной тётка у меня жила, у неё своих детишек было шестеро, у меня больше никого не было на земле, я к ней пошла пешком вдоль речки. Так и жила у неё в няньках, детишки все были маленькие.

В сороковые годы на Куленге комсомольская артель возникла, там плели верёвки для карбазов, я ушла туда. Все были молодые, весело проводили время, работали с удовольствием. Потом я ушла в Качуг. В Бирюльке рубили карбаза, сплавляли их вниз по Лене, а в Качуге собирали на судоверфи. Познакомилась там с парнем, и мы поженились. Работали мы хорошо, нас часто поощряли: то платье, то пальто, то отрез сукна подарят. Вначале мы на сборке карбазов трудились, вскоре он стал работать лоцманом, сплавлял карбаза в Якутск, а потом я вместе с ним туда плавала. Обратно пешком возвращались. За сезон два раза получалось карбаза сплавить.

Жили мы с ним хорошо, но хотелось какой-то другой жизни, постоянной, устали мы ходить пешком, на перекладных, и Бог знает как добираться из Якутска до Качуга. И вот однажды сели мы с ним на пароход, который заходил из моря Лаптевых в Якутск, и оказались на острове Сахалин.

Жизнь там прошла, дети родились. А меня толкнуло в родные места, в Кистенёво. Прилетела в Иркутск, потом на автобусе в Качуг. Доехала до своротки на попутке, а там по тропинке лесочком иду, а навстречу мне тот юрод, который кофту у меня забрал, идёт, гнёт его и корёжит из стороны в сторону в тряпье ра-

зодранном, лицо нечистое, в струпьях каких-то, меня как током злоба прошила: убью гада, стала по сторонам искать палку, нашла подходящий сук, он приблизился, на меня посмотрел, не узнал, конечно, но я не смогла ударить: человек всё же, не скотина.

Походила по деревне, дом нашла, запущенный, кое-как узнала, там не то клуб был, не то контора какая-то. Посидела на бережку, поплакала, деда с бабкой вспомнила.

Вот снова приехала в Качуг: тянет на родину. Иду мимо администрации, зашла, зачем не знаю, мне ничего не надо, я знаю, что сейчас раскулаченным компенсации выплачивают за дома, но мне ничего не надо. Мы с мужем живём в достатке. Вы уж не обессудьте, что вам всё это рассказала, видимо надо было кому-то выплеснуть, родных у меня здесь никого не осталось».

И никто мне не докажет, что можно оправдать насилие над людьми революционной целесообразностью или борьбой с «пережитками прошлого».

Сегодня на Западе общепринято доносить на соседа по всякому подозрительному поводу явно и откровенно. Это делается для общего блага, бескорыстно. Доносы в нашей стране имели идеологическую окраску, а на самом деле были обыкновенным отражением человеческих пороков. Мы заражены вирусом гражданской войны, она в народе не прекращается, и не скоро уляжется в нас эта распря. Уходят поколения, а раскол остаётся. А может быть, и не успокоится никогда...

В 1982 году Восточно-Сибирское книжное издательство выпустило художественно-публицистический сборник «Борьба продолжается» к 65-летию образования органов ВЧК/ КГБ. Составители Ю.Г. Гуртовой и В.А. Логунов. Во вступительной статье говорится: «Помещённые в настоящем сборнике материалы, очерки и рассказы — это только эпизоды в той большой, кропотливой работе, которую провели и проводят сотрудники Иркутского управления государственной безопасности с момента установления Советской власти и до наших дней».

В сборнике нет ни одного материала, посвящённого репрессиям, деятельности ЧК в тридцатые годы. Значит, есть причины замалчивания, но какие? До объявления перестройки и гласности оставалось два года. Но и так называемая гласность не внесла ясности.

«Нет у революции начала, нет у революции конца». В чём главная цель октябрьской революции? Не в лозунгах, а в практическом воплощении? Уничтожить всё, что напоминало бы о Тысячелетней России, и в первую очередь Самодержавие и Православие — как физические и духовные скрепы русского народа.

«Бога нет, и значит, всё дозволено». Надо было разрушить почитание святых и само понятие святости, утвердившееся в русском человеке, и само величие Святой Руси растворить в кислоте, чтобы и названия страны не осталось в истории...

Всякое разрушительное явление природы имеет двойственное действие: наводнение смывает преграды на своём пути и напитывает влагой огромные пространства; землетрясение разрушает горы и каменные жилища, но ослабляет напряжение земных платформ; стихийные лесные пожары выжигают леса, но и удобряют почву. И действия людей подчас как будто повторяют действия природной стихии.

Тектонические разломы революций рожают пламенных революционеров, превращающихся затем в патологических убийц: Робеспьеры, Мараты, Дантоны. Дзержинские, Троцкие... Не случайно многие события Французской революции отражались в русской. И празднование взятия Бастилии стало советским праздником. Кинжально прямой, открытый образ Французской революции превратился в изуверски лукавое и скрывающее истинные мотивы воплощение в терроре. Шло целенаправленное разрушение и уничтожение человека и человеческого, уничтожались сословия: дворянство, духовенство, казачество, крестьянство, интеллигенция, военное начальство. И если бы не опасность грядущей войны, то итог мог оказаться более трагичным.

Недавно на всю страну прогремело к очередной годовщине освобождения Ленинграда от немецкой блокады сообщение о публикации архивных данных о героической обороне города-героя. Их-то зачем было скрывать семьдесят лет? Ответ напрашивается однозначный, хотя ничего не объясняющий: значит, было и есть что скрывать... А что говорить об архивах КГБ, связанных с террором! И там тоже, вероятно, есть что скрывать от народа.

Минувшее столетие переполнено фактами сокрытия правды от народа, правящая верхушка считала и считает, что народу надо выдавать информацию дозированно и тогда, когда это верхушке необходимо. Замалчивались и искажались события Октябрьской революции, Гражданской и Отечественной войн, уничтожение духовенства, крестьянства и казачества, массовые репрессии, войны, которые вёл Советский Союз во всех частях света. За этот исторический отрезок у нас нет ни одной исторической личности, которая в общественном сознании, в научном сообществе оценивалась бы однозначно. Будь то Ленин или Сталин, Столыпин или последний русский император Николай II.

К очередной годовщине со дня смерти Сталина на одном из бесчисленных телевизионных шоу схлестнулись за и против Сталина известные политики, историки, общественные деятели. Одни считали, что Сталин патологический убийца и тиран, другие доказывали величие его роли в индустриализации страны и победе над фашизмом. Высказали свои мнения и разошлись, унося с собою каждый свою правду.

А как же быть с исторической оценкой?

Предтечи Содома и Гоморры

Сорок лет назад в журнале «Крокодил» была опубликована карикатура: идут двое молодых людей, плечо в плечо, одинакового роста, в одинаковых мужских костюмах, в черных очках. Можно подумать, братья-близнецы. Но у одного бляха на груди с буквой «м», у другого — с буквой «ж». Читатели благодушно посмеялись: дурачится молодежь, ничего, повзрослеют — поумнеют, остепенятся! Но дурной пример заразителен, по пословице: «Что дурно, то потешно».

И вот вдруг некоторые молодые дамы изредка, раз в месяц (чаще боялись, неприлично же!), стали появляться в обществе (не в садоводстве, не в турпоходе, в тайге или на спортивных состязаниях, что вполне оправдано, не говоря уж о работе в спецодежде на стройке или на вредных производствах) в элегантных черных костюмчиках под вид мужских.

Однако эпатажные выходы эти никого не возмутили. Даже муж такой хулиганистой дамы восторгался: «Ух ты! Ну, надо же! Как это здорово! Как смело, как круто! Вот удивила-то! Вот распотешила-то, моя умница, молодчинка!»

А фактически это был поджог бикфордова шнура, инъекция вируса эпидемии пострашней гриппозной под названием ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МОДА! И пошло-поехало со всё возрастающей быстротой. Прошли времена, когда юная модница, собираясь на вечеринку, мучилась аж до истерики перед раскрытым шифоньером, решая, какое платье надеть. Прошли времена смешных мод мини или макси юбок. Теперь платья и юбки забыты, без раздумья впрыгнула в штаны, и вперед! А куда вперед-то?! Может, в никуда?!

Если идти по улице с опущенной головой и видеть окружающих людей только до пояса, можно подумать, что город наполнен исключительно мужчинами: мимо мелькают штаны, штаны, штаны. Впору воскликнуть: «Женщины, ау! Вы где, вы куда запропастились?!». Даже дряхленькая бабулька и та ковыляет в узеньких шкерах, словно у себя на кухне, где никто ее не видит, наверняка в правнучковых, в которых та упражнялась на уроках физкультуры, до того, как поступила в институт! Дожили! Допотешались! Уж если бабушки и прабабушки без страха и сомненья по улицам городов шеголяют в штанишках, значит, в обществе свершилось нечто грандиозное, сопоставимое по масштабу со сдвигом материковых плит в геологии!..

Когда же вдруг перед глазами возникает не подавшаяся всеобщему безобразию особа в обычном женском наряде, то прямо-таки ахнешь от изумления: «Ух ты! Ну, надо же! Как это смело, как круто!.. Уж так-то порадовала, утешила, молодчинка!» Впрочем, тут бывает и другая беда: если модница, случается, и в платье, то вульгарно от плеч и ниже пояса обнажена спина, и декольте до пупа. Но главный наряд все же — штаны...

Не потому ли вымирает русский народ, как, впрочем, и европейские народы, что юношам влюбляться не в кого: вокруг маячат какие-то странные фигуры в штанах, вроде манекенов, то ли вообще бесполое, то ли гермафродиты, что ещё отвратительнее. Что делать нам, мужикам?.. Может, с отчаяния юбки надеть по примеру шотландцев?! Бабы в штанах, а мужики в юбках! Поменялись обличьем! Апокалипсис!..

Такой стремительный, всего за каких-то 3—4 десятилетия, тотальный, демонстративный, словно по команде злого волшебника, отказ от традиционной национальной одежды можно трактовать как цивилизационный слом (энергетик сказал бы: «сдвиг по фазе»).

В СМИ трезвон на все голоса: чтоб одолеть все кризисы, оживить экономику, возродить духовность, взбодрить, вдохновить народ, надо вернуться к своим корням! А женщины взяли и наотмашь топором по этим корням!.. Да это ж не меньший грех, чем та ошибка, от которой страна до сих пор не оправилась, когда мы, мужики, после Октябрьской революции поверили красноречивым комиссарам, что Бога нет, позволили храмы закрыть, а священников истребить! Теперь пришел черёд женщинам сойти с ума!..

Однажды в Управлении соцзащиты в очереди по какому-то делу спросил сидящую рядом молодящуюся пенсионерку, давно ли она сменила платье на штаны.

— Да я, наверное, позже всех это сделала, — оправдалась она, — все как-то не осмеливалась, знаете ли, но вот поехала в гости к дочери в Москву. Иду по улице — все женщины в штанах! Ну, думаю, раз уж в столице нашей родины так принято, значит, так тому и быть! Чем я лучше или хуже других?! Не хочется выглядеть белой вороной!

Ужас, женщина в женской одежде — белая ворона, а в мужской — белая лебёдушка?! Ну и ну! Конформизм — страшная сила. Главное для рядового, среднестатистического человека — быть как все, не высываться. Быть как все — это звучит как набат, как гром небесный. Быть как все — и не надо ни о чем задумываться, а просто плыть вместе со всеми единым сплошным потоком!..

Русское цветное платье, русский яркий сарафан — это как весенний благоухающий луг, изукрашенный цветами, как берёзка, трепещущая под ветром миллионами листьев. Россия — имя женское, берёза, символ Руси, тоже носит женское имя. Александр Блок, поэт пушкинско-лермонтовского масштаба, образ Руси видел, как женщину, повязанную платком по-монашески строго, до самых бровей: «А ты всё та же, лес да поле, да плат узорный до бровей». Он имел в виду, конечно же, не только и не столько внешний благоприличный вид, но прежде всего глубинную, высоконравственную сущность Святой Руси. Женщина с распущенными волосами и в штанах — злая карикатура на сакраментальный образ Руси, на образ и подобие Божие, каковым является человек.

К сожалению, Православная Церковь, а тем паче Католическая, большой угрозы в этом не заметила, нет категорического запрета женщинам входить в храм в мужской одежде, хотя ещё в дохристианские времена в Библии сказано: «На женщине не должно быть мужской одежды, а мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом всякий делающий сие». «Второзаконие», 22.

В Михайло-Архангельском храме Иркутска, прихожанином которого я являюсь с 1964 года, всем входящим в свечную лавку бросается в глаза листок бумаги на двери с той грозной цитатой из Библии. Настоятель отец Каллиник Подлосинский большой враг сего безобразия — баба в штанах, и это всем ведомо, и всё-таки некоторые захожанки проскальзывают на литургию в штанах, но подойти после службы под благословление не смеют! Смешно наблюдать таких «богомолоков», которые, чтобы скрыть от глаз окружающих злополучные гачи штанов, не снимают длиннополых пальто, или камуфлируют ноги какими-то тряпицами, халатами, кухонными фартуками, потому что ни платьев, ни юбок у них уже нет, вывели за ненадобностью!..

Но не менее, а, пожалуй, большая мерзость, если мужчина облачается как женщина и демонстрирует это аж перед многомиллионной аудиторией по телевизору. Я не люблю эстраду и, когда ищу наудачу что-нибудь интересное, и на экране среди прочих шоуменов вдруг рисуется кривляющаяся мужская фигура в юбке и платке, у меня тошнота подкатывает к горлу. С судорожной поспешностью отключаю канал: даже одну секунду невыносимо подобное непотребство лицезреть!..

И всё-таки остаётся вопрос: кто, как, зачем, почему запустил разрушительный вирус «шикарной» моды («порношник» по терминологии законодателей мод). Оказывается, в теперь уже далеком прошлом актрисы планетарного масштаба изрядно постарались кардинально изменить облик женщины. Карла Бруни изумила всех, явившись на официальный приём, хотя и не в штанах, но в платье на голое тело, за что западное светское общество, задохнувшись от восторга, окрестило её «иконкой стиля» (вот какие у них иконы!), а Марлен Дитрих «прописала» мужской костюм в своём гардеробе.

Не она ли виновата в том, что собезьяничивавшие её наши недоросли попали тогда на страницы «Крокодила»? Не смог тогда наш благородный страж «Крокодил» пресечь в зародыше брючную эпидемию. Да, вся нечисть несется вместе с атлантическими циклонами оттуда, с запада. Эпатажные изыски в одежде, отторжение нормального внешнего вида плавно трансформируются в катаклизм глубинного состояния общества в виде, например, бушующей сейчас там гомосексуальной революции, отрицающей и даже запрещающей такие понятия и слова, как «отец-мать», «брат-сестра», «мальчик-девочка». Напридумывали аж 58 видов-гендеров сексуальной ориентации и навязывают всему миру, всем народам эти понятия на уровне государственных законов. Традиционная семья в вихре такой революции, да ещё в союзе с ювенальной юстицией должна исчезнуть, а вместе с нею исчезнет и сама человеческая цивилизация, чрезмерно заигравшаяся порношником с явными признаками Содомы и Гоморры.

* * *

Российская цивилизация в этом вопросе твердо стоит на завещанных предками позициях. Гомосексуалистов, то есть педерастов, в прошлые века русское простолудье в глаза никогда не видело. Слово «педараст» употреблялось в значении «подлец», при этом оскорблявший и оскорбляемый прекрасно понимали, что в половом извращении никто никого не подозревает. И когда в 60-х годах прошлого столетия в Иркутском госуниверситете разоблачили профессора Решетникова в сем грехе, разразился страшный скандал. Виновник переполоха казался всем не просто позорником, а чудовищем, оборотнем, скрывавшим под благоприличной личиной сатанинскую сущность. Власти предложили ему покинуть город. Чтобы реабилитировать себя в глазах своих студентов, он перед отъездом прочёл лекцию по этой теме, это, дескать, естественно, всегда и везде было, и в некотором роде признак элитарности, универсальности человеческой культуры.

Неугомонный враг рода людского, имя которому легион бесов, не дремлет, не успокаивается на достигнутом и запускает очередную программу по обезображиванию, расчеловечению человека: шепнул, внушил нежным отроковицам, что если обнажить живот на всеобщее обозрение, то это будет очень здорово, красиво, модно, круто. Сказано — сделано. И девушки бестрепетной рукой укоротили и без

того кургузые кофточки и курточки почти до размеров бюстгалтеров, оголили животы так, чтоб непременно была видна пуповина, одна из сокровенных, интимных частей женского тела!..

Заходишь в автобус — позади кабины шофера плакат, на коем красуется очаровашка в джинсах и бюстгалтере. Возле моста через Ангару в Иркутске, около трамвайных и автобусных остановок, где нескончаемый людской поток, в подобной же обнаженности стоит манекен как образец для подражания. Впрочем, теле-реклама может предложить вроде бы уже забытый, немодный образец одеяния — платье, да-да, платье, только не повседневное, а вечернее, бальное, с совершенно голой спиной от затылка до копчика!.. Законодатели экстравагантных мод подсказывают: глупо останавливаться на достигнутом, голая талия — это один из вариантов раскрепощения, надо смелее экспериментировать, смелее придумывать что-то сногшибательное, ибо это так интересно, прекрасно, круто!..

В пенсионерской газете Иркутска «Мои года» в конце 2013 года в рубрике «Обо всём понемногу» была такая информация: в Пакистане в каком-то селении две юные сестры танцевали под дождём. За это они вскоре были убиты. Убил их двоюродный брат из лучших побуждений, чтобы смыть позор родни за их нечестивое поведение!.. Шариат разрешает убийство за бесчестье.

Для человека христианской цивилизации танцующие хоть под дождём, хоть под солнцем юные девицы вызвали бы у нас улыбки, умиление, но отнюдь не изуверское неприятие сего. Что поделаешь, иная цивилизация, иные понятия, что хорошо, что плохо. А что случилось бы в ортодоксально исламской стране со столь суровыми правилами поведения, если бы мусульманка пошла по улице с голым брюхом?.. Думается, что вначале увидевшие её попадали бы в обморок от ужаса, потом, очухавшись, ринулись бы на неё и не просто убили, а растоптали, как лягушку.

* * *

Мудрые иерархи Православия публичное обнажение живота, напоминающее эстрадный «танец живота», очень сурово осудили как хулиганский вызов общественной морали. А ведь большинство девиц с голыми брюхами носят на шее крестики. Как же иначе-то? Ныне на Руси все крещёные. Мода. В храмах на богослужениях они, разумеется, не бывают, и мнение священников их нисколько «не колышет».

Изначально грешный человек посягает отменить стыд, раскрепостить, освободить от Веры, от того «ига», о котором наш Господь Иисус Христос сказал: «Иго моё благо, и бремя моё легко». Однако жажда обходиться без этого ига привела к эпохе так называемого Возрождения, которая подготовила Великую французскую революцию, когда неистовые якобинцы пытались веру во Христа заменить выморочной верой — культом Высшего Существа. Атеистами они, следовательно, не были. Через столетие в России грянула Октябрьская революция с уже откровенно безбожной, богоборческой идеологией. Движение нудистов, загорающих голышом на пляжах, мужчины и женщины вместе, как и публичная демонстрация девицами своего голого брюха, — это всё та же, давнишняя, позорная, и феодальная, и буржуазная, и большевистская борьба со стыдом, с нравственностью, с целомудрием.

Главный признак, отличающий человека от животного, как об этом прекрасно сказано православным философом Владимиром Соловьёвым в книге «Оправда-

ние добра», это стыд. Стыд за то, что он, как и животное, имеет тело, стыд за гениталии (потому-то их и прикрывают), ибо создан не для примитивного существования, удовлетворения естественных потребностей и продолжения рода, хотя без этого не обойтись, но преимущественно для высших, духовных целей, для творчества в широком его понимании, для доброделания, для поклонения Творцу видимого и невидимого. Революции вполне закономерно посягают, ниспровергают и веру в Бога, и стыд. Отнюдь не случайно в первые годы советской власти в революционизированных кругах интеллигенции была модной теория «стакана воды» (решиться на интимную связь, дескать, так же легко, как выпить стакан воды!) и секса «без черёмухи» (никакого ухаживания за дамой и преподношения ей букетов цветов!).

Ну а теперь рассмотрим голобрюхую моду не в морализаторском аспекте, а в сугубо житейском. Летом оголившихся дурёх можно даже извинить: жарко, дескать, бедняжкам, жаждут охладиться. Но у нас в Сибири по пословице десять месяцев зима, остальное лето, в мае ещё холодрыга, а в начале сентября иной раз уже снег вывалит! Медики внушают: ничем не прикрытая часть тела — это как труба, через которую стремительно улетучивается тепло! Испокон веков деревенский житель берёт зимой спину от переохлаждения и прежде всего поясницу, непременно подпоясывался кушаком. Кушак — это своего рода шарф длиной не менее двух метров. Вспомним хрестоматийное: «ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке». Даже долгополый, почти до земли овчинный тулуп затягивали поверху кушаком, чтобы ненароком струйка холода не просочилась снизу, не застудила поясницу. А ныне я видел даже в середине зимы прелестниц с голой полоской тела между джинсами и тёплой зимней курточкой, специально укороченной!!! Чу-до-ви-щно!..

Что такое радикулит, девушкам покамест неведомо, а это грозное, тяжкое заболевание. Во время очередного обострения не то что наклониться, шевельнуться больно. У меня однажды был такой жуткий прострел, что до костылей дело дошло. Специально открывать холоду поясницу — это же безумие, это значит умышленно калечить себя!..

Змей-Искуситель, соблазнивший Еву яблоком с дерева познания добра и зла, продолжает нас искушать снова и снова, заражает жаждой ненасытного потребления, прельщает обилием яств, вещей, увеселений, насыляет одну за другой эпидемии болезней и умопомешательств, лишает памятования о божественных заповедях и тем самым отдаляет от главного назначения человека на Земле.

Несколько позже начала эпидемии, обезобразившей женщин, под сокрушительный удар попали наши головы, вернее, головные уборы.

* * *

Очередная странная, дикая, абсурдная эпидемия, словно бы от высыпавшихся из космоса вирусов, вместе с привычными ОРЗ и ОРВИ. Задним числом можно сколько угодно возмущаться и гласом вопиющего в пустыне восклицать: «Кто, кто, кто первый придумал и сказал, что головные уборы не нужны, более того, внушил окружающим, что это умно, правильно, естественно, полезно, безопасно для здоровья и, самое главное, современно, модно?!..» Ведь каждый здравомыслящий человек должен был бы возразить тому безумцу: «Ну что за ерунда, что за чушь собачья? Что ты несёшь, что ты городишь?! Испокон веков у всех народов в

любых климатических условиях в любое время года люди носили головные уборы для защиты головы от ветра, снега, града, дождя, от солнечного зноя, от лютого мороза. У воинов каски служили защитой от пуль и ударов холодного оружия. У казачьего сословия папахи хотя и не спасали от пуль и сабель, но считались важнейшим достоянием, атрибутом чести, гордости и воинской доблести. У царей короны почитались символом политической, государственной власти.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что как только наш прародитель Адам обзавелся одеждой, он тотчас позаботился и о головном уборе. Во все времена существовали корпорации мастеров, семейные, родственные коллективы умельцев, где знания и умения передавались от дедов-прадедов детям, внукам, правнукам, и всегда считалось, что, да так оно и есть, изготовить головной убор высокого качества — дело непростое. Прежде чем сшить, например, меховую шапку, надо путём многоэтапной, тщательно выверенной технологии обработать шкуру животного. И сколько же их, всевозможных головных уборов, существует на свете: шляпок, шляп, кепок, фуражек, малахаев, камилавок, беретов, шлемов, шлемников, шишаков, картузов, сомбреро, тубетеек! Названия всех уборов не перечислишь! А у женщин — шалей, платков, панам, косынок, шляпок!.. И вот всё это великое, неисчислимое множество привычных, необходимых, каждодневных наших носильных вещей вдруг объявляют ненужным, лишним, никчёмным бараклом, подлежащим устранению из обихода и забвению?! Абсурд?! Разумеется. Сумасшествие?! Конечно!.. Идиотизм?! Безусловно!..

Отчасти в этом можно обвинить телерекламу, но лишь отчасти. Первыми отринули головные уборы, приняли к исполнению «безголовую кампанию» мужчины, с некоторым запозданием к этому сумасшествию присоединились и женщины. По телеящику десять раз на дню показывают, как шикарные девы расчёсывают длинные, ниспадающие с головы шелковым водопадом волосы, и на все лады расхваливают, внушают юным дурёхам, что надо этим природным даром гордиться, демонстрировать всем. И они демонстрируют, ходят с распущенными волосами. Едешь, к примеру, в автобусе, а сидящая впереди девица разметала свои волосы по спинке сиденья, на повороте надо бы придержаться за спинку, но тогда придёт-ся схватить и даже слегка дернуть девицу за космы.

Волосы женские — да, это её ценное достояние. Если женщина лысая — ну что это за женщина?! Позорище!.. Но у женщин всегда было заведение прибирать их соответствующим образом: или узлом-башенкой на макушке головы с помощью шпилек, или заплетали в косы. Песня была «её коса — её краса» именно по поводу того, что отвергли женщины эту давнюю русскую традицию и просто-напросто распустили волосы во всю длину и ходят распустёхами, и думают, что это очень здорово! А ведь глагол «распуститься» означает нечто нехорошее: «опустился» означает «низко пал», «распутная» означает «нравственно падшая».

Ну летом-то ладно, большой жары у нас в Сибири не бывает, да и не работают люди ныне, кроме сельчан и дорожников, на открытом воздухе долго и много, можно и голоушим щеголять, а как зимой-то при наших традиционно суровых морозах?! Не дай Бог, застудишь беговую головушку?! Однажды в автобусе в зимнюю пору спросил мужчину средних лет, не мёрзнет ли его голова без шапки, и он, к моему удивлению, ответил очень умно и самокритично: «Не мёрзнет, потому что в ней нет мозгов!».

В оправдание такого неадекватного поведения можно привести пословицу: «Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле». Однако же максимализм

подобного совета не выдерживает критики, да и сама эта «мудрость» придумана ради третьего компонента «ноги в тепле» заведомо в ущерб голове и брюху, чему поспособствовали подвернувшиеся кстати красивые рифмы «голоде — холоде».

Впрочем, в клящие морозы здравый смысл всё ж таки побеждает, и большинство людей едут на работу в шапках или капюшонах курток, но как только схлынут лютые морозы, головные уборы остаются дома на полках.

Нет статистики, сколько здоровья отняла у народа российского эта пустоголовая эпидемия непокрытоголовия и голобрюшия. А если бы стало известно, сколько часов в очередях к врачам отстояли больные люди, сколько бюллетеней о нетрудоспособности им выписано было, сколько бюджетных денег на оплату их потрачено, сколько таблеток, микстур и прочих лекарств не всегда на пользу проглочено, то ужаснулись бы, потому что цифры эти, конечно же, астрономические!.. Увы, дорого, причем во всех смыслах, обходятся нам революционные эпидемии подобного типа!..



Иркутяне не узнали Александра Вампилова

По следам обсуждения фильма «Облепиховое лето»

В декабре прошлого года в отделе краеведения Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялось обсуждение фильма режиссёра Виктора Алфёрова «Облепиховое лето», посвящённого Александру Вампилову.

В качестве экспертов в нём приняли участие: директор Культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова; театральный критик, член Союза журналистов России, руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя имени А. Вампилова Лора Тирон; кандидат филологических наук, кандидат культурологии, научный сотрудник музея В.Г. Распутина Валентина Иванова; специалист по издательской политике Иркутского Дома литераторов, главный редактор литературно-художественного альманаха «Первоцвет» Светлана Зубакова; кандидат искусствоведения, вдова Глеба Пакулова Тамара Бусаргина; кандидат филологических наук, старший преподаватель Иркутского филиала ВГИК Наталья Кузнецова. Среди выступавших — поэт, лауреат нескольких литературных премий, советник по культуре губернатора Иркутской области Владимир Скиф, а также слушатели, собравшиеся в зале.

Предлагаем запись этого разговора с небольшими сокращениями, не повлиявшими на смысл высказываний.

Открыла обсуждение заведующая отделом краеведения библиотеки заслуженный работник культуры России Ирина Терновая.

Ирина Терновая. Добрый день, дорогие друзья! Когда мы устраиваем ту или иную встречу, мы всегда переживаем, будет ли заполнен зал. Сегодня такой проблемы нет, наоборот, потребовались подставные стулья — значит, фильм задел за живое. И тем, кто фильм видел, и тем, кто не видел, думаю, будет интересно посмотреть отрывки и услышать мнение экспертов, а также отклики зрителей. Надеюсь, разговор будет плодотворным и будет заложена традиция обсуждений новых фильмов в стенах библиотеки, особенно тех, что связаны с землёй и людьми Сибири.

Ведущий Иван Попов, главный библиотекарь отдела краеведения, в начале разговора предоставил слово директору туристической компании «Территория Байкал» Даниилу Марышкину.

Даниил Марышкин. Я сразу же оговорюсь, это довольно-таки удивительно, что директор туристической компании будет говорить о фильме. Экспертом я себя назвать не могу. Скорее, я — просто человек, знакомый с актёром, который снимался в роли Александра Вампилова, и с режиссёром. И потому немного расскажу о съёмках фильма и его создателях. Да, действительно, мы возили Виктора Алфёрова, Андрея Мерзликина с супругой и сценаристку Ольгу Погодину-Кузмину на Байкал. Почему мы? Потому что «Облепиховое лето» было фильмом-открытием нашего иркутского фестиваля, и мы были в числе спонсоров. Нас попросили помочь в организации путешествия на Байкал. Поэтому я немного пробежусь по фактам, которые мне известны.

Виктор рассказывал о том, что они старались максимально придать живость этому фильму, и перед съёмками он прочитал полностью все письма Александра Вампилова, помимо рассказов, и старался строить сценарий, основываясь на этих письмах. Съёмки в большинстве своём проходили не в Иркутске. И это была большая боль режиссёра, потому что он, конечно, хотел весь фильм снять на Байкале, но не мог этого сделать: финансирование получили маленькое, и большая часть съёмок проводилась в Московской области, ещё часть — в Карелии, это было относительно близко. Но для него принципиальным вопросом было снять последнюю сцену на Байкале. И они смогли, что, я считаю, большое достижение, — привезти на Байкал съёмочную группу. И, чтобы выглядело всё более правдоподобно, создатели фильма здесь, в Иркутске, заранее через своих коллег нашли лодку, которую они купили на Ангаре, потом доставили в Листвянку.

В Листвянке у них был всего лишь один день на съёмку, потому что съёмочный день стоит очень дорого. К тому же начался сильный шторм на Байкале и, чтобы снять заключительную сцену, они ставили корабль «Ярославец» таким образом, чтобы он закрывал волну, и лодку не переворачивало. Актёра с оператором посадили в лодку, а режиссёр сидел на берегу и переживал, как это будет происходить. Съёмки у них, в принципе, удались, но Виктор всё равно сожалел, что не получилось всё отснять на Байкале.

На фильме-открытии мы были, присутствовали на кинофестивале, и скажу так: мне лично фильм очень понравился. Теперь конкретно о людях, которые делали это кино.

Андрей Мерзликин — такой необыкновенный человек, хороший актёр, которому, на мой взгляд, роль удалась. Он с душой подошёл к этому вопросу, притом что реально времени было очень мало — он участвует сразу и в съёмках сериала, и в театре играет, есть у него и свои постановки... Весь фильм был снят за очень короткий промежуток, если не ошибаюсь, за девятнадцать дней. Так что выдержать главного актёра на съёмки было довольно-таки трудно, но он нашёл время, за что, я считаю, мы можем быть ему благодарны.

Ольга Погодина-Кузмина, сценарист, рассказывала о том, что в кино часто бывает так: сценарист напишет сценарий, его работа считается выполненной, и дальше режиссёр с ним уже не общается. Они же с Виктором в очень хороших отношениях и регулярно ездят вместе на кинопоказы. Ольга — душевный человек. «Облепиховое лето» показывали не только в Иркутске — фильм вышел в широкий прокат.

О Викторе Алфёрове хотелось бы сказать отдельно. Во-первых, это первый игровой фильм, который он снял как режиссёр, что, в моём понимании, довольно-таки трудно. И ещё один факт, который, наверное, мало кто знает. Я часто слышу, как говорят люди, которым фильм не понравился: ««Облепиховое лето» снял какой-то москвич!» На самом деле Виктор не москвич, он наш земляк, родился и вырос в Республике Бурятия. Родители у него до сих пор живут там, он недавно прилетал в Улан-Удэ представлять «Облепиховое лето», ездил к ним. И он хотел снять кино не только о великом драматурге, но также и о любви к малой родине, об уважении к предкам.

Жена актёра Андрея Мерзликина, Анна, очень ему помогала. Я думаю, если бы не было Анны, то у Андрея бы в принципе не было бы такого графика, потому что она тот человек, который полностью координирует его жизнь. Мы возили их на мыс Скрипер, на Большую Байкальскую тропу. У нас была идея показать им

Байкал, а у них — желание хоть недолго побыть на Байкале и, скажем так, выдохнуть после большой работы. Надеюсь, это удалось.

В моём понимании — это фильм, который даёт определённый импульс молодому поколению (надеюсь, что молодое поколение его смотрело), чтобы почитать Вампилова. Это такой стимул для людей познакомиться с историей родного края, с историей своего города, хотя, возможно, многие здесь скажут, что это не биографическое кино. И его никогда не презентовали как биографию, а как игровое кино, то есть, как фильм, в котором они что-то добавили от себя, а что-то взяли из исторических фактов.

Ведущий представил экспертов, передал слово им и предложил залу принять участие в дискуссии.

Галина Солуянова. Так получилось, что вот уже многие месяцы отвечаю на вопрос, нравится мне фильм или не нравится, но думаю, что если мы связаны с культурой и искусством, то нам по этим критериям негоже рассуждать: нравится — не нравится, нужны аргументы. Какое-то время назад, когда ещё фильм не вышел на экраны, было 80-летие со дня рождения Александра Валентиновича и 45-летие со дня гибели, одним из событий стал приезд этой съёмочной группы. Ранее уже стало известно, что такой фильм снимается, и что роль Александра Валентиновича исполняет Андрей Мерзликин — актёр с очень хорошей театральной школой, очень выразительный. Но меня сразу смутило, что на момент съёмок актёру по факту было 45 лет. И потом, наш герой — он же хрупкий вообще-то был, да? А это такая сажень косая в плечах, очень убедительный... Но я вообще люблю, когда люди работают профессионально, не важно, рабочий по обслуживанию здания или учитель, или доктор, или журналист, то есть нужно знать основы профессии и стараться их качественно выполнять. Когда посмотрела фильм, то поняла, что Ольга Погодина-Кузмина, прошу прощения, если бы она была здесь, я бы сказала то же самое, очень безответственно отнеслась к написанию сценария. Там такое огромное количество фактических ошибок! Например, что Александр поступил в Иркутский государственный университет в 1958 году, но он поступил в 1955 году, со второго захода.

И вот когда начался шквал вопросов: Галина Анатольевна, ну как вы к этому относитесь? Я сразу на нашем сайте Центра Александра Вампилова написала страничку. Чтобы ничего не забыть, вам её сейчас прочту, скороговоркой.

Скажу, что мне не нравится, когда говорят, что Александра Валентиновича не издают уже десять лет, ну, это такая мягонькая ложь: хотя бы в серии, но он издаётся по школьной программе. Мало того, в Иркутске, пусть давно уже получается, в 2002 году, но состоялось рождение потрясающего талмуда «Драматургическое наследие», где все пьесы с научными комментариями и с вариантами, то есть это такой очень серьёзный талмуд. И нам, тем, кто живёт на земле вампиловской, об этом говорить, это... просто не смешно. И всё-таки шла на фильм с какой-то радостью, что про нашего Александра Валентиновича впервые снят фильм. А до этого впервые в качестве персонажа драматург Вампилов появился на сцене ТЮЗа имени Вампилова в пьесе Владимира Жемчужникова, которую он сделал на базе переписки драматурга с Еленой Якушкиной, завлитом Ермоловского театра. И тогда Людмила Стрижова сыграла Якушкину, а Володя Безродных сыграл Вампилова.

Хочу ли я смотреть этот фильм второй раз? Не хочу. Мне очень больно, правда, очень больно... Шестнадцатого декабря состоялось обсуждение фильма на радио в Бурятии и меня, как и Александру Павлову, директора Кутуликского музея, при-

глашали приехать в Улан-Удэ, но я у них недавно была, и сказала, давайте — по телефону. Говорила опять про это, и знаете что? Начинаешь говорить и начинаешь волноваться, потому что есть художественный замысел, а есть художественный умысел, где очень много неправды. И понимаю, что сейчас, в ближайшие, допустим, полвека, фильм об Александре Валентиновиче не снимут, просто уже бюджетные деньги на это выделялись, кто ещё раз даст? И по фильму, где очень много неправды, фактической, художественной, люди будут судить о Вампилове, об Иркутске. Но так как я по второму образованию учительница русского языка и литературы, то давайте вспомним: мы, когда писали сочинение, сколько за него получали оценок? Две: за раскрытие темы и за грамотность. Фильм называется «Облепиховое лето», вы хоть в одном месте это лето увидели? Лета — нет. Нашего сибирского, сочного, яркого, красочного, его элементарно нет. Ну, «кол» надо ставить! И кто бы там ни говорил, что вот мало денег, мало того, мало сего.

Юра Квасов вчера звонил... Вы его знаете, у него самое большое количество портретов Александра Валентиновича, именно ему драматург дважды позировал для портрета, который сейчас висит на входе в Литературно-театральный салон Центра А. Вампилова. Юра спрашивает во вчерашнем разговоре: «Ты идёшь? Что ты будешь говорить?». Отвечаю: «Что чувствую, то и буду говорить. В Сибири, мы здесь все что чувствуем, то и говорим». А он: «Ну, это как?! Иркутска вообще нет с его церквями, с его красивой архитектурой, вообще это не присутствует!». Понимаю, ребята, тогда не беритесь, если у вас нет ни сценарной основы, нет у вас денег под это, но если вы уж взялись, будьте, пожалуйста, добры, отработать по полной программе.

И теперь несколько слов по поводу того, как отвечала на все вопросы.

Почему убивают почти на два года раньше Николая Рубцова? Это есть в фильме. Ну это что такое? Он и так тяжёлую жизнь прожил, а тут на экране ему ещё и укоротили её на два года. Премьера «Старшего сына» в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова состоялась в 1969 году. Я в Иркутск приехала четырнадцатилетней девочкой и в 1967 году поступила в Иркутское театральное училище. Мы бегали в театр имени Охлопкова, бегали в массовках. Не помню, какое количество раз посмотрела эту прелестную постановку «Старшего сына». Вообще, это было событие для Иркутска! И чтоб какой-то артист... Когда Владимир Симоновский — режиссёр, Юрий Суракевич — художник, Аркадий Петрович Тишин — народный артист, которого мы все знали, перед которым преклонялись (в роли Сарафанова), Валера Алексеев и Вадюша Лобанов — Сильва и Бусыгин, Танечка Хрулёва, потом ввелась Леночка Мазуренко. Боже, какая потрясающая атмосфера была, какой спектакль был! Какое оформление было, как Евгений Алексеевич Корзун снимал премьеру, где Вампилов вышел, стесняясь, и его артисты выталкивали, как они говорили!.. Какой бы там артист мог кинуть в лицо роль? Ребята, вы что?! Вы нашу легенду, которой в нынешнем году пятьдесят лет, вы её почему разрушаете? Кто вам дал такое человеческое и профессиональное право?

Почему Елена Леонидовна Якушкина, знаменитая театральная матушка Александра Вампилова, будучи завлитом Ермоловского театра, вдруг становится завлитом у Олега Николаевича Ефремова во МХАТе имени Горького?

Откуда эта линия про КГБ, ребята, откуда? Знаю, да, я десять лет отработала актрисой на сцене ТЮЗа, Ленина 13. И мы все абсолютно знали, что каждый спектакль, дневной, вечерний — в зале сидит кагэбэшник, но мы всегда знали, что те кагэбэшники, которые за нами наблюдали, как бы мы чего там не ляпнули,

крайне образованные, талантливые люди. Был такой Иванов, который знал три иностранных языка и умел рассуждать о театре, то есть он был сведущ в этом, а это... что это такое? Вы можете себе представить, чтоб Николай Михайлович Рубцов и Александр Валентинович Вампилов у дамы, у «золотой молодёжи», вошли и в чужом доме открыли холодильник, достали бутылку водки и колбасу? Это что за чушь такая? Просто с ума схожу!

И вы мне скажите, пожалуйста, Валентин Никитич Вампилов — бурят, интеллигент, человек, который преподавал русский язык и литературу, который писал стихи, у которого в двух браках восемь детей, который сына назвал в честь «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, потому что ребёнок младший родился в год столетия со дня гибели Пушкина, — он какой в фильме национальности? Я не поняла, якут, наверное? И что он в лодочке-то плавает, что он там делает? Что это за образ такой?

Почему драматург Вампилов, чьим рабочим местом является фактически рабочий стол, с друзьями, среди которых и как бы исполнитель роли Сарафанова, а там разница в возрасте большая с Аркадием Петровичем Тишиным, — это же всё на наших глазах было! — почему они выносят стол и поджигают его, в присутствии дочери? Не нахожу ответа. И знаете, то, что они в финале делают, что исполнитель роли Глеба Иосифовича Пакулова якобы нечаянно убивает Александра Вампилова... Тут уже вообще просто в ужасе, потому что по факту, за рукояткой мотора «Вихрь» находился Александр Валентинович, и Глеб Иосифович, который мне рассказывал, как это всё на самом деле произошло... Лично видела, в каком он состоянии был после этой трагедии на Байкале. И при мне ему открытым текстом говорили: «Почему не ты? Почему Вампилов?». Видела всю эту трагедию, и как человек на многие десятилетия ушёл из литературы, а потом издал потрясающий роман на потрясающем русском языке. Знаете, они же уже никто не могут ответить: ни Якушкина, ни Рубцов, ни Пакулов, ни Вампилов — вообще никто! И вот сейчас Андрей Мерзликин — он ходит по передачам, ну, понятно, такой солнечный отблеск от Вампилова... То он в «Спасе» у Николая Бурляева в финале говорит о том, как он сыграл, то он в «Вечернем Урганте» у Ивана Урганта, и пришёл на съёмки передачи в костюме, рубашке и в обуви, в которой он снимался в роли Александра Вампилова, не понимаю...

И Евгений Алексеевич Корзун, говорю, очень много кто на меня выходит, видимо, потому что я просто с 1996 года только этим и занимаюсь, и как-то, видимо, в сознании народа, вот имею, может быть, право говорить более внятно. И Корзун мне пишет письмо, пыталась до него два дня дозвониться, чтобы спросить разрешения: можно прочитать или нет? Но тут, думаю, ничего крамольного нет, если выскажу мнение нашего знаменитого кинооператора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии. Он вообще человек, который очень много сделал: он снимал Александра Вампилова, а потом был двадцатиминутный фильм о Вампилове 1987 года. Вот что написал Евгений Алексеевич: «Галя, как тебе фильм? Я, честно говоря, остался неудовлетворённым. В целом фильм — ходульный. Глеб в фильме вовсе не Глеб в жизни, они не знают, каким он был. Многим сценам я бы сказал: «Не верю, совсем не верю, как-то всё нарочито, подчас отдаёт самодеятельностью». Не взят в картину Товстоногов, гений театральной режиссуры, авторитет мирового масштаба, обративший внимание на Вампилова! Это ли не удача?! Есть же, документально снято, что он говорит о Сане, совсем недавно это мы показывали в Тулуне на встрече. Показано,

как Саня мотается, пробивается тяжело и непросто. А кто не мотался, кто не пробивался? Кого с первой строки записали в гении и дали дорожку в рай? Нет таких и вряд ли будут! Мне рассказывала Дина Морисовна в БДТ (завлит Дина Шварц), как Саня присутствовал на репетициях, какое там было общение с актёрами. Разве это не интересно? В фильме постоянно скользила тема диссидентства, не знаю, так ли она актуальна для Сани. Зачем менять историю гибели Сани? Чем плоха настоящая история? Даже лодку «казанку» заменили на деревянную. Я что-то таких на Байкале не видел! А мне Глеб показывал настоящую, на которой они налетели на топляк, она была с внушительной вмятиной в носовой части. Я, может, допустил бестактность, спросив у Глеба, как было дело при катастрофе? Он мне сказал: «За рулём сидел Санёк, а я прикуривал, прикрывшись от ветра в телогрейке, и в этот миг последовал удар». В фильме всё наоборот, за рулём сидит Глеб, Саня к берегу не плывёт, Глеб ему не кричит: «Не плыви, утонешь!», Саня всё-таки доплыл, встал на ноги и упал замертво. Режиссёр и автор сценария, что называется, «не по Сеньке шапка». Вот такое у меня впечатление... Конечно, будут говорить, что это явление в кинематографе, но это только из вежливости или лести».

Владимир Скиф. Можно два слова сказать? Я сейчас готовлю том воспоминаний о Вампилове. Накануне мы издали том о Валентине Распутине, это очень большой труд почти на 500 страниц, 450. Сейчас так получилось, что следом за Распутиным готовлю том воспоминаний о Вампилове. Мне пришлось перечитать заново всё, что написано о Вампилове. Работа очень большая, я даже собрал больше материала, чем по Распутину — почти 680 страниц, пришлось убирать.

Так я к чему это всё говорю: почему они могли? Вообще, если берутся за дело дилетанты, просто ужас овладевает, когда это всё смотришь. Вот когда Евтушенко снял «Детский сад», вы помните, был такой фильм? Я помню статью кинокритика в «Советском экране» и надпись вот такими крупными буквами: «НЕУДАЧА». Хотя у Евтушенко много друзей, но, тем не менее, эта статья была опубликована, хотя критику говорили и звонили: что ты делаешь, он же поэт?! А он напечатал эту статью. Так вот это неудача, которую нужно написать ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ! Господи, какой мерзкий Рубцов! Как можно было великого русского поэта таким показывать... Это что такое вообще?!

Вот сидит вдова Глеба Пакулова, которая провожала их в тот путь и Сашу в последний путь. Они с Ольгой вместе сидели. Я включил её воспоминания о Вампилове, «Та ночь и тот день...» называется, когда выйдет — прочитаете, и вторая статья о Зилове. Почему нельзя было приехать к Тамаре Георгиевне и посоветоваться с ней? У меня слов даже нет!

Валентина Иванова. Вместе с фильмом я посмотрела репортаж о его съемках. О чем говорит сценарист в этом репортаже? Она говорит о том, что «идти по биографии» — это просто, перечисление фактов — это неудачный ход, и задача съемочной группы добиться понимания через образ, представить художественное осмысление личности драматурга. Попробую ответить аргументами самого сценариста: как раз художественное осмысление и не состоялось. Рассмотрим только этот аспект фильма. И в первую очередь, образ Александра Вампилова. Фотографии и документальные кадры доносят до нас образ удивительного человека: физически пластичного, гибкого, который хорошо двигается. В фильме другое. Неуклюжесть, мешковатость — видимый индикатор душевной сути другого человека, не Вампилова. И угрюмость, удрученность тоже не совпадают с воспоминаниями, фактами, которые мы знаем о драматурге. Это явный психологический диссонанс, с которым не хочется соглашаться.

Теперь образ отца. Достаточно посмотреть на его фотографию, сделанную в заключении, чтобы понять стойкость, мужество этого человека — интеллектуально, высокоодарённого. В фильме отец вялый, неуверенный, образ блеклый. Трудно поверить, что такой человек был идеалом сына. Образ жены. В документальном фильме «Больше, чем любовь» (2006 г.) Ольга Михайловна предстаёт яркой, сильной женщиной. Она решительная, страстная, она — интересная. В фильме образ жены одномерный, невыразительный. Только внешняя красота, влюблённость и преданность мужу. Бросилась в глаза манекенность исполнителей неглавных ролей. Ощущение такое, что актеры пришли из салона красоты: у них блестящие, лакированные, целлулоидные лица. Словно идет показ мод, и они на подиуме. Мизансцены не проработаны, очень затянуты: сел — встал, ушёл — пришёл. Всё это, разумеется, создаёт метраж фильма. Но где школа Станиславского?

Несколько слов по поводу сценария. Он слабый. Что в нем особенно отталкивает — это то, что сквозным образом, стержнем сценария стали сцены застолья, в ресторане, на лавочке, дома, на столике во дворе. Одно застолье, второе, третье — в разных вариантах. И это фильм о великом драматурге и великом поэте (Н. Рубцове)? Когда же Вампилов писал, если в его жизни были одни застолья? Художественный образ должен нести обобщение, которое останется в душе зрителя и в русской культуре.

В репортаже о подготовке фильма прозвучала фраза, которая запомнилась. О том, что режиссёр читал письма Александра Вампилова. А читал ли он пьесы «Двадцать минут с ангелом», «Историю с метранпажем», «Дом окнами в поле»? Поэтики этих пьес нет в фильме. Она там отсутствует, вместо неё — нагнетание угрюмости, удручённости. Уместно вспомнить слова Валентина Григорьевича Распутина, современника и друга драматурга: «Драму Вампилова от задержек постановок преувеличивают, Вампилов был уверен, что пойдёт». Таким образом, основная линия сюжета о непонимании драматурга надуманна.

Хочется возразить по поводу всех сцен во дворе. Двор пустой, в нем нет ни взрослых, ни детей! Создаётся впечатление, что в Иркутске существуют только Александр Вампилов, его семья и друзья. Город безлюдный, если исключить кадры кинохроники, которые выпадают из художественного пространства фильма. Всё это не просто нелепости — это, на мой взгляд, лень души, равнодушие к материалу, к судьбе драматурга, да и к зрителям тоже. Фильм с действительно сочным, многообещающим, солнечным названием «Облепиховое лето» оставил только раны, царапины. Ситуация по-дачному знакомая, когда собираешь облепиху — остаются царапины на руках, которые саднят. После просмотра фильма — на душе. И они долго будут болеть.

В современной культуре с постмодернистской эстетикой, точнее, антиэстетикой, теория дискурса любое произведение искусства определяет как акт высказывания, в котором художник волен сказать всё, что хочет. Исследователи уже отмечают появление «псевдодокументального» кино с жанровыми вариантами: «насмешка над документом», «постмодернистская мистификация», «документальная сказка» и так далее. И здесь приходится только развести руками: постмодернистский мир диктует свои законы.

Лора Тирон. Все мы очень переживаем, когда идёт речь о тех людях, которые жили рядом с нами, ходили по этой земле. Посмотрев фильм, тоже задалась вопросом: а разговаривали ли члены съёмочной группы, приезжая в Иркутск, с теми, кто знал лично Александра Валентиновича? Нет, не разговаривали. А их ещё немало, живых свидетелей, кто мог бы много чего рассказать.

Я понимаю молодого человека, он возил Мерзликина, возил съёмочную группу, он с таким энтузиазмом рассказывает, как ребята старались. И я пытаюсь понять, если они старались, то почему же так неглубоко вошли в судьбу драматурга, при этом имея желание сказать своё слово о Вампилове? И теперь мы недоумеваем от набора банальностей в фильме, от нестыковок по времени, просто нелепостей. В начале фильма промелькнул текст, что по жанру это вольная, так сказать, фантазия, «художественное осмысление». Но что она даёт? Вряд ли у молодых, кто не читал Вампилова, но посмотрел фильм, возникнет желание что-то о нём прочитать, открыть его пьесы: в фильме он фигура мрачная, неинтересная, односторонняя. Где его мятущийся нрав, многогранность, где его друзья, его фонтанирующая любовь к жизни, к людям, ко всему, что окружало? Мы видим, ходит обречённый какой-то человек, недовольный тем, что его пьесы не ставят. Получилось схематично, однобоко, плоско, неглубоко. Но мы же не схемы в жизни, мы все — живые, у нас есть противоречия внутренние! Тем более у такого гениального человека.

Мерзликин, конечно, хороший актёр, он старается изо всех сил, но погружения в характер и подключения зрительского, на мой взгляд, не происходит. Сидишь, смотришь набор картинок. Сценарист с режиссёром почему-то решили, что на иркутской премьере «Старшего сына» в шестьдесят девятом году Вампилов должен получить сообщение о гибели Рубцова, в то время как он погиб на два года позже... Для чего нужно это смещение фактов? Это как-то «активнее» двигает сюжет?

Задолго до обсуждения я написала электронное письмо вдове и дочери Александра Валентиновича. Мне было интересно узнать их мнение. Елена Александровна ответила, что фильм они пока не видели. Их, правда, приглашали в Москве на премьеру, но они не смогли поехать. Они читали сценарий и попросили какие-то места категорически убрать, они были не согласны с ними, потому что многого из того, что прочитали, не существовало в природе. Александр Валентинович представлен каким-то нищим, в истоптанных ботинках... На этом заостряется внимание. Попросили переделать линию жены — в сценарии выписана абсолютно недалёкая женщина, ей, собственно говоря, играть-то там нечего, она никакая, не запоминается, выпадает. Такой она и осталась. Повторно сценарий им не был прислан. Создатели кинофильма оговорку сделали, что имеют право на фантазию — фильм не биографический, здесь допустим вымысел, их собственное осмысление событий. Тогда делайте героя не Вампиловым, выдумайте кого-то другого. Подобный поверхностный подход возможен в школьном или студенческом драмкружке, но недопустим в серьёзном кино и по отношению к большому драматургу.

Мы все ждали этот фильм с большой надеждой. К великому сожалению, она не оправдалась...

Тамара Бусаргина. Я должна сказать, что нам всем очень повезло — могло быть ещё хуже. В семнадцатом году, летом, когда они приезжали на Байкале всё снимать, в нашем Доме кино съёмочная группа оставила так называемый синопсис. Кто не понимает — это краткое изложение сюжета. Естественно, добрые люди мне сказали: «Приди — мы тебе его покажем». И вот он у меня, этот синопсис. Предваряется он такой вот преамбулой: «Вампилов не только одна из самых влиятельных фигур в современной русской драматургии, но и первопроходец, новатор, человек, который вынес правду на театральную сцену. Именно поэтому мы считаем своим долгом вынести правду о его жизни на экраны кинотеатров по всей стране и за рубежом».

Вот такая заявка. Я думаю, ну, слава Богу, они точно знают, что надо делать. Я, конечно, обрадовалась, когда узнала, что Вампилова будет играть Мерзликин, вроде бы такой умный актёр, тем более что он не однажды говорил, что Вампилов — это Гагарин нашей драматургии. И я так для себя решила, он точно знает, что он такого великого в русской и советской драматургии «нагагарил», наш Александр Валентинович. И что-нибудь хотя бы из пьес, что поясняло бы это, или из его писем, или из его совершенно потрясающих записных книжек. Но ничего этого я не увидела. Но это не самое главное. А вот вам синопсис.

Начинается всё в Москве. Тусовка идёт, тут наши тусующиеся диссиденты, как будто бы они так много значили в его жизни. Вот я, честно говоря, не помню, что бы он вообще о них говорил, чтоб они его хоть как-нибудь занимали. Его гораздо больше занимало всё то, что происходило в жизни. И самая большая неправда этого фильма, ведь посмотрите, там даже за кадром нет упоминания о Распутине! И это большущая ложь, потому что их дружба, я бы сказала соперничество-дружба, была плодотворна и для того, и для другого!

В общем, он попадает в компанию диссидентов, там Рубцов и так далее, «ему тяжело с друзьями студенческих лет, масштаб его духовных запросов и амбиций поднимается над их мелкими бытовыми интересами». Самое главное тут начинается: «Вампилов понимает, что и жена не может понять его, хотя он чувствует её любовь и преданность». Внезапно говорится о том, что пьесу ставит местный театр и так далее. И тут самое главное: «друзья и жена Вампилова отдыхают на природе, снимают друг друга на любительскую камеру. Мы видим, что у жены Вампилова и Глеба, его лучшего друга, завязываются странные отношения. Снимающая Вампилова, Глеб переворачивает камеру, как будто Вампилов падает в воду. Тем же вечером Вампилов оказывается на поселковой танцплощадке и его избивают, друзья не приходят к нему на помощь, Вампилов снова видит во сне своего отца...». Здесь кое-что про отца, про карьериста Ковальчука, редактора управления культуры, и так далее. «Единственная отдушина в этом сгущающемся воздухе — природа, Байкал. Вампилов стремится туда как человек, мучимый жаждой. Он едет на Байкал, чтоб посмотреть деревенский дом». Всё это правда. Но это не самое главное! «Важно только разобраться в семейных отношениях: что делать с женой и другом, которые предали его. Тема предательства очень важна и болезненна для Вампилова: он уже знает, что окружающие предали его отца — написали на него донос». И кончается чем: «Вампилов садится в лодку с другом, чтобы поговорить о том, что же с ними происходит. Лодка переворачивается на глазах у множества свидетелей (видимо, из-за накала разговора), Вампилов погибает, не доплыв до берега — не выдержало сердце. Друг на берегу просит людей только об одном: «Спасите Саню!» (вот это было), но его уже не спасти».

Вот когда мы это прочитали, я прочитала, пригласила литературоведа, свою хорошую приятельницу, которая заинтересована, тоже занимается этим вопросом. И мы Погодиной-Кузминой вначале написали маленькое письмо, а потом решили поговорить по телефону. Разговор наш в чём заключался: если вы хотели дешёвую мелодраму на троих сообразить, то вы, может быть, без Вампилова всё-таки обойдётесь? Они нам сказали: «Вы знаете, это очень важно, что вы нам сказали. Но мы уже сами думали». Я так поняла, что с Ольгой Вампиловой разговаривали уже и, может быть, им сказали, что надо бы эту чепуху-то переделывать. Мы, говорит, поняли, мы вам пришлём другой сценарий. Они, правда, по почте прислали другой сценарий, он у меня тоже в компьютере есть.

То есть изначально было понятно, что это такая компания, которая взяла задачу абсолютно не по своим силам, и им с этим никогда не справиться. И вообще, это студия документальных фильмов, с чего они взялись за художественные, да ещё за такую тему, я, конечно, совершенно не понимаю. Вначале решила: это настолько всё несерьёзно, не стоит и разговаривать, но дело-то в том, что молодые тоже должны знать наших писателей. И, честно говоря, мне иногда даже жалко наших старушек. Была на просмотре, собрались люди, может быть, моего или младше моего возраста, из тех, кто ещё знал Вампилова. Тема, конечно, особенная, и я увидела: ещё только титры идут — наши старушки уже свои платочки вынули, уже готовы заплакать. Тема не просто особенная, это страшная тема, это тяжёлая тема и для нашей семьи. Поэтому с некоторой ревностью относилась к этому фильму, но потом поняла, что это абсолютно дешёвая поделка, в ней ровным счётом ничего нет, и изначально ничего не предполагалось.

Наталья Кузнецова. Вы знаете, когда речь заходит о великом художнике, то, безусловно, арт-объект, которым стал фильм, может вызвать массу претензий у всех: у биографов, литературоведов, музейщиков, тех, кто занимается творчеством такого человека. И, посмотрев этот фильм, я задумалась: в последнее время в кинематографе появилось очень много фильмов о великих писателях, художниках, то есть очевиден интерес к теме искусства. И в фильме «Облепиховое лето» мы тоже видим попытку обращения к этой теме. Парадигма в мировом искусстве от логоцентризма к видеоцентризму сменилась — это факт. Но, по-моему, насущная необходимость вернуться именно к логоцентризму, за счёт которого и держалось искусство в целом, культура в целом.

И вот здесь я, наверное, не в строчку со всеми. Мне показалось, что, может быть, да, в первом приближении не так глубоко, как хотелось бы, но создатели фильма попытались на материале биографии Вампилова всё-таки поговорить о непростой судьбе художника. Другое дело, не могу с вами не согласиться, может быть, можно было обойтись, действительно, без Александра Валентиновича, без тех ляпов, которые были связаны с его биографией. Может быть, речь нужно было вести вообще об искусстве, вообще о художнике в то время, в наше время, о состоянии его души, о том, к чему он устремляется. У нас у каждого есть свой миф о тех или иных великих. У нас у каждого есть свои претензии в отношении не такого, не своевременного прочтения этого художника кем бы то ни было. Так будет всегда. И, вероятнее всего, каких-то идеальных картин о Вампилове не будет никогда, потому что все его знают разным.

Удача это — неудача? Может быть и неудача, но, как и первые работы в литературоведении о Вампилове были не слишком глубокими, так, наверное, повторюсь, первое приближение к этому образу в кинематографе — это первое приближение, спорное, но всё-таки оно есть. То, что мы здесь собрались, чтобы высказать свои пожелания, и делаем это со всей нашей сибирской прямоотой и откровенностью, на мой взгляд, очень хорошо. Это здорово, и это напутствие, может быть, тем кинематографистам, которые будут пытаться воссоздать жизнь писателя, художника в своих произведениях.

Галина Солуянова. Наталья Михайловна, спасибо большое. Не могу не апеллировать. Помните, в прошлом веке Таланкин снял фильм о Петре Ильиче Чайковском с потрясающим Смоктуновским, с потрясающим Леоновым, с потрясающей Шурановой. Если человек берётся за что-либо, я опять о профессионализме, ну, вы соответствуйте хотя бы, иначе же это, по Фаине Раневской, «плевок в космос»!

Светлана Зубакова. Не знаю, почему попала в список экспертов, честно говоря, удивлена, потому что не могу, конечно, сравниться со знанием жизни Александра Валентиновича с Тamarой Бусаргиной и Галиной Солуяновой, поэтому буду говорить как зритель и как человек, который любит творчество Вампилова.

Мне кажется, самая большая проблема создателей фильма в том, что они сами для себя чётко не определились в жанре. Одно дело, когда биографический фильм — тогда, конечно, будь добр, обратись в Центр Вампилова, поговори с близкими драматурга, вдовой Глеба Пакулова. То есть сделайте нормальную реалистичную картину. А здесь, как мне показалось, они немножко перепутали: взяли жизнь реального и любимого человека и писателя, на её основе сделали некий сюр, нет, не сюрреализм, метафоризм, взяли автора вообще. То есть жизнь автора: драматурга ли, художника ли, актёра ли, любого человека искусства, с его проблемами.

Галина Солуянова. Тогда фамилию Вампилов не надо использовать.

Светлана Зубакова. Так вот я о чём и говорю, создатели «Облепихового лета» запутались в этом сами. Тогда нужно изменить фамилию Вампилов — пусть это будет писатель с чертами нашего Вампилова, может быть... А, может быть, и не только. То есть взять проблему автора, его произведения, воплощения его произведений на сцене, реализацию этого автора. Фильм тогда будет о конфликте художника, его таланта и социума. Таланта в определённом социуме, с непониманием близких и друзей. Тему Моцарта и Сальери можно было притянуть, но тогда давайте не будем писать, что это Вампилов. И когда я смотрела фильм, в самом конце поймала себя на тревожной мысли: «Боже мой, неужели сделают подобный фильм по Распутину! Вот только бы не сейчас, попозже...». Временная дистанция, осмысление должно быть.

Я люблю Вампилова, много читала о его творчестве, знаю, что он родился не в Кутулике, а в Черемхове. Это уже первое, что бросилось в глаза. Хотя, хочу возразить, сцены сожжения стола — это реальный факт, я читала, он рубил стол. Рубил торжественно, когда купил новый. Кто-то рассказывал из нашей писательской организации. Это было — это факт. И второй факт — это с портретами писателей, он тоже был в действительности.

Владимир Скиф. Это в Литинституте было. В коридоре Рубцов собрал портреты, принёс в комнату.

Светлана Зубакова. И сказал: «Мне выпить не с кем, придётся мне пить с вами: Пушкин, Лермонтов...». Он так сказал: «Литературный институт большой, а выпить не с кем».

Голос из зала. Поговорить.

Светлана Зубакова. Поговорить.

Лора Тиرون. Понимаете, когда что-то вынуто из контекста и на этом построен целый эпизод...

Светлана Зубакова. Это другой разговор... Образ — да. Но это факт, это не выдуманное.

Лора Тиرون. Органичности нет.

Тамара Бусаргина. И секретарь парткома там ни при чём. Анекдот очень милый и замечательный.

Светлана Зубакова. Ещё хочу сказать, что этот фильм будут воспринимать совершенно по-разному люди разных поколений. Молодые его приняли. Люди, которые жили с драматургом в одно время, и знают факты, которые нарушены грубо, они этого не примут. Вот здесь два разных взгляда. Не знаю, где-то на-

хожусь посередине, потому не могу судить. И ещё. В принципе меня устроила операторская работа...

Абсолютно согласна, что попытка есть, попытка неуклюжая, неправильная, где-то грубая, но не думаю, что они хотели специально всё сделать плохо. Конечно нет. Конечно, они неправильно поступили, что не поговорили со знающими людьми. Но эта попытка была, и, мне кажется, с чего я начала, попытка метафоричности: вот этого тумана, чайки убитой, отца... Что-то немножко спутали по жанрам, со сверхзадачей... То есть или биографический фильм, или метафорический.

Не знаю, кажется, во многих людях это пробудит желание подумать... Хотя бы узнать, кто такой есть на самом деле Вампилов. Музыка меня устроила в фильме, если уж так разбирать. Не знаю, но что-то меня заставило задуматься, и некоторые сцены я смотрела с замиранием сердца, внутри была какая-то тишина. Не очень согласна с тем, что Мерзликин совершенно не потянул роль. Да, грубоват, высоковат, не такой гибкий, внешность — фактура не та. Десять лет разницы в возрасте читаются сразу на экране, но вот это молчание, довольно органичное в кадре, меня устроило. Внутренняя жизнь актёра, я бы не назвала его ходульным, честно! — образ, попытка осмысления этого образа у актёра была всё-таки. То есть это было, вот Галина Анатольевна знает, это было: «Я в предлагаемых обстоятельствах». И то, что молодые, действительно, будут судить о Вампилове по этому фильму — это так и будет. И остаётся только надеяться на то, что после фильма они прочитают его произведения.

Лора Тирон. Никто ещё не сказал по поводу костюмов. Костюмы просто вопиющая вакханалия, и они решили, что в 70-х годах так одевались? Мятые костюмы? Это первое, что бросилось в глаза.

Слушательница 1. Я увидела объявление — будет обсуждение фильма, а потом посмотрела фильм, и сразу скажу: пришла в ужас. К впечатлениям выступавших мне добавить совершенно нечего. Просто теперь возникает много вопросов и нареканий, что авторы не справились. Зачем всё время показывали отца, плывущего в лодке? Метафора? Может быть. Но вот эта гнетущая атмосфера, что кругом всё плохо, начиная от диссидентов, и это на протяжении всего фильма. И погода ужасная, и капли на окне автобуса. После услышанного поняла — авторы фильма как раз достигли своей задачи. У них и задача была показать, какое ужасное было время. Как интеллигенцию угнетали.

Слушательница 2. Всё время говорят о сделанных попытках. Но о попытках мы говорим на втором курсе учебного заведения, когда ставим студенческий спектакль. Всё-таки это фильм, снятый на бюджетные средства, но я не об этом. Я не увидела ни арт-объекта, ни высказывания, если честно. Потому что это, действительно, некие наброски, может быть, к будущему фильму.

Он очень симптоматичен, этот фильм, на мой взгляд зрителя. Его создатели абсолютно не отягощены ничем: ни правдой жизни, ни какими-то нравственными тормозами, никакой ответственностью перед вечностью, перед этими людьми, кого взяли в качестве героев. И хочу сказать прямо, уважаемые коллеги, это просто была эксплуатация имени, для того чтобы сделать свою будущую карьеру, поэтому мне горько, обидно, и что с этим делать, честно говоря, не знаю.

Слушатель 3 (Вячеслав Липин). Начнём с названия фильма «Облепиховое лето». Нам показали лето 1972 года. И в Бурятии, и у нас растёт облепиха, причём очень даже много садовой и дикой облепихи. Поэтому название фильма удачное, тем более в конце фильма есть фраза — упоминается облепиховое лето.

Если говорить о сюжете и, вообще, о смысле этого фильма, то он в титрах обозначен. Это художественное осмысление жизни и судьбы Вампилова. То есть это художественный фильм, хотя снимала студия документальная. Нужно сказать, что девятнадцать дней было на съёмку, как нам сказал в выступлении молодой человек, который сопровождал съёмочную группу по Байкалу. Бюджет совершенно маленький, правда, не сказал на какую сумму. Что можно сделать за девятнадцать дней с малым бюджетом?

Галина Солуянова. «Пять вечеров» Михалков снял за 10 дней.

Слушатель 3 (Вячеслав Липин). ...Сделали только то, что нам показали. Вы вспомните фильм о Сергее Есенине, какие отзывы были. Также одни приняли, другие — нет. Также биография была искажена. То был художественный фильм, и этот — художественный, потому право у сценариста и право у режиссёра на художественное осмысление было. Нельзя забирать это право, они — авторы.

Потом смотрите, какие находки в фильме! Вы посмотрите сцену с отцом, сцену с матерью, только из-за этого нужно сказать спасибо киносценаристу и режиссёру. Как отработано было откровенно! А Мерзликин, вы думаете, исполнил роль? Вы ещё раз посмотрите этот фильм! Он исполнил судьбу и жизнь своего героя, своим поведением и своим отношением к жизни и к землякам, к окружающим! Поэтому, я считаю, что свою задачу они выполнили.

А кто не давал иркутянам написать такой киносценарий? У нас четыре писательских организации! Почему не написали, хорошо зная этих людей? А теперь, конечно, петербуржцы сделали, нам показали, а мы только критикуем. Да это хорошо, что обратили внимание населения России на нашего драматурга! Теперь вот кто не посмотрел — будет смотреть, кто не читал — будет читать. Положительный эффект был? Был! Вот всё, что я хотел сказать.

Слушательница 4: Буквально два слова, прошу прощения, чтобы внимания вашего не задерживать. Я просто читатель, просто зритель, работаю здесь, в Молчановке, и изначально скептически отнеслась к этому фильму, исходя из общего низкого уровня современного российского кино. То, что увидела, полностью подтвердило моё мнение.

Мне кажется, это настолько слабо в художественном отношении, что ты, как зритель, просто не веришь. То есть психологически абсолютно недостоверные сцены, и вообще, такое ощущение, что это сильно напоминает современные сериалы. Вероятно, сценарист — сериальщица. Очень чувствуется именно сериальное сознание. И уже отмечали наши уважаемые эксперты ходульность, схематичность персонажей, прежде всего, второстепенных. То есть перед тобой какие-то схематичные люди, такие, как в сериалах. Очень грустно, что у нас зритель их смотрит в большом количестве. И потому, честно сказать, я надеюсь, что молодёжь не будет смотреть этот фильм в силу его низкопробности — это скучно и неинтересно. Ничего не даёт, что называется, ни уму, ни сердцу. И ещё надеюсь, наша встреча, наша дискуссия очень важна в плане определения того, что такое хороший вкус. И с этой точки зрения очень благодарна вам, потому что вы говорите именно об этом, и только могу ещё раз сказать, что очень сожалею о современном уровне российского кино.

Слушательница 5. О своём ощущении. Вот живу уже с 1953 года. В жизни, мы знаем, бывает всякое. Но когда смотришь этот фильм, получается, что нет вокруг ничего радостного. Вот вы говорите об облениховом лете — хотя бы пятно природы, светлое, яркое. Один только мрак-мрак-мрак, это плохо, этот плохой,

кагэбэшник там, жена с другом там... Вы правильно говорите — как в сериалах: вечно в тюрьму кого-то посадят, нарожают не от того. Понимаете, какой-то нехороший низкопробный налёт. Почему так? Радостное-то было у него? Было, наверное: хорошие люди, хорошие коллеги, квалифицированные, которые помогали, способствовали развитию. Где оно? Понимаю, что было и плохое, но нельзя, чтобы только плохое.

Слушательница 6. Можно с точки зрения молодёжи? Молодёжь этот фильм смотреть не будет. Почему? Два аргумента: во-первых, молодёжь, которая к чему-то стремится, она выключит на минуте десятой, если дай Бог дотерпит. Полностью разделяю мнение, что это безобразие. С творчеством Вампилова познакомилась в позднем возрасте, то есть мне уже было двадцать пять, ещё только-только с ним по-настоящему знаколюсь. Второе. Молодёжь, если даже досмотрит, возможно, скажет: «Шикарный фильм!» У нас есть в оценках важный момент — «голый король»: не понимаю, но скажу, что замечательно, потому что все так говорят. Не могу снять фильм, в этом ничего не понимаю, но люди сняли. Иначе мне же и возразят: ты критикуешь, сделай то же самое, но лучше!

Молодёжь сказать своё мнение по данному фильму не сможет, она и о Вампилове сказать ничего не сможет, к сожалению! И, скорее всего, даже если у кого-то до просмотра фильма появится интерес: а кто это? То после просмотра он в Википедии даже не пробьёт, чтобы почитать, к сожалению. Спасибо, что такая встреча стала возможна, где мы сказали то, что мы думаем, а не то, что принято в обществе в связи с заслугами кого-нибудь, того же Мерзликина. Важно одно, как Галина Анатольевна сказала вначале: «берёшься за дело — делай его профессионально».

Валентина Иванова: Можно одну минутку ещё... Главным аргументом наших выступлений был такой: фильм нам ещё раз напомним о Вампилове и Распутине. Давайте посмотрим правде в глаза: это классики русской литературы, они способны сами сказать своё слово. И, если нам нужно к ним обратиться, — мы возьмём их тексты, мы возьмём их пьесы, мы почитаем, и этот диалог состоится без посредников, напрямую. И мы получим живое слово, которое продолжает жить и действовать своей красотой русского языка.

Владимир Скиф. Вы почитайте пьесы! Действительно, какое наслаждение читать самого Вампилова! Никого и ничего не надо. Читаете и просто потрясение испытываете.

Слушатель 7 (Михаил Мехеда). Мне сказали представиться. Михаил Сергеевич Мехеда, директор фонда «Возрождение Александровского централа». Хочу для начала поблагодарить всех, кто собрался, и низкий поклон нашим экспертам. Без прошлого не будет будущего. Я сейчас на практике сталкиваюсь с этим, и должен сказать, что молодёжи — я и сам представитель молодого поколения — учиться надо: где-то — на своих ошибках, где-то — смотреть со стороны. Пусть они учатся, это не значит, что надо всё бросать, пусть следующий фильм они сделают лучше, но только если выслушают разные мнения, и минус превратят в плюс.

*По материалам видеозаписи обсуждения, организованного
краеведческим отделом ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского
Расшифровка: Юлия Морозова, научный сотрудник
ГАУК ИО «Центр А. Вампилова»*

*Протокол обсуждения подготовила
к печати В. Семёнова*



170 лет со дня рождения Владимира Сукачёва

НАТАЛЬЯ ГОНЧАРЕНКО

«Голоса из прошлого»

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ СУКАЧЁВЫХ



На снимке В.П. Сукачев

В исторических исследованиях нет застывших истин. Время от времени выявляются новые документы, которые уточняют, дополняют, а порой и меняют наши представления о прошлом. Таким важным событием для изучения истории Иркутска стало обнаружение в г. Тарту (Эстония) прежде неизвестного, никогда не изучавшегося и значительного по объёму мемориального архива семьи Сукачёвых. О роли Владимира Платоновича Сукачёва в истории нашего города, о его вкладе в развитие Иркутска сказано немало. Мы знаем его как активного общественного деятеля, благотворителя, мецената, создателя иркутской картинной галереи. Между тем, от нашего взора ускользает образ В.П. Сукачёва — мужа, отца и друга. В распоряжении исследователей до последнего времени практически не было документов личного характера, которые раскрывали бы мотивы поступков В.П. Сукачёва, его отношение к тем или иным событиям, происходившим во второй половине XIX — начале XX века в России

в целом, и Иркутске в частности, его дружеские привязанности и антипатии.

Открытие новых документов из мемориального архива семьи Сукачёвых позволяет восполнить эти пробелы и по-новому взглянуть на личность нашего замечательного земляка.

Возникновение архива связано с именем старшего сына Владимира Платоновича Сукачёва — Бориса. Он родился в 1874 году в Киеве, в начале 1880-х годов вместе с родителями приехал в Иркутск. После завершения обучения в иркутской классической гимназии Борис Сукачёв поступил в Санкт-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета и окончил его в 1896 году. Как подающий надежды молодой учёный, «с целью приготовления к профессорскому званию»¹ Борис Сукачёв был оставлен при университете на кафедре зоологии беспозвоночных. С 1897 по 1905 год он работал лаборантом

¹ Архив Музея истории университета Тарту. ÜAM1033_004, с. 1 об.

под руководством известного учёного Владимира Шевякова в Зоотомическом кабинете Санкт-Петербургского университета. В 1906 году Б.В.Сукачёв переехал в г. Юрьев (ныне г. Тарту, Эстония), где стал магистрантом физико-математического факультета Юрьевского университета, одновременно работая лаборантом Зоотомического кабинета под руководством профессора К.К. Сент-Илера. Начиная с 1908 года, он также читал лекции слушателям Юрьевских частных университетских курсов естественных и медицинских наук. С началом Первой мировой войны Б.В. Сукачёв был откомандирован из Тарту в общество Красного Креста, где служил санитаром. После окончания войны он не вернулся в Россию, оставшись в эмиграции. Последние годы жизни Борис Сукачёв провел в Париже, работая в госпитале Сальпетриер (hôpital de la Salpêtrière). Перед отъездом из Тарту в 1914 году он оставил свои документы и, прежде всего, переписку на кафедре в университете, где его архив пролежал, никем не востребованный, до 1987 года. Затем документы Б.В. Сукачёва были переданы в Музей истории университета Тарту. Последовательное изучение документов мемориальной коллекции, расшифровка и введение в научный оборот начались лишь в 2018 году. Хронологически документы архива охватывают 40 лет. Самый ранний источник датирован 1874 годом,



Семья Сукачёвых: Платон, Володя,
Надежда Владимировна

а наиболее поздние относятся к 1914 году. Архив включает в себя около тысячи единиц хранения, среди которых фотографии, негативы, одно живописное полотно и значительное число документов на бумажной основе.

Большую часть из них составляет переписка Бориса Сукачёва с родителями, другими родственниками, друзьями и коллегами. Именно эпистолярное наследие открывает нам богатство исторических сведений, бытовые подробности, характер семейных и дружеских взаимоотношений. Из писем, адре-

сованных Борису, мы узнаём о том, из чего складывалась жизнь семейства Сукачёвых в Иркутске, а затем, после их отъезда в 1898 году из родного города, в Петербурге.

Среди адресантов наибольший интерес вызывают близкие родственники Бориса — родители, два брата и сестра. Мемориальная коллекция содержит 73 письма Владимира Платоновича Сукачёва к Борису за период с 1889 по 1910 г.; 137 писем Надежды Владимировны Сукачёвой, датированные 1889–1907 гг.; 68 писем брата Платона; несколько десятков писем от брата Владимира и сестры Анны.

Письма матери к старшему сыну полны нежности и заботы. Она интересуется учебными и научными успехами Бориса, волнуется за его здоровье, просит подробно писать обо всем, что у него происходит в жизни: *«Дорогой мой мальчик, я ужасно соскучилась без известий о тебе, так бы хотелось знать подробно то, что тебя касается — как ты учишься, вызывают ли тебя из чего, и что получаешь за ответный урок, как тебе нравится твой новый образ жизни, не нужно ли тебе чего-нибудь и еще целая куча вопросов насобирается все в том же роде. Смотри, голубчик мой, пиши маме как можно подробнее все — решительно все»*²; *«Знаешь, Боря, мне ужасно хотелось бы вести с тобой переписку такого рода,*

²Письмо Н.В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 22.09.1889. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

чтобы не только сообщать о своем житье-бытье друг другу, но и делиться мыслями и получать ответы, а иногда и самой отвечать, право, я так привыкла к этому, когда ты был дома, что теперь никак не могу войти в колею»³.

Мы видим, что мать и сына связывают очень близкие, доверительные отношения. Надежда Владимировна в письмах к Борису подробно рассказывает о семейных событиях, об успехах младших братьев и сестры, о своих увлечениях. Из её сообщений мы узнаём, что уже в 1893 году (задолго до открытия в 1900 г. рисовальной школы Н.И. Верхотурова и М.А. Рутченко-Короткоручко) в Иркутске сформировался небольшой кружок взрослых людей, желающих учиться рисованию. Занятия для них проводил преподаватель нескольких иркутских учебных заведений Алексей Харлампиевич Клименко, выпускник Киевской рисовальной школы Н.И. Мурашко и императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Ученицы Клименко (а ими были исключительно дамы) изучали основы перспективы и акварельной живописи, ботанического рисунка, роспись фарфора и т. д. В январе 1894 г. Надежда Владимировна Сукачёва писала Борису: *«Я начала понемногу рисовать; очень хочется мне послать в Петербург мои цветы; некоторые я показывала Клименко..., и он одобрил их... хотелось бы их мне выставить... конечно, если это возможно только вообще не художникам, поскромнее, хотя бы, например, на одной из выставок Общ[ества] поощрения художников, что на Морской»*⁴. Вскоре Н.В. Сукачёва вступила в Первый дамский художественный кружок, основанный в 1882 г. в Санкт-Петербурге по инициативе художницы Пелагеи Петровны Куриар. Целью общества было «способствовать развитию искусства в различных его проявлениях, а также оказывать вспомоществование нуждающимся художникам и их семьям».

Надежда Владимировна была разносторонне образованным человеком — много читала, интересовалась искусством, во всех своих зарубежных поездках обязательно посещала музеи и художественные галереи, любила музыку и отлично играла на фортепиано, изучала иностранные языки и была в курсе последних научных открытий. При этом она прилагала усилия, чтобы её дети также неустанно развивались, приобретали новые знания, расширяли свои возможности и развивали таланты: *«я очень рада что ты вздумал поучиться играть, слух у тебя чудесный и пение очень приятное. Вам не мешало бы еще позаниматься языками; в Петербурге это ведь так удобно. Я сужу по себе — знание иностранных языков доставляло и доставляет мне теперь огромное удовольствие — невозможно сравнить наилучший перевод с подлинником, а затем серьезное изучение языка, при этом, конечно, и всей народности, положительно открывает новые горизонты»*⁵.

О том, что Надежда Владимировна Сукачёва любила музыку и сама музицировала, нам было известно давно. Но какая музыка нравилась ей? Кто из композиторов был ей близок? Ответ был получен из её письма к Борису от 22 июня 1904 года: *«Как я рада была получить от тебя письмо, в котором ты передаешь полученные тобою впечатления от Лознгрина. Я нахожу, что никакая музыка не будит так душу, не возбуждает так духовную природу человека, как музыка Вагнера — что же бы ты сказал о Парсифале? Ведь правда, что Вагнер открывает завесу в другой мир, раздвигает горизонт и доставляет таким образом*

³Письмо Н. В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 07.11.1892. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

⁴Письмо Н.В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 08.01.1894. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

⁵Письмо Н.В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 26.02.1893. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

нечто совсем особенное?»⁶ Так выяснилось, что одним из самых любимых композиторов Надежды Владимировны был Рихард Вагнер. Не удивительно, что почти каждый год летом она старалась побывать на знаменитом вагнеровском фестивале в баварском городе Байрёйте. Этот фестиваль, основанный самим Вагнером, впервые состоялся в 1876 году и по сей день является одним из самых престижных музыкальных событий Европы.

Письма Владимира Платоновича Сукачёва к Борису очень подробные, часто на десяти и более листах. Он в деталях описывает то, что происходит в жизни его семьи и в Иркутске в целом — это различные городские события, судьбы общих знакомых, выборы в Думу, семейные дела. Каждое своё письмо к Борису Владимир Платонович оканчивает словами — *«Твой отец и друг неизменный, Владимир Сукачев»*. Видно, что отца и старшего сына действительно связывают дружба и общие интересы.

Чтобы старший сын не чувствовал себя оторванным от семьи, Владимир Платонович подробно рассказывает, как проходят в семье праздники и иные значимые события: *«Тебе, дорогой мой Борис, наверное, очень хочется узнать, как мы провели этот день. Утром все мы были в семинарской церкви, где пели рядом семинаристы и ученицы маминой школы... После обедни Аня причащалась, а затем все мы... зашли к ректору пить чай. Оставив всю компанию у ректора, я отправился визитировать (вот и сегодня я сделал 80 визитов) и только к 5 час[ам] вернулся домой... В саду уже довольно сухо, и наши гости играли в крокет. После обеда устроили игры, которые продолжались до 10 час[ов] с перерывом для чая»*⁷. Так описывает В.П. Сукачёв день рождения своего среднего сына, Платона, когда ему исполнилось 17 лет.

Именно письма Владимира Платоновича Сукачёва являются бесценным источником по истории Иркутска, так как в них содержится подробная характеристика наиболее важных городских событий, упоминаются новые интересные подробности, высказывается личное отношение В.П. Сукачёва к ним. Красной нитью в его текстах проходит чувство любви к Иркутску, желание сделать всё возможное, чтобы жизнь соотечественников стала лучше, насыщеннее, богаче. Ему до всего было дело — оказавшись в длительном отпуске в Петербурге в 1889–1890 гг., он интересовался организацией городского хозяйства, устройством скотобоен, обучением детей ремёслам. *«Я не пропускаю ни одного думского заседания (в Санкт-Петербурге — авт.), бываю также в некоторых заседаниях управы и внимательно изучаю разные городские учреждения. Авось, может быть, удастся извлечь такие данные, которые найдут применение и в нашем городе... Также я извлёк много полезных сведений по вопросу о постановке профессионального образования и ручного труда в начальной школе. Многие пригодятся для Трапезниковского училища, а также для городских школ»*⁸, — писал В.П. Сукачёв сыну 16 апреля 1890 г.

Как председатель Восточно-Сибирского отдела Русского Императорского географического общества (ВСОРГО) В.П. Сукачёв был заинтересован в расширении просветительской деятельности отдела, в формировании коллекций музея

⁶Письмо Н.В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 22.06.1904. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

⁷Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 30.03.1893. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

⁸Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 16.04.1890. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

ВСОРГО и организации на его базе разнообразных мероприятий, направленных на популяризацию науки: *«Я рассказывал тебе о заветной моей мечте привести в порядок наш музей и составить хотя какой-нибудь каталог книг и коллекций. И Клеменц, и Потанин, и многие другие, с кем я по этому поводу советовался, находили мою мечту неосуществимой за недостатком в Иркутске толковых и знающих работников. Высказал я эту мечту и в Распорядительном комитете, незадолго до приезда в Питер, причем сказал, что не остановился бы перед необходимыми денежными затратами на ее осуществление... Каково же было мое удивление и восторг, когда по приезде в Иркутск я на первых же порах узнал, что труды по составлению каталога в полном разгаре и даже виден конец их»*⁹.

Известно, что Владимир Платонович Сукачёв стоял у истоков иркутского Общества попечения о слепых, в 1893 г. он был избран товарищем председателя Общества. Предварительно Владимир Платонович вёл активную переписку с Константином Гротом, создателем системы попечения над слепыми в России, основателем петербургского Александро-Мариинского училища слепых, консультируясь о наилучшем устройстве школы для обучения слепых детей в Иркутске и о подготовке педагогов для этого учебного заведения. Познакомился он также с организацией обучения незрячих в московском учебно-воспитательном заведении для слепых детей, основанном пастором Дикгофом¹⁰. Свои впечатления он описал в письме к сыну: *«только одно учреждение [я] нашел заслуживающим внимания — это училище об[щест]ва призрения и воспитания бедных детей... Между прочим, дети исполняли при мне отрывки из «Жизни за Царя», причем одна слепая великолепно спела «Не о том скорблю, подруженьки». Голос поистине замечательный. В том же училище интересная печатная машина для выпуклого шрифта на обе стороны; там же готовят рельефные карты из гипса»*¹¹.

Для ознакомления иркутян с новой для них темой было предложено провести несколько лекций, одну из которых прочитал В.П. Сукачёв, демонстрируя при этом выставку работ слепых, привезённых им из Петербурга.

Из документов Тартуского архива мы узнаём подробности формирования знаменитой коллекции картин Сукачёва, ставшей в будущем основой для формирования собрания Иркутского художественного музея. Встречаются упоминания о приобретении тех или иных полотен, о выставках, на которых были представлены работы из собрания В.П. Сукачёва, о рождении идеи на основе личной коллекции создать городскую картинную галерею. В письме к старшему брату от 16 февраля 1890 г. Платон Сукачёв пишет: *«Мы на Масленице были в манеже, это большой зал, устроенный в виде сада... На днях здесь открылась передвижная выставка картин, на которой папа купил одну картину — «Весна в лесу» Мясоедова, и другую — Боголюбова «Вид Аркашона»; кроме этих двух картин папа купил еще Айвазовского «Буря на море» и еще одну картину Соколова¹², которая представляет путешественников, которых вытаскивают из болота вместе с их тарантасом»*¹³.

Не вызывает теперь сомнений, что мысль о передаче коллекции картин в дар

⁹Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 17.07.1897. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

¹⁰Генрих Генрихович фон Дикгоф (1833–1911) — пастор Евангелическо-лютеранской церкви, организатор обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в России.

¹¹Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 26.01.1893. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

¹²Работа П.П. Соколова «Увязли» из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.

¹³Письмо П.В. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 16.02.1890. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

Иркутску и созданию на её основе городской картинной галереи возникла у Владимира Платоновича Сукачёва уже после отъезда семьи в Петербург в 1898 году. Многочисленные упоминания в семейной переписке о желании Сукачёва пополнить коллекцию недостающими, по его мнению, работами, использование термина иркутское собрание или иркутская галерея, относятся именно к 1899–1902 гг. В мае 1899 г. Надежда Владимировна пишет сыну: *«Вчера мы с папой ездили к Шёне смотреть картины, ... а потом поехали к Егорнову посмотреть портрет графа Игнатьева — ведь ты знаешь, что папа заказал Егорнову именно портрет Игнатьева для Иркутского Собрания? Ну, вот завтра последний сеанс и папа хотел посмотреть, как идет дело. Портрет выходит хорошо»*¹⁴.

В это время В.П. Сукачёв в Мюнхене познакомился с художником и копиистом Робертом Хунцикером, который исполнил по его заказу несколько копий с полотен старых мастеров. Эти картины и сегодня можно увидеть в музейных залах «Усадьбы В.П. Сукачёва».

*«В Мюнхене мама успела побывать в обеих пинакоотеках... Alte Pinacothek ее поразила не меньше, чем меня в первое посещение этой сокровищницы. Под этим впечатлением и я заказал Hunziker'у, теперь пишущему портрет Mme Fourten с сыном Рубенса, еще десяток копий. Я говорил с ним о командировке в Дрезден... и во Флоренцию, и он радостно на них соглашается. Мне кажется, что в нем я приобрел весьма полезного работника для иркутской галереи. Мало-помалу он, в течение нескольких лет (может быть даже десятков лет), сделает копии всех лучших картин не только мюнхенской, но и дрезденской, а может быть и флорентийских галерей. Для него эта работа представит интерес как постоянный и верный заработок, а мне будет легче нести хотя и непрерывный, но сравнительно небольшой расход»*¹⁵, — делился В.П. Сукачёв с сыном своими планами.



Жена Бориса Сукачева Мария
Высоцкая-Сукачева

Значительную часть мемориального архива Бориса Сукачёва из Тарту составляют письма его первой жены Марии Высоцкой-Сукачёвой.

Мария, или Мэри, как её называли в семье, была внучкой декабриста Александра Поджио и жила во Флоренции. Из переписки Сукачёвых мы узнаём, что знакомство с семейством Высоцких состоялось в пансионе на Viale Margherita, 42 во Флоренции, который содержала мать Марии, Варвара Александровна Высоцкая. Там зародилась юная дружба Бориса и Мэри, которая по-

степенно переросла в сильное чувство. Мэри часто и помногу писала Борису на протяжении нескольких лет — сначала дружбы, а затем и супружества. В её посланиях раскрывается личность этой незаурядной женщины — хрупкой и одновременно полной внутренней силы и глубоких чувств. Мария была художницей, она училась у известного итальянского мастера, преподававшего в Академии Изящных Искусств Флоренции, Джузеппе Чиаранфи (1838–1902). В письмах к

¹⁴Письмо Н.В. Сукачёвой Б.В. Сукачёву от 10.05.1899. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

¹⁵Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 15.07.1901. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.



Владимир и Надежда Сукачёвы

Борису Мэри часто делится своими мыслями об искусстве и переживаниями по поводу своего творчества: *«Я провожу свои дни за рисованием и чтением. Временами на меня находит тоска, когда все выходит из рук вон плохо, но и она сменяется внезапным приливом сил — в такие моменты становится ясно, что подобного рода взлеты и падения помогают нам не опускать руки в отчаянии. К тому же, живопись — истинная чародейка, манящая, пленяющая, способная открыть перед нами чарующие горизонты, равно как и заставить потерпеть внезапное поражение — однако, оттого мы ею очарованы ничуть не меньше»*¹⁶.

Осенью 1897 года молодые люди объявили родителям о своём желании вступить в брак. В это время Мария писала Борису: *«Ты часто говоришь, да мне и самой так кажется, что у меня будто прибавилось сил и энергии, это потому, что я так счастлива, исполнена радости и надежды. Такое чувство, будто что-то внутри меня поёт, но так тонко и едва различимо, где-то в самой глубине души, так, что никому никогда не услышать, кроме тебя, должно быть. Как же хорошо быть вдвоем, делить все на двоих!»*¹⁷.

А вот реакция отца на известие о грядущей свадьбе старшего сына: *«Итак, может быть, ты скоро сделаешься женихом, а в недалеком будущем и главою отдельной семьи! Мои поздравления, исполненные искренности, мои горячие пожелания словами выразить невозможно. Твое счастье — мое счастье — вот точное и полное выражение моих чувств. Будь же счастлив, дорогой мой, и своим благополучием освещай жизнь мамы и мою. Служи достойным примером твоим братьям и сестре! От нас же ты всегда можешь рассчитывать получить все, что только мы можем тебе дать и, прежде всего, наше полное согласие назвать твою Мэри нашей дочерью, наше благословение и добрые пожелания... Люби и уважай свою жену так, как я люблю и уважаю твою мать, эту лучшую женщину в мире. Дай Бог, чтобы и ты через двадцать пять лет совместной жизни мог так же говорить и думать о твоей жене, как я говорю и думаю о твоей матери»*¹⁸.

Процитированные выше взволнованные и искренние слова Владимира Платоновича ярко и точно характеризуют как его самого, так и характер взаимоотношений между членами его семьи. В этом и заключается основная ценность эпистолярного наследия Сукачёвых, сохранившегося в Тартуском архиве.

¹⁶Письмо М.В.Высоцкой Б.В. Сукачёву от 14.06.1896 (пер. с фр.). — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

¹⁷Письмо М.В.Высоцкой Б.В. Сукачёву от 31.10.1897 (пер. с фр.). — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

¹⁸Письмо В.П. Сукачёва Б.В. Сукачёву от 26.01.1893. — Архив Музея истории университета Тарту. Без шифра.

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«По своей Руси хожу...»

О судьбе и поэзии Михаила Трофимова

19 апреля сего лета предал душу Богу поэт Михаил Ефимович Трофимов, о котором четверть века назад сочинил я очерк, что ныне, изрядно выправив, предлагаю читателям журнала «Сибирь».

Внимая пению пахотных мужиков, отхожих ремесленников, Федор Достоевский воскликнул с гордостью за русское простолюдые: «Ах вы сени, мои сени...» Поэт не ниже Пушкина... Видно, разбередила народная песнь русофильскую душу Федора Михайловича, хотя песен эдаких, да и краше, мудренее, крестьяне знали уйму. А вспомним житийные сказы о святых угодниках и страстотерпцах, о великих исповедниках и чудотворцах; вспомним величавые былины о киевских и новгородских богатырях; вспомним мифы и легенды про таежную и полевую, омутную и домовую нежить; вспомним сказки и лубочные сатиры, что оглашали бродячие скоморохи; вспомним русские народные песни и душеутешающие плачи о преставившихся в Бозе...

В позапрошлом веке жила-была в северной деревушке великая сказительница и вопленица Арина Андреевна Федосова, по-житейски скудная, не ведающая азы, буки и веде; но с ее скорбных уст всесветно прославленный писатель-народовед Елпидифор Барсов¹, обмирая от восторга, азартно записал три тома поэм-плачей; ее, крестьянскую бабу, вдохновенно слушали Некрасов, Римский-Корсаков, Балакирев, Шаляпин, Пришвин, Твардовский и даже Горький, что крестьян сословно не жаловал. И дивные плачи, бывальщики, баешники и бодяжники — словом, талантливые песельники и песельницы, сказители и сказительницы, хотя и не столь величавые и божественные подле Арины Федосовой, — все же в былые времена во всякой деревушке вопили, оплакивая покойного, сказывали былички, бывальщины, заливали байки, сыпали частушками на поляне. И, как писал я в очерке о Сергее Есенине, «тускнеет книжная поэзия, даже пушкинская, пред их мудрым словом, кружевным, резным, молвленным на завалинке, у русской печи при лучинушке, вопленным на свадьбе и погосте, на проводах рекрутов, спетом в братчинном застолье, в девьем хороводе. Не все они — сказители, певни, плачи-вопленицы — созрели вровень по силе и красе слова, но и сомн великих породила земля русская».

Упаси Боже равнять Михаила Трофимова с крестьянскими сказителями — поэт он хоть и народный, потешно воспевший, но и оплакавший колхозное село, а все же читаемый с листа, не изустный, но вообразим, что на закате позапрошлого века Михаил Трофимов, пахотный крестьянин, коего азы, буки, веде страшат, яко медведи, живет в добротной сибирской деревеньке... скажем, в родимой Снегиревке... и кем поэт прослывет в той деревушке?... Я, по отеческому кореню из зажиточной забайкальской родовой скотоводов и скотогонов, при добротной бабе выбился бы, ежели не в кулаки, то в многодетные хозяйственные мужики. А из

¹Елпидифор Васильевич Барсов (1 [13] ноября 1836 — 2 [15] апреля 1917) — русский историк литературы, этнограф, фольклорист, собиратель и исследователь древнерусской письменности, археолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1873), действительный член Императорского Московского археологического общества (1874), действительный статский советник (1885).

Михаила сроду не вышел бы крепкий хозяин, что всем многочисленным семейством пашет от зари до зари, у которого и матерый дом пятистенки, и рубленные амбары, и в сусеках жита до краев, и под крышей проветриваются дохи, шубы и меха, и скотный двор полон животины, и чтящие отца, послушные ребятишки, и кроткая жена: да убоится мужа.

Не выбился бы Михаил и в кулаки, на коего робят батраки, а сам хозяин в яловых скрипучих сапогах ходит по сосновой хоромине о два жила и думает думу хозяйскую: эх, язви ее в душу, чего бы не упустить, поболе бы жита намолотить, да барышно сбыть.

Нет, из Михаила Трофимова не вышел бы расторопный деревенский хозяин, не то, видно, ссулил ему Господь в земной юдоли. Михаил... мне кажется, жил бы со своим гомонливым, неприхотливым, веселым семейством на вольном берегу реки, в косенькой, продуваемой насквозь, гниловатой избушке, в начале лета утопающей в черемуховом, яблоневом цвету. Тоже бы по-мужичьи робил, но без хозяйской хватки и сноровки, да к тому же всякое вольное время шатался бы в тайге, брал черемшу, голубицу и брусницу, бил орех, лепил бы деревенским ребятишкам глиняные дивы-свистульки, мастерил бабам берестяные туеса, плел тальниковые корзины и корчаги для ловли речных гольянов, попутно выплетая чудные байки и побаски. А женка бы ворчала: дескать, эвон люди-то живут — всего вдосталь, а тут перебиваемся с хлеба на квас, завтра — зубы на полку и по миру пойдем с холшовою котомой, дров ни лучины, а живёшь без кручины, шатун. Мужик бы отшутился: клен да береза, чем не дрова, хлеб да вода, чем не еда, и от греха подальше сунул бы исподтишка балалайку под полу армяка и пошел по приятельским дворам: где самодельные частушки-складушки пропоет, где завиральную байку зальет, где таежную бывальщину поведет, и за то хозяин сказителю медовую чарку нальет, а хозяйка ребятишкам гостинец сгоношит. Худобожию бы кулаки косились на балагура и сухо сплевывали: «Ботало осиново...», а зажиточные, но боговерующие мужики глядели бы с покаянным почтением, как глядят на блаженных, сидящих на церковной паперти, а уж сердобольные бабы взирали бы со слезливой жалюю...

Словом, вышел бы из Михаила Трофимова деревенский балагур и баешник, а может, и сказитель, и гужом валили бы на его подворье шустрые студенты аж из белокаменной столицы, писать былички и бывальщины, песни и побаски, да и сам сибирский говор. Так бы оно и случилось, но поэт рос и матерел на позднем и печальном закате величавого устного слова, потесненного и вытесненного книжным, а посему и, распираемый сказительным даром, смалу бредил стихотворством, смолоду выучился на поэта в литературном институте, и пошел по миру со стихами.

Я не пытался дотошно исследовать полную мучительных противоречий житейскую и творческую судьбу Михаила Трофимова; не пытался постигнуть его душу, где извечное поле брани света и тьмы; я изобразил поэта, узрев лишь добрые свойства его крестьянской души, воплощенной в лирике.

* * *

Михаил Трофимов — не узко сибирский поэт, эдаких пруд пруди, Трофимов — русский народный поэт, и редчайшее право величаться народным сполна заслужил творчеством, что сродни народным устным сказам. Недаром Трофимовские

поэмы и стихи звучали натуральнее, живее, когда их прилюдно сказывал сам поэт. Борис Шергин, величавый мастер народного сказа, однажды молвил: «Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?...»

В годы благие для русской лирики, когда стихам душевно внимали, обретая любовь к родимой земле и земляку, Михаил Трофимов принародно читал стихи, и я видел, умиляясь, с каким радостным дивлением горожане и селяне, старые и малые слушали бесхитростное, но живое сибирское слово, вспоминая, узнавая, открывая утешные и потешные, милые сердцу виды деревенской жизни.

В отрочестве облысевшие от излишнего ума, высоколобые законотворцы-западники два века кряду упорно навязывали художникам слова, цвета и звука мнение, опасное для русского искусства: мол, не в лаптях и сарафанах, господа, народность русская, а — в ярком освещении народной тьмы светом европейского просвещения. Славянофилы же узрели народность искусства в глубинном постижении русского характера, в душевной способности художника искренно сострадать ближнему, переживать за народ и Отечество, перстом указуя дорогу ко Храму Господню. Эдакие дарования, разумеется, похвальны, но и без лаптей и сарафана скучно, словно расхожую русскую частушку поешь не под гармонь и балалайку, а с высокой университетской кафедры пересказываешь научно-скучным пресным языком: мол, некий деревенский муж... очевидно, вероятно, дурак... отпустил большую бороду, и проблема в том, что любимой жене трудно найти в бороде губы, чтоб поцеловаться. А частушка, что пела Лидия Русланова, коротка и ярка: «Ох, девки, беда, куды мне деваться, по колено борода, негде целоваться...».

Книгочей, искушенный в чужеземной и здешней русскоязычной поэзии, дивом дивным глянет в трофимовскую книжку, скоротрится: псевдуха — псевдорусская стилизация под деревенскую темь, а русская народность, говаривал Виссарион Белинский, не в лапте и квасе, но в способности усмотреть и мастерски обличить пороки русские. Почитайте у Гоголя «Мертвые души»... А вы, убогие, сермяжные, куда прете с хомутами и подойниками, с говором выживших из ума стариков, безграмотных мужиков и дурковатых баб?!

Забившие умы бунтарскими книжонками, близоруко узревшие в деревенской жизни лишь пропахшие потом мужичьи порты и онучи, не увидевшие красоты и мудрости в золотистой хлебной ниве и в хоромной избе, воплотившей вселенную, горемычные обличители из прокуренных журнальных кабинетов не осознали, что без народного речения не оживет и народный дух в сочинении; а коль испокон веку народ наш крестьянский, то, выражая народ, как же поэту обойтись без крестьянского говора, без корневого русского слова?!

Не говоря уж о русскоязычных, даже и среди сочинителей русских по духу родилась уйма писателей книжных, чьи сочинения, писанные порой и затейливо, мудро, похожи на переводы с иноплеменного наречия, похожи на сквозной березняк с опавшими листьями и увядшей сивой травой; и сочинения сии порождают в русском книгочее языковую нерусскость, при сем искажая и обедняя образ родного народа, в позапрошлом веке сплошь крестьянского. И таится в сем опасность великая: отвадившись от корневого русского слова, русаки и от духа народно-православного убредут в духовные потемки.

Можно по-всякому относиться к поборникам древлеотеческого православного обряда, но с какой болью и духовной страстью опальный протопоп Аввакум в огненных письменах царю Алексею Михайловичу оборонял от засорения исконный

русский язык: «Не позазрите просторечию нашему, люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить. Небрегу о красноречии. Не унижаю своего языка русского... Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев... Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

* * *

Слушаешь стихи Михаила Трофимова... Неприхотливая, игривая и говорливая речушка вдоль деревни бежит, кружит, и чудится, сочинил их не стихотворец, подученный в столичном институте, а выплел на завалинке сельский краснобай, настрашал бывальщиной, потешил лихой частушкой:

«За щекой словцо лежит, /рот разину побегит... /Сочинял пока зачинку, /Сапоги отдал в починку. / Я б не только написал, / Я б и спел, / И подплясал. / Я б для каждой нашей девки / Спел особые припевки, / Разведенку-вдовушку / Веселил бы / Вволюшку: / Знаю сорок /Тараторок /Басенки / И песенки - / Все бы спел на лесенке. / И гармошка мне дана / Голосом красивая, / Да за плечом / Стоит жена, // За плечом — / Ревнивая. / А у тещи / Есть корыто, / Есть на улицу окошко, / Чтобы глянула сердито, / Если я пройду / С гармошкой — / Теща мне / Вторая мать: / Грозит гармошку разломать. / Требует неистово, /Чтоб ходил с транзистором».

Русский народный поэт Михаил Трофимов... Повторил величавый запев и споткнулся: а вдруг смутит и обидит собрата эдакое величание? Вдруг подумает: пустобайство... усмешка... либо грубая лесть, когда за пазухой таятся корыстные помыслы. А потом и привиделось вдруг, как отмахнулись удивленные и возмущенные брови столичных критиков: мол, ведаем, жил в Иркутске Вампилов-гений, живет Распутин-гений, а Трофимов... — пожмут плечью, — книг его видом не выдывали, имя его слыхом не слыхивали, а тут ишь чего загнул: русский да еще и народный... не слишком ли?!

Однажды, при рабоче-крестьянской власти, в Иркутск шалым ветром занесло паренька из «Литературной газеты»; прилетел в сибирское глухоморье посмекать поэтические дарования и случайно наткнулся на меня, а коль сам я ходил в середняках, то и поволок столичного гостя к Трофимову, да еще и посулился: мол, познакомлю тебя, братец, с народным поэтом — коренник в здешней писательской упряжке.

И побрели мы с московским гостем по снежному Иркутску. А уж синеватый стылый вечер притуманил город... Возле собора Богоявления дворник... распахнутый ямщикий полушубок, лохматый малахай, морозный румянец на щеках, веселый погляд... Дворник тот разметал снег на церковной паперти, заправски широко и вольно отмахивая метлу... раззудись плечо, размахнись рука... словно не снег мел, а валил косой росную траву.

— Вот он... народный поэт Михаил Трофимов... а по совместительству церковный сторож и дворник.

Московский гость смутился: талантливый поэт, и вдруг — сторож, дворник... Вообразил Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину с дворницкой метлой...

Потом мы пили чай в церковной келье, любовались трофимовскими докрасна обожженными глиняными потешками; и помню, меня дивило и радовало: Михаил Трофимов не стеснялся, что добывает хлеб насущный метлой и сторожкой, хотя

и сам Распутин почитает его за народного поэта. А вот я, промышляя тем же ремеслом и ночами сочиняя повести, жутко стеснялся дворничества, и бросал метлу в кусты, коль примечу знакомцев — стыдно, все же писатель, и книжка в Москве вышла в свет.

Столичный гость испил крепкого чаю с богородичной травой, с печатным пряником, подивился трофимовским частушечным стихам, поцокал языком, вертя глиняные потешки, насулил поэту с три короба, да и укатил, и ни слуху, ни духу. Обнадежил мужика, да и забыл, гусь московский, про посулы народному... дворнику.

А я с досады записал в дневничок:

«...На руках бы носить народных писателей, а мы и признавать-то не желаем и посмертно, и пожизненно: примитивно, убого, устарело, славянофильские кислые щи да лапоть. Так мы не осознали чудо-сказочника Степана Писахова, коего севернорусский писатель Федор Абрамов вознес выше Андерсена, так же не разглядели... недосуг было в честолюбивой суе... Бориса Шергина, коего, опять же, Абрамов да писатель Личутин повеличали волшебником русского слова, иконой в русской литературе, лучшим писателем, жившим тогда в Москве. И Шергин, и Писахов дожили свой век в забвении и нищете, хотя и не сетуя на судьбу, дабы не гневить Бога, и не загадывая иной доли. Видимо, чтобы голос не засалился в житейской сытости, не охрип в ревучей тщеславной колготне, Господь оберег сынов-избранников от искушения славой и богатством, оставил на весь век среди голытьбы, чтоб не забыли жизнь простолюдина с радостями и горестями, с нуждою и надеждой».

Сколь дарований подобно Трофимову прозябают по городам и весям, облачаются небесами, подпоясываются алыми зорями, застегиваются белыми звездами. Да уж Бог с ним, с нищенском житьем-бытьем и земным бесславием, жаль, что произведения талантливых самородков из простолюдья ведомы лишь собратьям по ремеслу да и то редким, избранным, и мало ведомы воспетому народу. Помню, когда стихи покойного Анатолия Горбунова, что по молодости дружил с Михаилом Трофимовым, посмертно вышли в «Нашем современнике», главный редактор журнала Станислав Куняев, удивившись их вещей силе и красе, покался, что недооценивал поэтический талант Анатолия Горбунова, хотя стихи его от случая к случаю украшали журнал. Слово покаянное журнальные редакторы могут сказать и о поэзии Михаила Трофимова... И выходит, что мы, равнодушные к издательски и житейски робким, простонародным художникам, русскую народную душу обворовываем, красоту и совесть в чердачных сундуках гноим!..

Прожив в деревне за Байкалом четверть века, вдосталь наслушавшись степных и таежных, речных и озерных говоров, где через слово да всякое слово мудрая поговорка, прибаутка, природный образ, потом в университете и самоуком постигая великую устную поэзию, — поэмы Михаила Трофимова читал и слушал, как народные сказы, дивился и даже, признаюсь, завидовал белой завистью, чуя, что скудно прикопил я в заглазнике народной речи, и, однако, не владеть мне коренным русским словом так легко и натурально, как Трофимов. Но, не иссякая от злобной ревности, дивясь и радуясь трофимовскому крестьянскому дару, я как уж мог служил ему, и сей очерк, без малого четверть века доводя до ума, пропечатал во многих газетах и журналах, и, конечно, сожалел, что слишком редко издавались книги Михаила Трофимова, а бойкие собратья не подсобляли — пекли свои книжки, как блины на масленицу, жаль, что из сорной муки и непеченные.

Нынче я думаю, что в сем и винить-то некого, — народный стихотворец так укротил свое тщеславие, что заради издательской судьбы палец о палец не ударит, а какой дурак будет за него обивать пороги у властей и богачей, добывая деньжата на издания?! Мне чудится, Михаил подолгу забывает, что явился в сибирский мир поэтом, проживая жизнь лесной и полевой птицей, что поет задаром, не сеет и не жнет, плывет сосновыми борами и березовыми колками, плещет крылами в поднебесье, счастливая от небесной воли и земной красоты.

* * *

Увы, русские журнальные редакторы да критики не баловали поэта привлечением — в большинстве своекорыстны, пасут именитых, жадно гложат, словно мозговую кость, и если на Руси вчерашней, нынешней и открывали поэтов-самородков, то лишь сами писатели, те же именитые, а уж потом критики, бывало, спохватятся и взвоят заздравную песнь, хотя уж приспела пора петь заупокойную. Верно сказал Валентин Распутин о творчестве доброго сибирского писателя Алексея Зверева, что и к Михаилу Трофимову вполне подходит: «Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива. Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее и глубже, и при всей несвежести сравнения ее с айсбергом, оно, однако же, остается достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно. И талантливо. И дело тут не в похвалах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш, так называемый, большой читатель. И все-таки дело не в оценках, а в том, что делает писатель сам, как он работает, и, в конце концов, я считаю, что сделанное не останется втуне и все равно дойдет до читателя. Это гораздо лучше, если сравнить с судьбой тех писателей, которые делают мало и хуже, а славу имеют большую...»

К слову сказать, Алексей Зверев и Валентин Распутин, как и Михаил, выходцы из сельского простонародья, любили трофимовские поэмы и стихи.

Попрекнув русскую критику, скажу, что на Михаила Трофимова все же набрел критик Валентин Курбатов, учуял испоконный дух трофимовской поэзии и отважился, не заглядывая в критические святцы, написать о том в предисловии к сборнику стихов поэта. Хотя и Валентин Курбатов приступался к трофимовской лирике с опаской и оглядкой: «Я не знаю, как читал бы стихи Трофимова, не встречаясь с ним. Вероятно, мелькнула бы тень смущения — не притворна ли его старомодная крестьянски простая муза, можно ли жить народной речью и мыслью естественно даже и посреди нынешней, отдававшей городского телевидения деревни, не то что в самом Иркутске, с чеховских дней отмеченном интеллигентностью. Показалось бы, возможно, что поэт или достаточно стар или сложился в пору Дрожжина или Прокофьева, или немного играет в милую сердцу недавнюю деревенскую песенно-частушечную культуру и тем в общем сберегает ее лад, чтобы этот лад не позабылся вовсе».

Приятельство с поэтом, долгие вечера в трофимовской избушке на Байкале убедили критика, что лирическое слово и житейская судьба поэта не разнятся, как

случается в писательском мире: «Может быть, это и есть наиболее существенный вклад в сибирскую лирику, что он в русской природной поэзии, в распевном ладе русского поля и леса так полно услышал голос сибирской тайги в ее простой, будничной, незримой стороннему глазу жизни и написал ее любовно и благодарно, с истинно народной естественностью».

И после эдаких величаний не кинулись критики, сломя голову и сшибая друг друга, искать книги Трофимова, чтобы наперебой писать о лирике сибирского самородка — не вышло эдакого чуда, не судьба, а судьбу и на кривой кобыле не объедешь. В благой для поэзии застой не углядели, а ныне и подавно; ныне вопли сатаны остатнюю душеньку из народа вытрясли, какая уж там тихая сельская лирика... Но говаривали безунывные русаки: не наполним озера слезами, не утешим супостата печалью.

* * *

Прикочевал я в губернский город из лесостепного Забайкальского края, и стихи Трофимова умиляли, тешили мою сельскую душу; а вначале восьмидесятых, сравнивая Михаила с модным русскоязычным поэтом, записал я в амбарной книге: «Читаешь стихи Н. и дивишься: ловко вьются строки, словно табачный дым над резной трубкой, но читаешь затейливые дымные строфы и чуешь: молчит душа виршеплета, дурит книгочея поэт-пустоцвет; и зришь сквозь словесную мглу стихотворца... Смоляная борода, черная трубка в бороде, глаза в студеной поволоке... восседающего в креслах посреди книг, икон и голых краль — карточек с нагими, в серой дымке, косматыми дивами. У Трофимова же русская душа и поет, и плачет от любви к земляку и благословенной русской земле:

*Землицу-мать сосет царевна рожь,
И вся земля — раскрытая душа,
Как с дерева, с меня стекает дождь,
С работушки иду я не спеша.
Засветит ночь счастливую звезду,
Девчата песню старую споют —
Земля в цвету, земля моя в меду,
Родное поле и родной приют.*

* * *

В лирике Михаила Трофимова в счастливом ладу, безнатужно и природно крестьянский лубочный дух и песенная, сказовая деревенская стихия, что еще веchor жила на слуху, обитающая вечно зеленой кроной духа и художества в синих небесах, ангельских, архангельских и херувимских, а корнями — в славянском, поэтически величавом изначалье, в простудушном и прекраснодушном слиянии русских крестьян с отцом-небом и матерью-землей.

...Помню, едва признакомились, Михаил сманил меня в байкальский кедрач на добычу кедрового ореха. Прикатили мы на электричке из Иркутска в Култук, где трофимовская изба уютилась в тесном таежном распадке, возле студеного ручья, утаенного в зарослях курильского чая и тальника. По свету и до потемок копали картошку в лесном огороде, потом пили рябиновую настойку, прозванную трофимовкой, и до рассветных петухов слушал я таежные побаски, кои Михаил забавно довершал.

— Короче, ближе к ночи добыли мы... три... четыре... пять кулей кедрового ореха. — А про дикорослые ягоды так говаривал: набрали три... четыре... пять ведер брусники... черники... голубики.

Чуя наколоченные нами три... четыре... пять кулей кедрового ореха, я хмельно и заворуженно слушал Михаила — таё-ёжник, таёга; но когда утром, наскоро испив чая, полезли в кедрач на крутой хребет в отрогах Хамар-Дабана, я доспел: Михаил, бывалый таежник, ныне — не столь таёга, сколь таежный поэт: в хребетину скреблись — блудили, в кедраче — кружили, теряя таборное костровище, и, спускаясь с хребта, груженные некорыстным орехом, — вновь заплутали. По-первости, смехом горланил я на всю тайгу:

— Куда ты ведешь нас, проклятый старик!? Кругом не видать не зги...

Потом, выбиваясь из последней моченьки, обливаясь жарким потом, раздраженно ворчал. С горем пополам забрались в кедрач, Михаил, о ту безбожную пору очарованный славянским язычеством, велел: давай, Толя, просить таёжного хозяйнушку. Я застеснялся — не приважен скоморошничать, да и, в охотку слушая былички про избяную, водяную и таежную незримую силу, не верил я в домовых и баннушек, в леших и кикимор. Михаил же, отметнув руки к вершинам матерых кедрин, смиренно закатив глаза, повел сиротским голоском:

— Хозяйнушко, батюшко, дай нам маленечко орешков — детишков отпотчевать, самим побаловаться...

По вершинам дубнякового кедрача прошумел ветер-верховик — вздохнул хозяйнушко кедровый, усмехнулся в сизую замшелую бороду: н-но, паря, вы бы еще по снегу приперлись... артисты. Спыхватились... Тут уж до вас мамай прошел... Разве что, дубняк проколотите — с его орех поздно идет, да по оборышам с полкуля добудете, и то ладно.

Затаборились на сухом взлыске неподалеку от говорливого ключа, худо-бедно по кулю шишек все же набили с измочаленных колотом старых кедрин, а ночью... едва задремали... повалил снег. Я проснулся от пробирающей до костей сырой стужи, и увидел, словно в зачарованном сне: вокруг белым-бело, а Михаил, в багровых отблесках похожий на древнего жреца, колдует над кострищем, шуруя в огонь сушняк, и звездной россыпью летят в снежную замать красные искры...

Хоть и не фартовым вышел заход в кедрачи, хоть и блудили, но в памяти осело лишь отрадное, счастливо волнующее душу: мягкая темь вокруг жаркого костра, таинственный шум поднебесных вершин, старческие хрипы, скрипы кедрового дубняка, душистый, с брусничным листом чай и веселящие душу побаски, завораживающие охотничьи бывальщины, кои Михаил фартово добывал из своего широкого загашника.

Но самое отрадное, что по соседству с Мишей присмотрел я избушку, что лицом взирала на ручей, заросший желтоватым курильским чаем, а спиной, словно к печному боку, жалась к лесистой хребтинке, на кою вздымешься — и хлынет в глаза прохладной синевой батюшка Байкал...

* * *

Земляки в рабоче-крестьянском царстве-государстве пели величаво: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...», но про Михаила Трофимова, да и про помянутого русского поэта Анатолия Горбунова, не скажешь: вышли из народа — Горбунов и Трофимов не вышли; бились, колотились, да так и не вышли из

народа, так в народе и остались жизненным ладом и укладом. Михаил, былой житель красноярского села Снегиревка, как уродился пареньком таежным, полевым, потешным и беспечным, по-отрочески хвастливым и обидчивым, таким и остался до редеющих, седеющих кудрей. Его, ныне уже пенсионера, художники и писатели ласково величают Мишей. Разве что заматерел да земляной, древесной силушкой налился, не увядшей к пожилым летам, поскольку сроду не протирал штаны за письменным столом, но вечно промышлял в тайге, обихаживал землю, пилил, колол дрова, городил заборы, ладил усадьбу на Байкале, писал стихи на колене и на пне, ел вполсыта, пил вполпьяна — проживет век дополна; и, разумеется, любил побалагурить, залить байку, потешку, быличку, пропеть частушку. О своем безунывном характере Михаил Трофимов и поведал в простодушной поэме «Свадьба»:

«...Я в село родное верил / И его аршином мерил... (...) / По своей Руси хожу / С русскою гармошкой, / Прибаутки горожу / Хвастаюсь немножко, / Чтоб судьбе / И всем на зависть / Легкой жизнь моя казалась.(...) / Веселиться я умею, / Может, скоро поумнею, / Стариком бы мне / Родиться, // Рассуждать бы научиться — / Я писал, / Хоть бедовал, / Рот булавкой зашпилял.../ Чтобы силушки хватило, / Мне / Моя звезда светила / Всяку ночь в мое окно».

* * *

Михаил Трофимов — мастер глиняных игрушек: замершая в глине причудливая сельская жизнь... Которые давно красуются в домах приятелей — художников и писателей, где их по-свойски величают глиняшками. Игрушки, смахивающие на сосновые наросты-капы, на топорно рубленных славянских идолов, напоминают трофимовские побасенные вирши, что народились в глине, а не в слове. Опять же, как обмолвился поэт, случилось, и стих, и рыжая потешка выпевали разом... Вот осадистая баба с подойником подле мычащей в небо приземистой коровы; вот корявый мужичок, наярывающий на саратовской гармошке — «нос редиской, рот корытом, голова соломой крыта; криволапый, кособрюхий, полоротый, вислоухий; маменька косматая, за кого просватала...»; вот «девчоночки-беляночки попадали на саночки» — вроде, со свадебного поезда — и заголосили на всю улицу, весело плача по невесте...

«Колокольчик / В лад гармошке / Прокатился по дорожке. / Двое саней / С козырями, / Двое с вычурами, / А невеста / Рядом с нами — / Брови вычернены. / Мы невесту, / Как царевну, / Через всю везем деревню...»

От стиха веет родимой волюшкой, деревенскими дворами и березовой околицей, Русью многорадостной и многогорестной, на былинку и на сказку, на вопль, на страдание, на частушку-тараторку, потешку-байку завсегда гораздой.

«Под копытом / Синий бус — / Вот она, родная Русь, / Снег до боли / Синий-синий, / И поддужный синий звон, / Ой, ты мать моя Россия, / С четырех лежишь сторон, / Под высоким пологом, / По жнивью да по логу...»

Гляжу на глиняные потешки, что дарил мне Михаил по дружбе, гляжу и дивлюсь: сколь в ядреной бабе с коровой, в криволапом медвежалом, толстоносом мужике с гармонью природного кондового здоровья; сколь в глиняных свистульках, свиристелках, словно в сибирских байках, игривой, причудливой выдумки и... натуральности, словно потехи сами собой народились из глины. Либо археологи вырыли из древних скифских захоронений, либо старосельский мужичонко шу-

тя-любя-играючи, между делом вылепил игрушки под вечерний сказ, под доуки-небылицы, не загадывая глиняным поделкам заманчивой судьбы, раздаривая их с пылу и жару, абы народ увеселить, чтобы отеплило и рассвело в темнеющих и холодеющих, стареющих до срока, скучающих сердцах, чтобы проснулся и выиграл в душах изначальный русский дух.

Игрушки Михаила Трофимова напоминали мне воплощенные в глине завиральные сказы Степана Писахова, архангельские побаски Бориса Шергина, вологодские бухтины Василия Белова, либо чалдонские² байки — ангарские, ленские, енисейские, но, перво-наперво, потешки были созвучны детским стихам Трофимова, с коими выросли уже три поколения ребят-сибирят.

«Рыжая кошка / Играла на гармошке. / Но пришла задира рысь / И сказала кошке: / — Брысь! / Я ведь тоже кошка. / Где моя гармошка?»

«Раз, два, три, четыре, / Жили в озере чупыри, / Чупыриха с чупырем, / Чупырята вчетвером».

Критик Валентин Курбатов, познакомившись с Михаилом Трофимовым, счастливо подивился: «Я узнал его сперва как мастера диковинных «глинянок» — косноязычно-родных, очень подлинных, смущающе первоначальных. В игрушках было что-то народно-коренное, не русское только, но как будто всеобщее первородное — в них узнали бы свое и ацтеки, и скифы, и мифологические шумеры. Они казались не вылепленными сейчас, а найденными в раскопках, и сказать, каких зверей и птиц они изображали, можно было не всегда — это были просто птицы и звери до деления на лошадей, глухарей, коров, оленей».

Размышляющие и рассуждающие о творчестве Михаила Трофимова воспевали природосуверенные языческие начала в произведениях сибирского самородка, но, похоже, ошибались; в творческом духе поэта, даже и невоцерковленного в молодую пору, исподволь жила христианская любовь к ближнему, подобию Божию, к природе, Творению Божию, а имя Христа Бога — любовь...

Впрочем, давным-давно поэт, бросивши в темный чулан избыных, дворовых и лесных хозяйнушек, чародеек и русалок, исповедуется и причащается во храме Божиим, и даже сподобился написать духовный стих — «Молитву святителю Иннокентию», ясную и строгую в слове и духе:

«Святой отче Иннокентие, / Ты Господом послан / Стране Иркутской / И увенчан славою на небеси. / Услыши молитву нашу... (...) Буде заступником нашим / На земли и на небеси / И ныне, и в час кончины. / Буде поводырем ко спасению, / Строй спасение душам нашим, / Соблюди и мою убогую душу. / Аминь».

* * *

Смолоду рыжекудрый, петушистый, песельный, баешный, балалаешный, мастер глиняных свистулек, дивно изображенный на холстах живописца Анатолия Костовского, Михаил Трофимов ныне похож на ласкового и потешного деревенского дедка, и, вроде, на Николу Угодника, со старых сельских образов: залысевший... снежные кудерьки топорщатся над ушами... сивобородый, голубоглазый. До пожилых лет Михаил бороды не рости... огневыми кудрями красовался... хотя друзья-приятели, художники и писатели, смолоду забородатели: в люди вышли — борода лопатой, а он, частушечник румянощекий, лишь весело усмехался,

²Чалдоны — сибиряки, живущие по берегам Енисея, Ангары и Лены, якобы причалившие с Дона, помешанные с тамошними тунгусами.

глядючи на заросших густым мохом по самы очеса: «Ох, девки, беда, куды мне деваться, по колено борода, негде целоваться». Приятели спохватились... годы поджали, стариться неохота... обкорнали бороды до богемной небритости, а Михаил наоборот, как молитвенным летам пристойнее, в инистой бороде. И стихи, ныне редкие, построжали, словно осенние леса в предчувствии снега, словно мы, окаянные, но покаянные, в Прощеное воскресенье накануне Вечного Поста.

Нынче и виделись с Михаилом на Прощенное воскресенье... отыграла краснорожая обжорная Масленница, не наша ли с Михаилом... свиделись посреди городища, и брат, елозя бородой по моему лицу, слезно просил прощения; и кажется, после вечерней исповеди и заутреннего причастия полгорода обежал, вымаливая прощения у приятелей и знакомцев. А что прощать, ежели сознательно, сколь помню, зла ближним не творил?!

Обнялись мы братски, и Михаил дальше пометелил по заснеженному городищу просить прощения, да не по летам прытко... эдак в Иркутске еще бегают восьмидесятилетний художник-берестяник Евгений Ушаков... аж полы шубейки заворачиваются и снег из-под катанок летит порошей. Слава Богу, не берут Михаила Трофимыча лета, и чую, век отсулен ему долгий... у него еще и матушка вживе и в здравии, и сам крепкий... и отпущен поэту добрый век на то, чтобы просеять плевелы и завещать русским внукам, правнукам спелое, чистое зерно.

1980-е годы, 2006 год.

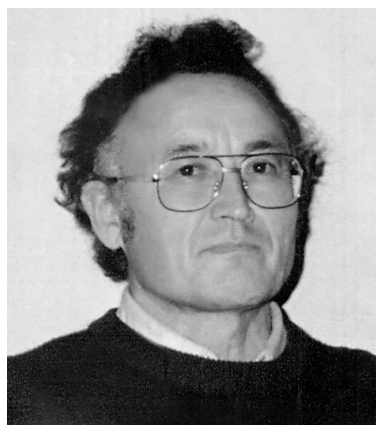
Вернисаж



*80 лет со дня рождения
художника Карла Шулунова*

ГРИГОРИЙ ЛАЗАРЕВ

Певучий голос предков



Шулунов К.Е.

Карл Ефимович Шулунов, чудесный сибирский живописец, вырос в прибайкальской степи, где по соседству в добром, искреннем ладу жили буряты и русские, где причудливым, цветистым клубком сплелись русские и бурятские обычаи, обряды, речения. Отчего в душе художника, а потом и в живописи, избежавшей новомодной шаманской неистовости, слились и степная, по-буддийски отчужденная от суетного мира созерцательность, и по-русски ласковая православная любовь к ближнему, коя и есть земное воплощение любви ко Всевышнему.

С мудростью созерцательных и певучих степняков, с русской удалью, с любовным знанием сибирской природы и сыновним поклоном матери-сырой земле российский художник Карл Ефимович Шулунов запечатлел в картинах бурятскую народную и русскую народную жизнь.

Искусство покорно лишь Божьему дару и труду, а возраст не помеха — художники талантливые произведения рождали во всякие лета: и в ранней юности, и в матёрой зрелости, и в умудренной старости. Изрядно послужил Карл Ефимович заказному, прикладному творчеству; но не иссякла душа художника, не утратилось живописное мастерство. И певучий голос предков — чабанов-кочевников из эхиритов, булагатов и хондогоров, — голос то гортанный, то по-девы нежный и грустный, дотоле дремавший в душе, однажды пробудился, и степным миражом ожили видения, воплощаясь в живописных холстах.

Видалась степь в зеленой мураве, и белая, сухая — сагаан гоол и сагаан хээрэ, где в синеватых сумерках пасутся кони, где вольная воля созерцательному взору и блаженному воображению; виделись саянские хребты с белыми гольцами, похожие на кочевые юрты; виделись березовые гривы с вешними цветами-ургуями и степь в синеватом мерцании цветов ая-ганга, а по степным увалам летели в лихом аллюре кони с юными наездниками, и с шипящим свистом летели стрелы в кожаную мишень сур — то степняки праздновали сурхарбан; а потом виделись древние буряты с лицами медных божков-бурханов; виделись и молодые, что хороводом вились вокруг костра в танце-ёхоре, и пламенные всплески сеяли искры в засиневшее

предночное небо... Видения всплывали из памяти и замирали на холстах, словно ожившие в цвете бурятские улигеры¹, словно стихи степных поэтов:

Вы слышали когда-нибудь
О траве голубой — ая-ганга?
Ее имя, как отзвук
Старинного медного гонга.
У нее суховатые
Колкие стебли,
От нее синеватые
Наши бурятские степи...

* * *

Дым и горек до слез,
Дым и сладок до слез,
И сегодня я вам
Ая-ганга принес...

Дондок Улзытуев

Будь у меня голос, —
Атласный, гортанный,
Словно гарцующая
На цыпочках сабля,
Пел бы о бурятках,
Коричневых, как земля,
Об алых саранках,
Сорванных на скаку,
О пылающем солнце,
Запутавшемся в ковылях...
Будь у меня голос.

* * *

Здесь женщины смуглы —
Они в долинах целовались с солнцем.
В них молоко томится,
Мечтая жизнь вскормить.
А брови гнутые над изумленьем глаз —
Как ласточек стремительные крылья...

Намжил Нимбуев

Карл Ефимович Шулунов — художник, с любовью воспевавший родную землю и земляков, и путешественник, исколесивший Сибирь вдоль и поперёк, и мореплаватель, капитаном-судоводителем ходивший по Байкал-морю на судне «Алаир²». Для сего даже обучался в мореходной школе... Я опрометчиво думал-гадал: сухопутный уроженец степей и лесов, и вдруг — мореплаватель; впрочем, давным-дав-

¹Улигеры — народные эпические поэмы.

²Алаир — мифический герой, что после смерти родителей поселился у реки Ангары. Женился, и от Алаира пошло племя алаирских (аларских) бурят, ныне живущих в Аларском районе Усть-Ордынского бурятского национального округа Иркутской области.

но ведаю я чудную и чуждую тягу степняков к морям и океанам. Но, оказалось, в детстве и отрочестве художник жил на северном берегу Байкала...

Богатый живописный улов привозил Карл Ефимович из байкальских морских и сухопутных путешествий: скажем, из Тункинской долины, что в отрогах Саянского хребта, сверкающего в синем поднебесье ослепительно-снежными гольцами. Знатоки живописи, собравшись по искусному ремеслу, похвально оценивая, видели его пейзажи, портреты, сюжетно-бытовые, исторические картины на областных и столичных выставках, а избранные произведения ныне в частных коллекциях Иркутска, в музеях страны и за рубежом.

Карл Ефимович с любовью запечатлел характеры степняков, их нравы... Вот картина, где отец вдохновенно и ласково вскидывает над степью малого отрока — потомка рода, чтобы узрел степную и небесную красоту. А вот «Мудрецы» — унылый и безунывный, как две стихии народных характеров. Серия картин бурятского степного бытия, жанровые картины «Сибирские партизаны», «Казачья лава» — вершинные произведения художника, хотя создавались холсты на опасной грани вольного художества и книжной иллюстрации, а может, и плаката, но спасла живописность, живая реальность образов.

Историю Сибири и родного бурятского народа, его степные и таяжные мифы и легенды, вольную и могучую, нежную и задумчивую природу Прибайкалья, Приангарья, Присяянья воспел самобытный художник Карл Ефимович Шулунов, утверждая в зрительских душах любовь к малой родине, из которой взрастает и любовь к Великой Родине, к России.

Май 2019 года

Сумочка к ребру



СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Метафоры с хрустом горели в аду

*Покупаю для свинарки жемчуг,
Начерняю душу для чернил.
Пью вино, обманываю женщин.
Пушкина любил, да разлюбил.*

*.....
Лажу дачу, получаю сдачу,
Похожу с годами на отца:
Прячу, прячу — все никак не спрячу
Бесову поклевочку с лица.*

Анатолий Кобенков

Я метал свинаркам черный жемчуг,
Лил в подойник гадость из чернил.
Я обманывал стихами женщин
И себя обманывать любил.

Лажу пишем под вино и водку.
За корягу мысль свою ведем.
Красоту меняем на кокотку
Бесово-поклевочным путем.

*Стучали бараны и дули в дуду,
И музыка воздуха шире.
Четыре скамейки в четвертом ряду,
А ласточек — тридцать четыре.*

Анатолий Кобенков

Стучали бараны опять в барабаны.
Потом барабаны дудели в дуду.
А ласточки вдруг посчитали диваны
В придуманном мною зеленом саду.

Считали, дудели, считали и пели.
Куражились листья и дули в дуду.
Ударило молнией в старые ели.
Метафоры с хрустом горели в аду.

*Сел на крышу вечер хмурый,
Месяц в яме черной тонет.
С грустью смотрят в небо куры
И задумчивые кони.*

*Хнычет где-то в поле вихрь,
С болью звук пронзает уши.
И гусыня плачет тихо,
Головой в крыло уткнувшись.*

Василий Попов

Вечер хмурый слезно хнычет.
Месяц в яме утопили.
Гуси, куры нам талдычат,
Что гармонь вчера пропили.

Головой уткнувшись в стену,
Я рыдаю в безнадеге.
И, стихам назначив цену,
Брошусь в лужу у дороги.

*Мы с Ангарою, как подружки.
Я так судьбою схожа с ней,
Меня влечет один парнишка,
Ее ждет милый Енисей.*

Владимир Седых

Мы с Ангарою, как подружки.
Я так судьбою схожа с ней.
Вот убегу на постирушки,
Чтоб не догнал мой Енисей.

Я, как она, бегу по свету
И от любви всегда бурлю.
Для большего авторитету
Любимых авторов топлю.

*Иду я с Родиной под ручку,
Не опуская в землю глаз.
А вся Америка с Европой
Пусть смотрят с завистью на нас.*

*Вокруг в рубашке разноцветной
Мои любимые края.
Свободным воздухом вдыхает
Россия — Родина моя.*

Владимир Седых

Иду я с Родиной под ручку.
Мне есть чего для вас сказать.
Устрою всем Европам взбучку,
А сам потом пойду плясать.

Все разноцветные рубашки
Надену только на себя.
Насыпьте только малость каши.
Ослаб, поэзию любя.

ВЛАДИМИР СКИФ

Кое-что об утоплении

*Я хочу любить тебя всего,
Утопить в себе,
В горячем теле...
И не помнить больше ничего,
Разметавшись буйно на постели...*

Светлана Шегебаева

Я уже не плачу, не грущу	Я тебя сегодня отлюблю...
И не собираюсь резать вены.	И когда заплачут коростели,
Я тебе сурово отомщу	То тебя — в себе я утоплю
За себя, за все твои измены.	И засну спокойно на постели.

Восточные страсти

*Белые плечи, улыбки оскал...
Я тебя тысячу весен искал.*

*Я тебя сонную выкраду ночью.
Только кусайся не больно чтоб очень...*

*Я тебя вынесу к дальней тропе.
Там, где в траве полыхает репей.*

*Руки, как теплые змеи. И я,
Прядь твою мокрую смачно жуя,*

*Буду вдыхать запах белого тела...
Ты бы кричала, кабы не хотела!*

Светлана Шегебаева

Белые зубы и волчий оскал...	Ты обслонявил, залапал меня,
Как ты, волчара, меня отыскал?	Точно араб дорогого коня.
К деве восточной, такой непорочной,	Словно удав — ты душил мое тело,
Как ты залез по трубе водосточной?	Я же напротив, тебя не хотела.
В форточку спрыгнул, спугнув голубей,	Я поднимала высокую грудь,
И прицепился, как будто репей.	Чтобы хоть на пол тебя сковырнуть.
Я не пищала и не верещала,	Ты потушил свой звериный оскал
Только кусаться тебе обещала.	И навсегда от меня усакал...
Ты меня обнял — и вскрикнула я...	Кто из нас выиграл в этой борьбе?
Прядь мою мокрую смачно жуя,	Может, я зря отказала тебе?



ЭДУАРД АНАШКИН

Судьбы трагический роман

О книге Александра Лаптева «Бездна»



Имя писателя Петра Поликарповича Петрова для Сибири и Иркутска имеет особую, хотя и трагическую, значимость. Именем Петрова названа не только улица в Иркутске. Его имя носит Иркутский Областной Дом литераторов. На доме в Иркутске, где жил и работал писатель, установлена мемориальная доска его памяти. Имя Петра Петрова носит школа в селе Партизанское Красноярского края, с которым писателя связывают биографические вехи. В судьбе этого писателя воплотились величие и трагедия эпохи, которая выпала ему на долю. И которую нельзя отделить от его творчества, потому что Петр Петров был одновременно и детищем, и жертвой своей эпохи. О судьбе этого писателя можно создавать филь-

мы и романы. Вот о таком романе «Бездна», написанном современным иркутским прозаиком Александром Лаптевым, мне и хочется рассказать.

Но сначала следует рассказать немного о человеке, ставшем прототипом главного героя романа «Бездна». Петр Поликарпович Петров был одним из выдающихся писателей, исповедовавших принцип социалистического реализма в отражении своей эпохи. Он был плоть от плоти своего времени, когда писатели были увлечены не только литературой, но и жизнью. Они не бегали от жизни, не наблюдали за ней, они жили ею. Уроженец Канского округа Енисейской губернии, природный крестьянин Петр Петров участвовал в гражданской войне в Сибири, от военной службы не лытал, в 1917 году был избран в первый Канский совдеп. Избирался делегатом Первого и Второго Всесибирского съезда Советов. Дважды делегировался в состав Центрального Исполнительного Комитета Советов Сибири. Будущий сибирский классик был делегатом Первого съезда писателей СССР в 1934 году, членом редколлегии журнала «Будущая Сибирь», членом правления Восточно-Сибирского отделения писателей, заведовал агитационным отделом партизанской армии. Состоял в переписке с «буревестником революции» Максимом Горьким... Был главным редактором газеты «Соха и молот», членом редколлегии журнала «Будущая Сибирь».

Как видим, насыщенность жизни и творчества этого человека поистине удивительны вплоть до момента, когда он был репрессирован и скончался в 1941 году. Посмертно, конечно, Петра Петрова реабилитировал Военный трибунал Забайкальского военного округа.

Путь в литературу у Петра Поликарповича Петрова начался с мемуарных статей о его участии в партизанском движении. Позже была поэма «Партизаны», опу-

бликованная в журнале «Сибирские огни», романы «Подсада», «Половодье», повести «Саяны шумят», «Крутые перевалы», «Памятная скала», посвященные теме гражданской войны. Роман Петрова «Борель» — это художественное осмысление периода новой экономической политики. Романы «Шайтан-поле» и «Золото» повествуют читателям о первой пятилетке. Последний роман «Ветошь» остался в рукописи...

Роман Александра Лаптева «Бездна» повествует о самом трагическом периоде жизни сибирского классика Петрова, выведенного в романе под фамилией Пеплова. Начинается книга со сцены ночного ареста писателя, с момента, когда его жизнь сделала крутой и трагический поворот. Но даже это не сломило писателя, привыкшего жить рискованно и не бояться смерти... Писателя, который поневоле, в силу натуры, не может даже в ситуации близости смерти отрешиться от наблюдений за поведением людей. Ведь в моменты опасности человеческая натура раскрывается с особой силой. Наблюдая за людьми, он не исключает и себя самого.

«Петр Поликарпович чувствовал себя каким-то винтиком, никчемной букашкой — так все вокруг было серьезно и внушительно. Эти чем-то озабоченные вооруженные люди, каменные стены и прочные решетки — подавляли какой-то незыблемостью, неотвратимостью. Совершалось что-то значительное и, вместе с тем, пугающее. Но что это было, он никак не мог взять в толк. И почему он по эту, а не по ту сторону решетки? Он вдруг поймал себя на мысли, что мог бы сейчас точно так же спешить по коридору с озабоченным видом. И он бы не сплеховал, ежели чего! Но его жизненный опыт, его смелость и решительность были теперь никому не нужны...».

Закон революции таков, что революция пожирает в итоге тех, кто ее делал. И на смену романтикам революции приходят прагматики, если не циники. А закон братоубийственной гражданской войны, начало которой было положено ещё убийством Авеля Каином, в том, что жертва и палач очень часто могут в мгновение ока поменяться местами, хоть и стоят по разные стороны баррикады. Это трагическое противоречие лежит в основе самых талантливых литературных произведений той эпохи и произведений, написанных о той эпохе.

В книге приведены цитаты из романов Петра Петрова, настолько точно и честно выписанные страшные сцены расстрелов, сцены поведения разных людей перед смертью и под расстрельным прицелом, неважно, будь ты генерал или священник, боящийся, что его расстреляют, предварительно раздев, или белогвардеец... Все эти характеры точно и честно выписаны Петровым, поскольку сам он — участник гражданской войны. И о том, о чем писал, знал не понаслышке.

События жизни и смерти сибирского классика настолько драматичны, что, как сказал поэт: «Тут ни прибавить, ни убавить — так это было на земле». Александр Лаптев поставил себе сложную задачу — во имя художественности не погрешить против документалистики. И сказать страшную правду о непростой эпохе сталинских репрессий, когда человек оказывался песчинкой вне зависимости от своих заслуг.

Автору «Бездны» понадобились годы упорных поисков, изысканий в архивах и музеях, годы пристального изучения обширного литературного наследия прототипа главного героя. Но подготовка к роману не ограничилась работой с документами. Александр Лаптев предпринял поездку на Колыму, чтобы на месте событий ощутить атмосферу эпохи, о которой ему предстояло рассказать читателям. Автор «Бездны» счел насущно необходимым непосредственное общение с оставшимися

в живых свидетелями легендарной трагической эпохи. Непросто было, не впад в однолинейное обличительство, осмыслить непростую диалектическую художественную правду, что вращала колеса гражданской войны, в которой, как известно, победителей не бывает.

«Я кровь проливал за советскую власть, контру стрелял вот этой самой рукой», — говорит Пеплов в романе. К чести писателей «революционного призыва» (как и позже писателей военного призыва «сороковых-роковых»), они не были в чистом виде литераторами-сочинителями. Они были вовлечены в самую быструю-стремнину жизни, в самый ее водоворот. Это были люди с яркими и часто трагическими биографиями. До того, как прийти в литературу, они познавали жизнь в самом горячем и в самом непосредственном соприкосновении с ней. Да что там? Они были творцами этой самой жизни, о которой потом рассказывали читателям. Каждый из них приходил в литературу со своей темой, со своей биографией — выстраданной и прожитой. Этим людям было что сказать читателю, в отличие от многих комнатных домашних литераторов, которые видели жизнь лишь из окна собственного писательского кабинета.

До того, как воплотиться в роман «Бездна», судьба Петрова тревожила писателей-иркутян самых разных поколений. И будем честны, правда о судьбе этого писателя приходила к людям трудно, можно сказать, по крупницам. На подступах к этой правде оказывалось немало «заградотрядов». Вот что пишет Андрей Румянцев в своей книге «Валентин Распутин» из серии «Жизнь замечательных людей», изданной издательством «Молодая Гвардия». В 1962 году, к примеру, Валентин Распутин, к тому времени перешедший из редакции газеты «Советская молодежь» на должность редактора литературно-драматических передач Иркутской студии телевидения, вместе с другом, молодым журналистом-поэтом Сергеем Иоффе, подготовил телепередачу о Петре Петрове. В этой телепередаче Распутин и Иоффе использовали письма Петра Петрова из тюрьмы жене. На предварительном просмотре материала председатель Иркутского областного телерадиокомитета категорически запретил показывать многие моменты передачи, потребовав изъять их из видеоряда.

Не станем обсуждать чиновника, перестраховка — частое для советских чиновников занятие. Молодые авторы телепередачи изымать какие бы то ни было фрагменты из передачи также наотрез отказались, — продолжает Андрей Румянцев, — за что были уволены с работы. Молодые журналисты-писатели Распутин и Иоффе не смирились с цензурой и обратились к собственному корреспонденту газеты «Известия» по Восточной Сибири Леониду Шинкареву, который встал на их сторону и опубликовал статью, в которой, что называется, «продернул» председателя телерадиокомитета. Статью опубликовала газета «Известия», известная среди писателей и литераторов как «аджубеевская газета» (по фамилии главного редактора Аджубея, зятя генсека Никиты Хрущева). Обком партии с оглядкой на столь уважаемое издание объявил председателю Иркутского телерадиокомитета выговор и обязал восстановить уволенных авторов телепередачи о Петре Петрове на работе. Но ребята не сочли для себя возможным возвращаться обратно. Сергей Иоффе в итоге перешел работать в газету «Советская молодежь», а Валентин Распутин покинул Иркутск и переехал в Красноярск.

Из Иркутска-то Распутин уехал, однако тема трагической судьбы Петра Петрова не отпускала его. Однажды, спустя многие-многие годы, мы с Валентином Григорьевичем вернулись к этой теме. Было это в здании правления Союза писа-

телей России на Комсомольском проспекте в Москве. Распутин сказал: «Эдуард, к Петрову я возвратился пять лет спустя после этой истории с телепередачей, в 1967 году. Написал очерк о Петре Поликарповиче и опубликовал его...».

...И вот наконец написан роман «Бездна» — роман о судьбе Петра Петрова, имя которого носит Иркутский Областной Дом литераторов. Дом, где присутствие Петрова осязаемо, как присутствие эпохи, в которую он жил. Писатели занимают этот старинный особняк с 1972 года. В романе «Бездна» действие в самом начале происходит именно в этом писательском историческом здании. Хотя фактически в 1937 году, на момент ареста Петрова, иркутские писатели занимали другое помещение. Но художественная правда в данном случае не грешит против правды документальной, и «географическая» неточность в данном случае не принципиальна. Ведь «Бездна», по сути, не документальное, а художественное произведение. Как поясняет автор романа Александр Лаптев: «Главным для меня было не то, на каком стуле и в какой комнате сидел тот или иной человек, а главное — что он говорил и делал, и какова его судьба (в этом отношении я старался быть предельно точным). Роман или повесть предполагают художественный вымысел. Особенно когда посвящены событиям почти вековой давности, да еще происходившим за тридевять земель».

Предприняв в 2015 году поездку за художественной достоверностью на Колыму, к месту событий романа, автор романа «Бездна» Александр Лаптев проехал за полторы недели полторы тысячи километров по знаменитой Колымской трассе, побывал в тех местах, где располагались лагеря НКВД, в которых погибли тысячи людей. Такое путешествие в пространстве было путешествием и во времени. И тут уже географический фактор никак не назвать второстепенным. Как говорится, кто-то едет на «берег турецкий», а нашего брата-писателя медом не корми, а дай повидать Колыму! И что же обнаружил Александр Лаптев во время своего колымского путешествия?

«...лагерей нет в помине. Просто найти место, где они располагались — уже проблема. А уж о том, чтобы восстановить подлинную картину лагерьной жизни, узнать о том, что думали и о чем говорили обреченные на смерть люди — об этом нечего и говорить. Все это приходится восстанавливать по косвенным признакам, по множеству рассеянных в самых разных местах публикаций воспоминаниях, а еще — по внутреннему чувству, которое подсказывает и мысли, и чувства, и поступки людей, которых мы никогда не увидим и ни о чем не спросим... Так писалась моя книга — вторая ее часть. А для написания первой части я использовал вполне реальные протоколы писательских собраний и протоколы допросов, которые сохранились в архивах — гражданских и ведомственных...»

...Думаю, стоит немного, для полноты картины, рассказать об истории дома, осененного именем и трагической судьбой Петра Петрова. В 1901 году купец второй гильдии Владимир Бревнов купил усадьбу на Почтамтской улице (ныне это улица Степана Разина) и построил двухэтажный особняк по проекту иркутского архитектора Бойкова. Дом, выстроенный в характерном для начала XX века стиле модерн, получил в народе название «дом со львами» (львиные морды на барельефе). Сегодня это здание признано архитектурным памятником федерального значения.

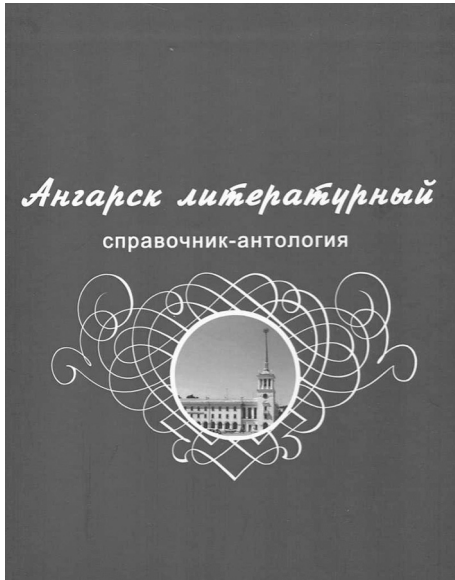
Когда осенью 2013 года я по приглашению Распутина приехал в Иркутск на праздник русской духовности и культуры «Сияние России», Валентин Григорье-

вич спросил: «Эдуард, ты успел побывать в нашем доме литераторов?..». Я ответил, что пока возможности такой не было, график встреч с читателями плотный и насыщенный. «Надо, надо побывать, тут близко, пойдем вдохнуть воздуха старины», — и Распутин повёл меня в Иркутский Дом литераторов им. Петра Петрова. Даже нуждающийся в ремонте, особняк произвел на меня огромное впечатление. Солидный и в то же время уютный! Огромное венецианское зеркало, которое было в особняке изначально, поистине легендарно лицами, что смотрели в него.

После того, как в 1917 году купцы Бревновы покинули свой иркутский дом, уехав в эмиграцию в Харбин, особняк недолго пустовал. Сначала там размещалось консульство Великобритании, а впоследствии дом «облюбовал» генерал-француз Жанен, участвовавший в гражданской войне в России в качестве представителя военной миссии Антанты. Бывал в том доме и наверняка смотрел в это легендарное зеркало Александр Колчак. А еще лейтенант морской пехоты и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Интересную историю рассказывает председатель правления Иркутского отделения Союза писателей России Юрий Баранов. В начале 60-х годов XX века должна была состояться встреча на высшем уровне главы СССР Хрущева с президентом США Эйзенхауэром. Эйзенхауэр выбрал местом встречи Иркутск. Говорят, проходя службу в Иркутске, молодой лейтенант Эйзенхауэр простудился и лечился в Иркутском военном госпитале, где у него приключился роман с сибирячкой-медсестрой. Видимо, воспоминания о молодости и натолкнули главу США на мысль побывать снова в Иркутске, словно в своей молодости.

Молодость есть не только у человека. Она есть у стран, она есть у революции. В молодости человек порой совершает импульсивные поступки, о которых впоследствии, повзрослев, порою жалеет. Молодость нашей революционной эпохи привела к гибели многих талантливых творцов литературы, которые, в свою очередь, посвятили себя революции и свято верили в ее идеалы, не всегда думая о том, какой братоубийственной враждой и погружением в какую бездну горя могут обернуться эти идеалы в применении к реальности. Роман Александра Лаптева «Бездна» напоминает нам о неискупаемой вине братоубийственной вражды на примере яркой и трагической судьбы Петра Поликарповича Петрова — талантливейшего сибирского словотворца, в произведениях и судьбе которого отражена эпоха, ставшая для писателя одновременно матерью и мачехой. Хорошо, что рано или поздно приходит время сказать о братоубийственной бездне гражданской войны — без умолчаний и лжи.

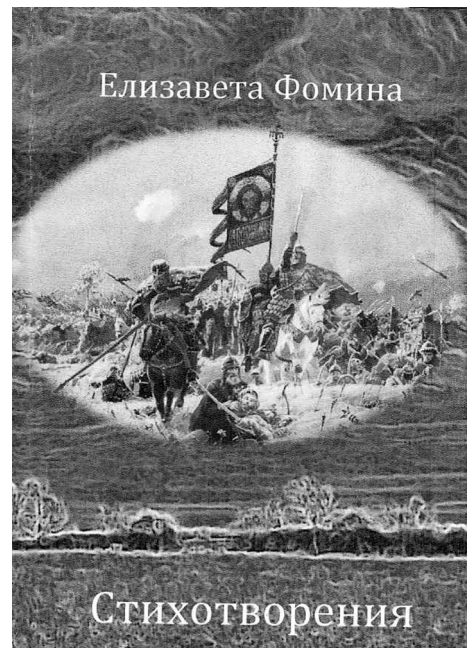
Книжная полка

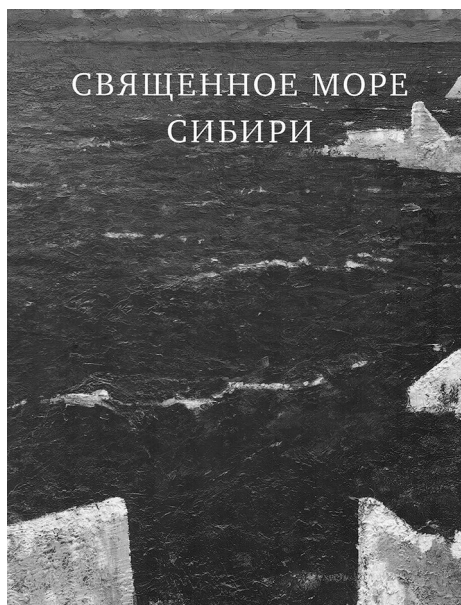


Ангарск литературный: справочник-антология /ред. и сост. В.В. Дмитриевский и др. — Ангарск: [б.и.], 2018 («ООО МКС») — 384 с.

В книге представлены биографические сведения, данные о публикациях и образцы творчества литераторов Ангарска за весь период его существования — прозаиков, поэтов, драматургов, публицистов, критиков. В ней подробно рассказано о более чем семидесяти авторах, внёсших заметный вклад в ангарскую литературу. В предисловии упомянуто более ста авторов из литературной среды Ангарска.

Новая книга члена Союза писателей России Елизаветы Фоминой проникнута светлыми стихами, полными любви к Богу, состраданием к человеку, его поискам правды и истины на земле.





Священное море Сибири: альбом-каталог / сост: Н.С. Сысоева, И.Г. Федчина; вступ. ст.: Н.С. Сысоева, И.Г. Федчина, Л.Н. Снытко; редактор статей М.Л. Ткачёва; корректор А.В. Кокин; оформление: А.А. Шелтунов. — Иркутск: ИРО ВТО О «Союз художников России»: ГБУК ИОХМ им. В.П. Сукачёва, 2018. — 244 с. : ил.

Альбом-каталог и выставочный проект «Священное море Сибири» впервые представляют коллекцию произведений из собрания музеев и галерей Иркутской области, а также мастерских иркутских художников, посвященную теме Байкала. Издание содержит вступительные статьи, краткие биографические справки о худож-

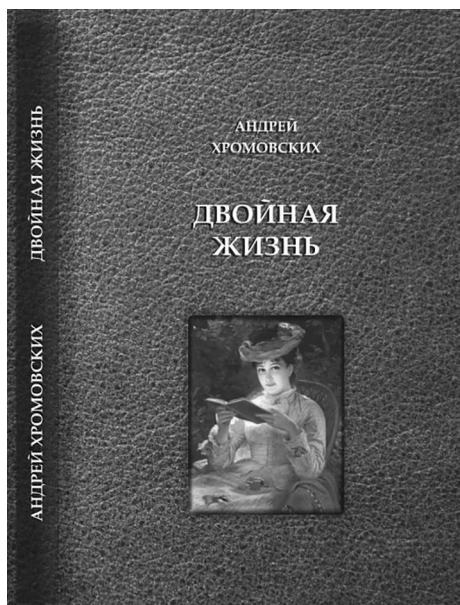
никах и каталог произведений.

Книга рассчитана на искусствоведов, историков, художников, студентов художественных учебных заведений, а также на широкий круг ценителей изобразительного искусства.

Пускай услышат наши голоса: Проза и стихи финалистов литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность — 2018». — Иркутск : Сибирская книга, 2018 г. — 256 с.

В сборник включены произведения финалистов областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность — 2018», состоявшейся в Иркутске 21–23 ноября 2018 г. В финальную часть конференции были отобраны произведения одиннадцати прозаиков и пятнадцати поэтов в возрасте от 16 до 35 лет. Каждый из авторов стремился донести до читателя что-то своё, сокровенное: это или нестандартная мысль, или необычное наблюдение, или переживание. А ещё — это искреннее стремление юного автора постичь окружающий мир во всём его многообразии. О том, насколько это удалось, судить тебе, читатель!





Хромовских, А.

Двойная жизнь: повесть /А.А. Хромовских. — Иркутск: [б.и.], 2019 (Тип. «Форвард»). — 224 с.

Член Союза писателей России Андрей Хромовских пишет стихи и прозу. Большинство его прежних публикаций — рассказы. Повесть с весьма необычным сюжетом «Двойная жизнь» — первое крупное произведение автора.



Лауреаты Патриаршей литературной премии 2019 года

23 мая 2019 года в храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия, сообщает ТАСС. Награды из рук главы Русской православной церкви получили Александр Стрижев, Дмитрий Володихин, Михаил Тарковский.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что целью премии является поощрение талантливых литераторов и популяризация творчества достойных, с точки зрения церкви, писателей.

Предстоятель Русской церкви также подчеркнул, что в настоящее время обществу очень нужна литература, которая «примирила бы постмодернистскую реальность с вечными нравственными принципами и ценностями».

«Нужны новые Пушкины, которые могли бы „чувства добрые лирой пробуждать“, не идеализируя, но и не опошляя мир, а свидетельствуя о высших истинах», — сказал глава РПЦ.

В 2019 году на соискание Патриаршей литературной премии было подано более сорока заявок. Из них было отобрано семь авторов. В их числе Дмитрий Володихин, Константин Скворцов, Василий Дворцов, Александр Стрижев, Михаил Чванов, Михаил Тарковский, Вячеслав Бондаренко.

«Мы за сохранение Русского мира»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КРАСНОДАРЕ

24–25 мая 2019 года в городе Краснодаре состоялась Третья Международная научно-практическая конференция «Творчество В.И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, литературы, журналистики, истории». Проходило мероприятие в стенах факультета журналистики Кубанского государственного университета, среди ведущих профессоров и студентов, которые также выступили с докладами на самые волнующие темы.

Участие в конференции приняли известные литераторы, среди них был и «виновник торжества» — Виктор Иванович Лихоносов, классик и признанный мастер слова. В пленарном заседании выступили следующие участники-гости: А.Г. Байбородин (писатель, главный редактор журнала «Сибирь»), приезда которого ждал и дождался Юг России, Ю.В. Козлов (писатель, главный редактор «Роман-газеты», г. Москва), Л.А. Сычева (писатель, публицист, главный редактор журнала «МОЛОКО», г. Москва), П.С. Беседин (прозаик, критик, публицист, г. Севастополь), В.И. Шульженко (профессор ПГУ, г. Пятигорск), Д.А. Ковальчук (директор института русской и иностранной филологии АГПУ, г. Армавир), Н.И. Крижановский (доцент АГПУ, г. Армавир) и многие другие. Также со своими докладами выступили и преподаватели Кубанского государственного университета — профессор П.Т. Сопкин, и профессор Л.А.Факторович.

Организаторами конференции, как и в прошлые годы, стали декан факультета журналистики Валерий Касьянов и заместитель декана по научной работе, литературный критик Юрий Павлов.

— Наша конференция год от года становится все более насыщенной, яркой. В этом году к нам присоединился чудесный город Иркутск в лице писателя Анатолия Байбородина. Конференция постепенно становится явлением не только всероссийского, но и международного масштаба. Всех нас здесь объединяет любовь к родной земле и литературе, — отметил Валерий Касьянов.

В своих выступлениях докладчики затрагивали и особо острые вопросы, которые вызывали в аудитории настоящие дискуссии. Среди таких был спор об использовании понятия «литература на русском языке» вместо понятия «русская литература», но наибольший резонанс вызвало выступление о пользе путешествий Александра Казинцева, заместителя главного редактора журнала «Наш современник». В дискуссию с автором вступил представитель молодого поколения литераторов Платон Беседин. Предметом «неконфликтного конфликта», как выразился один из дискутирующих, послужило выраженное Александром Ивановичем мнение о том, что русскому человеку необходимо постигать западную культуру и «брать у этой культуры все самое лучшее» для собственного совершенствования. Платон Беседин, в свою очередь, ответил на это утверждение резонно: изучать культуру «соседей» стоит только для того, чтобы «знать противника в

лицо», а все внимание и устремление русского человека должно быть направлено «на свою собственную культуру». И даже несмотря на полярные точки зрения, после заключительных слов Казинцева: «Мы все за сохранение Русского мира», спор закончился принятием мнений друг друга и дальнейшим шуточным «примирением».

Также хочется отметить и выступление Светланы Макаровой, председателя правления Краснодарского регионального отделения Союза писателей России. Темой для ее доклада стала проблема народной песни в современном медийном пространстве, а именно дефицит русскоязычной музыки на телевидении. Светлана Николаевна отметила, что и «дома, сидя за праздничным столом, люди больше не поют», а это, пусть и не столь заметно, сильно бьет по родовой памяти. Такую позицию разделило и совсем молодое поколение в лице студентов факультета. Но, как «из песни слов не выкинешь», так и из жизни русского человека нельзя выкинуть его традиции. Отклик получило и выступление Н.И. Крижановского о творчестве В.М. Шукшина, которому в этом году могло бы исполниться 90 лет.

Анатолий Байбородин в своем выступлении говорил о христианских мотивах в деревенской прозе, открывая для молодых авторов завесу национальной литературы и понятие «народный писатель». Студентам, обучающимся на факультете, каждый год выпадает шанс пообщаться с выдающимися мастерами слова, которые всегда готовы поделиться собственным опытом или же просто поговорить о насущных проблемах в сферах литературы, истории и журналистики.

В этом году на конференции было представлено огромное тематическое разнообразие, а по результатам мероприятия будет выпущен и сборник, в который войдут самые интересные, научные и публицистические исследования.

Усолье — город поэтический

Сегодня мой литературный репортаж из Дома культуры «Мир» с поэтического праздника усольских поэтов, посвященного 60-летию литературного объединения имени Юрия Аксаментова. Я люблю поэзию, и это предвкушение интересного поэтического события усиливает моё счастливое нетерпение. Мы с вами в преддверии большого литературно-музыкального представления.

Итак, наш уютный Дом культуры сегодня встречает интеллектуального зрителя, в фойе чувствуется предстоящее торжество: радостное общение, цветы, нарядные наши поэтессы, молодые люди толпятся около стеллажей с книгами и журналами, корреспонденты местного ТВ, главный редактор «Городской газеты», представители администрации города, гости — поэты из соседних городов и просто любители литературы. Сцена по центру оформлена торжественно и современно, а по краям — стол с пузатым самоваром, пишущей машинкой, старинным телефоном и пресс-папье, рядом с ними старая этажерка с книгами. От увиденного я не могу сдержать свои эмоции.

Руководит на сцене наш бессменный Валерий Туровец, а помогает ему Маша Лазарева, учащаяся гимназии № 9. Звучит песня «Голубые города» — мелодия тех 60-х годов, времени создания Союза усольских литераторов. Сегодня Валерий Анатольевич напоминает историю и имена создателей литобъединения, в руках у него первый сборник их стихов с одноимённым названием: «Голубые города». Ведущий продолжает: «Так сложилось исторически, Усолье — город поэтический». На экране появляются слайды с портретами усольских литераторов, и ведущий приглашает их на сцену занять почётные места.

Под тихое звучание мелодии стихотворение Юрия Аксаментова «Четыре солнца» в прекрасном исполнении Марии Лазаревой открывает поэтический праздник:

*В речном берёзовом краю,
Где никли беды и печали,
Шальную голову мою
Четыре солнца освещали...*

Это стихотворение наполнено глубоким смыслом и красотой поэтического слова. Я чувствую свободу и высоту настоящей поэзии. И мне подумалось, что для Юрия Петровича светит и пятое солнце, которое освещает его слово, его имя и согревает сердца и души наследников его творчества.

Валерий Туровец продолжает рассказывать о поэтах-земляках конца пятидесятых годов прошлого века, создавших наше литературное объединение при городской газете. Среди них была Лидия Владимировна Юрьева. Позднее она стала руководителем литобъединения и наставником для многих нынешних поэтов. Сегодня её нет в зале, она уехала из города, но её книги, стихи продолжают волновать читателей, а коллеги по перу вспоминают её добрым словом. Журналист Борис Барановский, представляя творчество Лидии Юрьевой, отмечает в её поэзии незащищённость, трепетность живого мира:

*Поэзия меня спасала,
Как мать, прощала всё легко.
И лба горячего касалась
Прохладной строчкою стихов...*

Наше путешествие в поэзию продолжается, ведущий, предоставляя слово Инне Коноплевой, указывает на белоснежную лошадку с шелковистой гривой, которую хозяйка держит в руках: «Теперь у нас есть свой символ литературного союза». Всем известно, что Инна Васильевна делает прекрасные игрушки, и этот конь — любимец муз, символ красноречия — не кто иной, как крылатый Пегас. Ему и посвящает она своё стихотворение:

*Однажды в жаркий полдень, гуляя по Парнасу
И заблудившись в мире стихов и звонких лир,
Я оказалась в стойле печального Пегаса
И вывела беднягу взглянуть на этот мир.*

Инна Коноплева — заместитель председателя литобъединения, она самая яркая личность, и вместе с Валерием Туровцом они — главные вдохновители творческой работы литераторов. Её многоцветный, многогранный духовный мир наполнен фантазиями, красотой и гармонией, добротой и любовью. Сегодня коллеги говорят Инне Васильевне слова благодарности за её душевную щедрость, за поэтический талант и кропотливый труд во благо усольской поэзии и культуры. А её стихи — это музыка и красота каждого слова:

*Сказка безумная жаркого лета
Мне вспоминается долгой зимою:
Звёздные ночи и наши рассветы...
Мы околдованы были любовью.
Эти поляны глазастых ромашек!*

На эти строки Инны Васильевны написана музыка, и песня в исполнении ангарского ансамбля авторской песни под руководством Надежды Бухаровой всегда пользуется успехом у зрителей.

На сегодняшнем празднике самые почётные гости те, кто стоял у истоков создания литобъединения. И среди них — Горчаков Владимир Олегович. Он рассказывает о том, как восемнадцатилетним юношей впервые пришёл на собрание литобъединения, вспоминает, как начинал писать свои первые стихи, какую поддержку получал от братьев по перу, какой дух любви к поэзии и литературе присутствовал в Союзе писателей. Владимир Олегович — член Союза писателей России. Изданы сборники его стихов, а песня на его стихотворение «Мы — провинциальные поэты...» и музыку Николая Бронникова стала гимном литературного объединения имени Юрия Аксаментова.

*Мы — провинциальные поэты,
Не бесперспективно званье это:
Нашенских кровей, в конце концов,
Алексей Васильевич Кольцов.*

Праздник поэзии продолжается, и на вопрос ведущего: «А как сочиняются стихи?» отвечает поэт Валентина Астапенко:

*У речки студёной, где хвои настой,
На танец тебя приглашаю.
Ты думаешь, что я танцую с тобой,
А я ведь стихи сочиняю...*

Валентина Викторовна, как никто другой, чудесно читает стихи, подчеркивая эмоционально красоту и смысл поэтического слова.

Николай Баженов продолжает рассуждать о поэтах и поэзии: «Поэзия — страна особая, кто прикоснётся к ней — болезнь на всю жизнь».

*Поэты разными бывают:
Они ранимы, редко лгут,
Поэты рано умирают:
Их критики не берегут.*

Николай Николаевич — мой земляк, мы с одного берега голубой Аргуни. Его стихи о малой родине мне очень близки:

*Уснут старинные станицы,
Аргунь придержит шивера.
Как жалко — реже стали сниться
Казачьи кони у двора...*

Продолжаем наше поэтическое путешествие. Ираида Никитична Полякова удивляет коллег преданностью литобъединению и своим жизненным оптимизмом. Ей скоро девяносто, но она и сегодня на сцене. Мне интересны её стихи по содержанию, столько в них неожиданных сравнений, образов, они читаются легко и запоминаются надолго:

*Поезд вырвался из предгорий,
Яркий свет вдруг в купе заиграл.
Холодком потянуло, и вскоре
Перед нами открылся Байкал...
Ты наполнен живою водой
С ледников поднебесного края.
Сотни рек ради встречи с тобой
Разбиваются, с гор низвергаясь.*

На стихи Ираиды Никитичны написана не одна песня, и сегодня любимая певунья литобъединения Елена Козявина под аккомпанемент гитары Николая Бронникова исполняет песню «Моё Усолё»:

*Встаёт рассвет над сказочным раздольем:
Любуется студёной Ангарой.
Приветствую тебя, моё Усолё,
Любимый город, город трудовой.*

Зачислены в почётные члены литобъединения иркутские поэты Василий Козлов, Александр Гордин, журналист Арнольд Харитонов, ныне москвичка Марина Шамсутдинова — каждый из них начинал творческую жизнь в нашем городе. Они частые гости на встречах с читателями и поэтами, а их новые книги всегда можно найти в библиотеках города. Читатели-земляки следят за их творчеством. Вот новое неожиданное стихотворение Василия Козлова:

*Блистая золотом, как нерпа,
В Байкале плещется Евтерпа.
А я стою, стихами полн...
«На берегу пустынных волн...» —
Читал Поэт, представив нерпу,
Он тоже не признал Евтерпу.
Он разошёлся: «Помнишь Гебу,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба
Она зачем-то пролила.
Зачем? Ты, смысла не тумая,
Забудь про всех Евтерп и Геб,
Давно в избушке ждёт нас няня,
А на столе вино и хлеб».*

Меня удивили стиль и загадочность этих строк, невольно вспомнила Марину Цветаеву, которая говорила: «У поэта мысль и слово рождаются одновременно. Нельзя задумать в прозе и написать стихами. Нужно чтобы ты вещь не мог сказать не стихами. Тогда будут стихи, а не рифмованные строки». Стихи, подобные гражданской лирике Марины Шамсутдиновой:

*Русский мир — Английская война,
Две колониальные системы.
У одной — терпение без дна,
У другой — таблицы, теоремы.
Пирамиды избранность одной
Стёрлась равноправием равнины.
Прожило бы человечество без войн,
Если б не английские «равнины»
(Алгебра гармонии чужда).
Эти — превращают мир в пустыню,
Мы — в пустыне строим города.*

Четырнадцать членов усольского литобъединения получили путёвку в Союз писателей России, в их числе Лидия Юрьева, Евгений Глотов, Владимир Горчаков, Юрий Кочура, Николай Сиротенко, Василий Козлов, Марина Шамсутдинова.

Если Иркутскую область за 2018 год признали литературным флагманом России, как самую пишущую и читающую, то, думаю, наш город в ней — один из самых поэтических. С помощью этого литературного репортажа с праздника поэзии я и вас, мои читатели, попытаюсь убедить в этой истине.

На празднике со словами приветствия выступает начальник городского отдела культуры Юлия Ожогина, её слова к «поклонникам красивых слов» тёплые, дружеские. Она вручает грамоты мэра Инне Коноплёвой, Владимиру Горчакову и Валерию Туровцу.

Главный редактор «Городской газеты» Марина Перевалова, обращаясь к литераторам, не скрывает своих чувств, называя их родными и неразлучными. Она дарит литобъединению поэтический сборник, состоящий из «Лирических страниц», напечатанных в газете за пятнадцать лет. Этот уникальный сборник побывал во многих уголках России, где проходили награждения СМИ. Ведь усольская «Городская газета», начиная с 2013 года, ежегодно обретает почётный знак «Золотой

фонд прессы». В своём выступлении Марина Валентиновна подтверждает аксиому: «Усолье — город поэтический...».

Валерий Туровец читает стихотворение Сталия Ермолина, посвящённое юбилею литобъединения:

*Мне круг поэтов местных люб
Без возрастных параметров,
Как люб литературный клуб,
Где первым был Аксаментов.*

*С тех пор немало утекло
Воды речной и времени,
Но не иссякло строк тепло
Талантливого племени.*

Праздник Поэзии продолжается. Отдадим заслуженные почести руководителю нашего литобъединения Валерию Анатольевичу Туровцу. Недавно он приобрёл новый почётный статус «Человек года» по городу Усолье-Сибирское. Награда заслуженная, справедливая... Этот конкурс «Общественное мнение» в городе проводился впервые, и мы, друзья-коллеги, полны радости и гордости за Валерия Анатольевича. «Человеком года» выбран работник культуры, поэт, и уже это говорит о том, что культура в нашем городе на достойном месте, и поэзия горожанам близка. Ответным словом после вручения Валерию Туровцу почётного знака, конечно же, были его стихи:

*Приходит это чувство к нам с годами,
Не выдумать его, не приобрести,
Когда знаком со многими местами,
Но чувствуешь, что счастлив только здесь.*

*Оглянешься вокруг и с удивленьем
Откроешь для себя простой закон,
Здесь, говорят, сто тысяч населения,
Ты с каждым в этом городе знаком.*

Я люблю его стихи-исповеди за их искренность и душевные сомнения, за умение не бояться быть самим собой:

*Жизнь моя — собрание ошибок.
Значит, уж пора бы поумнеть.
От потерь, проколов и ошибок
Душу неприступную иметь...*

Лидия Волынец, как одна из молодых поэтов, активно участвует во многих мероприятиях литобъединения. Её стихи звучат в курортном клубе, в кабинетах школ, в библиотеках, в «Поэтическом трамвае» и на городских праздниках. Она составитель поэтического сборника «Как прекрасна ты, сибирская земля» и «Антологии усольской поэзии». Ведущий Валерий Туровец, предоставляя ей слово, благодарит Лидию, а она дарит зрителям свои светлые, искренние стихи:

*В гости меня не зовите
На перепутье дорог.
Белое солнце в зените
Странный рисует мирок:*

*Бедное племя без Бога
Алчущих в блеске витрин.
В граде под куполом смога
Люди в футлярах машин.*

Стихи и музыка продолжают звучать, на сцене Алла — Альфира Ткаченко — человек творческий; она пишет стихи, рассказы, романсы, сказки; ставит постановки; участвует в литературных международных конкурсах. Первые её слова — слова благодарности своим наставникам — Горчакову Владимиру, Сиротенко Николаю, Коноплёвой Инне и Туровцу Валерию.

Сегодня Альфира делится радостным для неё событием. После конкурса ЮНЕСКО 2018 года в сборнике «Русские сезоны» опубликовано её стихотворение «Огни Татари», посвящённое татарам, высланным из Татарстана в далёкие 1877–1891 годы. Его она читает сегодняшней публике:

*...По трудной жизни ты пройдёшь скорбя,
Оставив кров на родине своей,
А жизнь уйдёт в далёкие лета,
В печальной ноте Татари твоей.*

Я заметила, что у нас, детей послевоенных лет, обострённые чувства патриотизма, любви и гордости за Отечество, за родной народ. Эти чувства озвучивает в своих стихах Галина Дроздовская. И хотя она коренная сибирячка, но знает историю России и отдельных её уголков. Галина Александровна неоднократно бывала в суздальских краях, и после посещения храма Покрова на Нерли она написала эти строки:

*Когда-то Андрей Боголюбский
В раздумьях у храма стоял,
Богатый и многолюдный
Град стольный построить мечтал.
Шли годы, жестокие войны,
Суровые вьюги мели,
Но выдержал беды достойно
Наш храм — Покрова на Нерли.
Царит в нём духовная сила,
И я перед нею склонюсь.
Истоки и корни России —
Святая великая Русь.*

Вера Мамедова — мастер пейзажной лирики, проникновенно звучит песня на её стихи в исполнении Николая Бронникова:

*Научите меня рисовать.
Я хотела бы увековечить
Этой осени благодать,
И покой, что, увы, не вечен.
Этот тёплый неяркий свет
Уходящего спать светила,
Эту нежность мою к тебе,
Что всю жизнь мою осветила.*

Думаю, Вера Ивановна и без кисти хорошо рисует, а её акварельные стихи радуют читателя.

Для любителей поэзии сегодняшнее событие действительно праздник. Зал тепло встречает каждого поэта. На сцене Венера Прохорова:

*Напишу я про друзей,
Жаль, что их совсем немного,
А без них стихи скучней,
Не найдут ко мне дорогу.
Маме с папой посвятить,
Только их давно уж нет...
Светлой памятью о них
Отзовётся яблонь цвет...*

Звучит романс в исполнении моей любимой певицы Татьяны Володиной «Белым-бело, не насмотреться». По окончании ведущий предлагает отгадать, на чьи слова он написан, но у зала нет правильного ответа. А призом был журнал «Сибирь» № 2 за 2007 год; этот памятный номер был посвящён творчеству усольских литераторов и издан в честь 50-летия литобъединения. Да, ценный экземпляр в личную библиотеку любому книгочею!

Поэт Агния Пастухова не огорчилась; может, такие стихи могут написать многие, а вот стихотворение, посвященное открытию памятника «Медсестра и боец», не всякому под силу:

*Как и прежде с улыбкой счастливой,
Прислонившись спиной к сосне,
Он читает девчонке любимой —
Медсестричке стихи о весне.
Три невинные робкие встречи:
Он в пижаме, в халате она...
Скверик, госпиталь, памятный вечер
И разлука навеки... Война.*

Как дивно читает свои стихи Агния Ивановна... Её голос, такой запоминающийся, кажется мягким, женственным, но трагические строки так высоко звучат, что «мурашки по коже». Помню, как она читала своё стихотворение, посвященное детям, погибшим в торговом центре в городе Кемерово.

Наш город исторический, и, наверное, нет ни одного памятного места, о котором не слагались бы стихи. Вот и Михаил Зисерман сказал своё поэтическое слово о скульптурной композиции мамонтов, что не так давно появились в пригороде:

*В России много деревушек,
Но есть одна, зовут Мальтой.
Название мне запало в душу:
Ведь я рождён в деревне той.*

*Здесь наша Белая река
Веками берега илифует.
А на высоких берегах
Весной черёмуха чарует.*

*И на одном из берегов,
Копнув крестьянскою лопатой,
Находки с глубины веков
Нашлись, весьма замысловаты.*

*Где тыщи лет назад селились
Древнейших предков племена,
Земною толщей тайна скрылась,
И вот разгадана она...
А мамонты, найдя приют,
Теперь в скульптурах возродились*

В зале непринуждённая обстановка, атмосфера живого общения. Елену Зяблову ведущий представляет как усольское лицо в литературном журнале «Северо-Муйские огни». Действительно, она секретарь-референт этого журнала. И про лицо это не ирония. На обложке последнего номера журнала молодая шатенка с тёмно-голубыми глазами, с загадочной улыбкой, в лёгком газовом шарфе нежно-оранжевого цвета — это наша Елена. Она пишет стихи и сочиняет музыку, сама аккомпанирует и поёт, занимается хореографией. Соответствуют богатому внутреннему миру и фантазии автора её стихи:

*Я знаю, есть художник во Вселенной,
Природе настроенье создаёт.
Сегодня ночька барышней степенной
По звёздным улочкам пройдёт.
А завтра сильной Амазонкой станет,
Навстречу выйдет храброму «Стрельцу»,
Взорвутся звёзды, гром внезапно грянет,
Победы славной пожелав бойцу!..*

Усольское литобъединение дружит давно и крепко с соседними литературными сообществами, постоянно обменивается визитами. Например, нынче летом на праздник нашего города и курорта приехали поэты из Братска, Слюдянки, Свирска, Ангарска, Залари, Черемхово.

Сегодня друзья и братья по перу в зале, они с подарками и стихами поздравляют коллег-усольчан:

*— Плыви, кораблик белый, ещё дальше
И знай: Поэт не любит зла и фальши!
Живи, ЛИТО, не век, не два — а дольше.*

Елена Щербина, п. Биликтуй

*Мы не только коллеги,
Мы давно вам друзья,
За Пегасом в телеге
Едем, перья грызя.
Слово душу зацепит,
В ней посеет добро.
Не к итыку, а к ланцету
Приравняем перо.*

Валерий Дмитриевский, г. Ангарск

*Ожерелье усольской поэзии,
Ожерелье души драгоценных.
Кто бы ни были вы по профессии,
Вам искусство поэзии ценно.*

Альбина Шишкина, г. Черемхово

С поздравлениями выступили заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» Валерий Кириченко, поэт из Свирска Николай Нечаев.

Поздравил поэтов усольский прозаик Валерий Лохов, автор более двадцати книг. В своих публицистических и художественных произведениях он популярно передаёт исторический материал о городе и его людях. Подарком для горожан к 350-летию города Усолья-Сибирского издан его исторический роман «Соль земли».

Праздник поэзии не закончен, он продолжается, усольские Пегасы спустились с небес и продолжают кружить в своей стихии вдохновения и славы. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, обогащает духовно и даёт возможность выразить свои чувства.

Борис Барановский читает стихотворение, но чувствую по стилю, не свое:

*К нам наша первая любовь
Пришла с огромным опозданием,
Нарушив ход своих часов,
Судьба сменила расписание.*

*Пусть говорят — мол, бес в ребро!
Но мы уверены с тобою,
Пронзил два сердца как одно.*

Я была права, это любовная лирика Сергея Строилова. Казалось бы, что нового можно написать о любви? Но ведь каждый по-своему понимает и выражает это чувство, добавляя свои оттенки, свои узоры и краски. Сергей Иванович для зрителей прочёл свое лирическое «Осеннее настроение».

Кому Парнас и Пегас, а Олега Пенькова вдохновляют и дают новые жизненные и духовные силы Саяны, сибирская тайга и страсть к путешествиям по родному краю. Он и в свои «семьдесят плюс» совершает длительные походы, а потом делится впечатлениями с читателями:

*Рюкзаки, по-хозяйски уложенные.
Плечи стёртые, лица — восторженные.
И маститые, и начинающие,
Взоры — ясные, всё понимающие...*

*Они песни поют, адреса раздают,
Нас с тобою на новый маршрут позовут...
Разбивая кроссовки о камешки в прах,
Они бродят и бродят в Саянских горах.*

Виктории Савиной поэт Николай Баженов посвятил свои строки:

*О таких обычно говорят:
Бог осыпал щедро благодатью,
Что ни делает — глаза горят,
Ну, а в танце покоряет статью...*

*Взглянешь на неё — охота жить
И гордиться дружбою с Победой.
Да, вы не ослышались, друзья,
Имя это громко раздаётся.
Ей и по-другому жить нельзя,
Коль она Викторией зовётся.*

В поэтическом творчестве Виктория Георгиевна находит свои темы и неповторимые наблюдения. Яркими образами и метафорами она наделяет своих героев. О цапле:

*Восхищаюсь! Чудная картина!
Грация, изящество в реке...
Посмотри, как птицы «держат спину»,
Даже стоя на одной ноге!*

Поэтический праздник подходит к концу. Не могу не сказать несколько слов о поэзии Юрия Кочуры. Для меня его правдивые стихи — откровение... Они приводят в порядок мой ум и мою душу, заставляют задуматься о многом и важном:

*Я не пишу стихи, я их рожаю,
Прессуя в них мгновенья и века.
Потом приходит в действие рука,
Но их, отнюдь, не сразу покидаю.*

*То радуюсь, то потешаюсь злобно,
Гляжу на обозначившийся стих.
Он на листе, как бы на месте лобном —
Могу помиловать — иль насмерть разнести...*

Вот и закончился праздник. Поэты, друзья, гости, зрители тепло приветствуют друг друга. Каждый из присутствующих почувствовал силу духовной энергии от людского общения, от певчего слова и от авторского чтения замечательных стихов. Со сцены звучат строки Лидии Юрьевой, посвящённые усольским поэтам:

*Мы — соль Земли, мы — дети Солнца,
Когда мы доброе творим,
Из одного на всех колодца
Пьём песни, были, тропари.
Творим стихи и песни наши...*

*Полная версия репортажа на сайте
Усольской центральной городской библиотеки
bibliograf_i_kraeved@mail.ru*

АЛЕКСАНДР СЛАВИН

Липецкие писатели в Сирии



На снимке А. Новиков.

Председатель липецкого регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарёв 20–27 февраля презентовали в Сирийской Арабской республике книгу «Прозрачное небо Сирии» и литературный журнал «Петровский мост». Автор повести Александр Пономарев посвятил ее летчику Липецкого авиацентра пилоту российского СУ-24 Олегу Пешкову,

погибшему на Ближнем Востоке в ноябре 2015 года. Эту поездку в воюющую страну липецкие литераторы готовили два года. Опорной точкой стали именно дружеские контакты, которые липчанам удалось установить непосредственно с сирийцами и нашими военными.

Авиаперелет из Москвы до Дамаска занял более пяти часов, после зимней Москвы, столица Сирии встретила россиян теплой весенней погодой и растущими прямо на городских улицах лимонами. Они в полной мере ощутили колорит самого древнего города мира и самой древней из существующих мировых столиц. Арабы утверждают, что первым городом, построенным на земле после Всемирного потопа, был Дамаск. Сирийские друзья-журналисты поселили липецких писателей в квартире воюющего друга, в пригороде Дамаска Джеромана, он в восьми километрах от столицы, населен христианами и друзьями, довольно большой, с населением в 95 тысяч человек, и даже считается самостоятельным городом. Недельное проживание в типичной сирийской квартире дало преимущество в знакомстве с бытом и жизнью простых сирийцев. Даже ежедневные походы в магазин, лавки, интернет кафе давали больше информации о сирийцах, чем рафинированные туристические туры. Да, страна в тяжелом положении, она воюет, но вокруг нет уныния, только оптимизм, сирийцы быстро восстанавливают дороги и экономику, на улицах нет нищих, а самое главное — большое количество веселых и опрятных детей. Есть дети — есть у страны будущее.

Даже самая бедная торговая лавка в Дамаске — это обязательно хороший кофе и разнообразная восточная выпечка, все очень дешево и качественно. Отношение к россиянам потрясающее, даже прохожие, узнав русских, здоровались и улыбались.



На снимке А. Пономарев

Уже в день прилета А. Новиков и А. Пономарёв были в российском посольстве, где при участии нашего военного атташе была организована встреча с командованием нашей российской военной группировки в Сирии.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля липчане выступили перед российскими военными, которые несут свою службу в

этой стране. На встрече присутствовали советник нашего военного атташе, заместитель командующего ВДВ России и командующий группировкой российских войск в Сирии. Писатель Александр Пономарев рассказал о том, как непросто писалась книга о герое-земляке, летчике Олеге Пешкове. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. В конце выступления военные поблагодарили автора.

На следующий день А. Новиков и А. Пономарёв побывали на знаменитой горе Джебель-Касиун, у подножия которой и стоит Дамаск. В горе находится несколько пещер. В пещере крови (Магарат ад-Дамм) согласно легенде жил Адам — первый человек. Жители Дамаска утверждают, что здесь Каин убил своего брата Авеля. Отсюда название — пещера крови. Она из-за красного камня похожа на застывший в крике ужаса человеческий рот. По легенде Каин убил Авеля ослиной челюстью. Здесь же находится могила Авеля, семиметровый гроб из белого мрамора, говорят, что Абель был семиметрового роста. С горы открывается великолепный вид на весь Дамаск и рабочую резиденцию президента Башара Асада.

Липецкие писатели посетили известный на весь мир монастырь Рождества Божией Матери в Сайднае, в 40 км от Дамаска. Он был основан в VI веке римским императором Юстинианом, которому два раза явилась Богородица и просила построить в этом месте монастырь — ее обитель. Главной монастырской святыней является Сайданайская икона Божией Матери, написанная евангелистом Лукой. По дороге липчане познакомились с жизнью и бытом сирийской провинции.

Дальше, в ходе своей литературной миссии липчане побывали в знаменитой Пальмире. Как оказалось, даже в настоящий момент Пальмира продолжает находиться в зоне боевых действий и закрыта для любых посещений. Два раза наших писателей «разворачивали» по дороге в древний город, но прорваться в него все же удалось. На помощь литераторам, когда до Пальмиры оставалось всего 50 км, пришли военнослужащие сирийской армии. По просьбе коменданта российской военной группировки они сопроводили липчан военным конвоем к историческому центру города. Пальмира разделена дорогой на две части, современную и историческую. И обе разрушены, в современной Пальмире сегодня жителей нет,

брошенные дома, в некоторых живут только военные. Новиков и Пономарёв посетили знаменитый амфитеатр Пальмиры, где ранее прошёл симфонический концерт маэстро Гергиева. Липчане решили добавить к музыке великое русское слово и прочитали стихи русских поэтов.

Древняя Пальмира серьезно пострадала от террористов, они разрушили не только часть исторических зданий, но и полностью вырубili великолепный пальмовый лес, который окружал Пальмиру. Гидом по Пальмире неожиданно стал офицер сирийской армии, который, как оказалось, работал до войны экскурсоводом, он подробно рассказал об этом древнем городе и провел экскурсию. Он же помог заправить липчанам машину бензином в обратный путь, поскольку в еще воюющей Пальмире гражданские автомобили не заправляют, а только военные. Поездка из Дамаска в Пальмиру из-за многочисленных блокпостов заняла 12 часов.

После поездки в Пальмиру, в столице Сирийской Арабской Республики Дамаске наши литераторы встретились с коллегами из Союза писателей Сирии. Творческий вечер организовал представитель Россотрудничества, директор Центра российской науки и культуры в Дамаске Джамаль Дормаш.

В ходе встречи липчане провели презентацию журнала «Петровский мост» и ответили на многочисленные вопросы сирийских писателей, после чего председа-



тель Липецкого регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков рассказал с и р и й с к и м коллегам о нашем регионе и его богатом литературном наследии.

Председатель Союза писателей Сирии доктор Нидал Аль Салех по-

делился с липчанам проблемами, стоящими перед сирийскими писателями в настоящее время, и выразил надежду на возобновление творческого общения между нашими писательскими союзами. Александр Пономарёв рассказал сирийцам о своей книге «Прозрачное небо Сирии» и подарил им несколько экземпляров. Нидал Аль Салех пообещал в ближайшее время перевести повесть о Герое России Олеге Пешкове на арабский язык и опубликовать её в Сирии. На липчан возложили почетную миссию сделать в Союз писателей России запрос о возобновлении творческого договора между нашими писательскими союзами.

В этот же день липчане дали обширное интервью сирийскому ТВ.

Завершая свою творческую поездку по Сирийской Арабской Республике, липецкие писатели побывали в сирийском портовом городе Тартус, а он — второй

по величине портовый город в Сирии после Латакии, где находится основная база российского флота на Средиземном море.

Встреча с российскими моряками и военнослужащими береговых служб была организована с разрешения командующего группировкой российских войск в Сирии.

В ходе беседы с военными Александр Пономарев презентовал свою книгу «Прозрачное небо Сирии» о герое-земляке, летчике Олеге Пешкове.

Теперь несколько экземпляров этой повести нашли свое место в библиотеке российской военно-морской базы в сирийском Тартусе. В этот же день липецкие писатели совершили обширную экскурсию по древнему городу, основанному еще финикийскими мореплавателями.